



СОВЕТСКАЯ КОММУНАЛКА

Алексей Митрофанов

# ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕТСКОЙ КОММУНАЛКИ







ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



# ПОВСЕДНЕВНАЯ

---

Алексей Митрофанов

---



---

МОСКВА

# ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ КОММУНАЛКИ

---



УДК 94(47+57):394  
ББК 63.3(2)63-75  
М 67



*Серийное оформление  
Сергея ЛЮБАЕВА*

знак информационной **16+**  
продукции

**ISBN 978-5-235-04233-9**

© Митрофанов А. Г., 2019  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2019





---

## *Что откуда взялось? Возникновение коммуналок*

Причина появления коммуналок очевидна. Очевидно и то, почему они по большей части возникали в Москве. После революции 1917 года жизнь во всей России стала нестерпимой. Безденежье, бескормица, болезни, эпидемии, братоубийства и полнейшее непонимание того, что происходит. В подобных ситуациях многие люди, выброшенные из привычного уклада, тянутся в столицу. Ограничений на перемещение в то время не было. В Москву ехали отовсюду — и здесь оставались, найдя если не счастье, то, во всяком случае, возможность что-то заработать или же украсть.

Естественно, всем этим людям следовало где-то жить. Притом жилое помещение должно быть капитальным, теплым — климат в средней полосе далек от средиземноморского. Это с одной стороны.

С другой же стороны, новые власти декларировали всякого рода борьбу с пережитками прошлого. Роскошные (как представлялось хозяевам новой жизни) многокомнатные квартиры с черными лестницами и специальными помещениями для прислуги, безусловно, относились к их числу.

Складываем два и два — и получаем целый город коммуналок — столицу государства коммуналок.

Сам Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» излагал приблизительное действие этого механизма: «Пролетарскому государству надо

принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из пятнадцати человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем один интеллигент и восемь человек из трудящейся бедноты, непременно не менее пяти женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит пять комнат на двоих мужчин и двух женщин. — “Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно надо потесниться. Ваш телефон будет служить на десять семей. Это сэкономит часов сто работы, беготни по лавчонкам и т. п. Затем в вашей семье двое незанятых полуробочих, способных выполнить легкий труд: гражданка пятидесяти пяти лет и гражданин четырнадцати лет. Они будут дежурить ежедневно по три часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для десяти семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в двух экземплярах текст этого государственно-го приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности выполнить его”».

И всё. Не отвертисься.

Поэтесса Ирина Одоевцева писала в своих мемуарах о Москве 1921 года: «Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в “уплотненной” квартире на Басманной.

У нас в Петербурге ни о каких “жилплощадях” и “уплотнениях” и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру — их великое множество — выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого.

Здесь же, в квартире из шести комнат двадцать один жилец — “Всех возрастов и всех полов” — живут в тесноте и обиде.

В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:

Эх, привольно мы живем —  
Как в гробах покойники:  
Мы с женой в комодке спим,  
Теща в рукомоёйнике.

Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилицами, мужья неизменно выступают на защиту жен, и дело часто доходит до драки и, во всяком случае, до взаимных обид и оскорблений».

Ирина Владимировна рано радовалась — в скором времени и в Петербурге начнется процесс формирования коммуналок, а в какой-то момент ситуация там станет хуже московской.

В 1924 году московские власти приняли постановление «Об урегулировании жилищного дела в Москве», в соответствии с которым на каждого человека должна была приходиться площадь не менее 20 квадратных метров. Но, как известно, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В том числе со стороны самих властей. Поэтому теснились — в том числе и на вполне законном основании — по пять-шесть человек в маленькой коммунальной комнатке, в том числе и в уже упоминавшихся помещениях для прислуги. И ничего, не роптали. За счастье считали. А кому не нравится — вали обратно в свою глушь.

В деревнях коммуналок, как нетрудно догадаться, не было.

В том же году появился закон о выселении последних помещиков из их родовых имений. Разумеется, к тому моменту там остались в основном старые и немощные представители некогда знатных родов. Те, кто помоложе, либо отправились за границу, либо подались искать счастья в Москве, либо очутились за решеткой. Все это старичье, естественно, пополнило число столичных коммунальных жителей — в богадельни забирали далеко не всех, хотя и эта относительно гуманная практика существовала.

Сергей Михайлович Голицын писал в книге «Записки уцелевшего»: «Население Москвы с каждым днем стремительно увеличивалось. Полицейской паспортной системы тогда не успели еще придумать, прописывали граждан безоговорочно, лишь бы куда прописать, хоть в темный чулан, хоть в ванную комнату. Возвращались в Москву те, которые в свое время ее покинули из-за голода... Юноши и девушки ехали учиться и завоевывать славу. Ехали дельцы, прознавшие, что в Москве можно хорошо устроиться и нагрести много денег. У всех переселенцев был багаж, подчас весьма громоздкий, его требовалось доставить с вокзалов в какие-то квартиры. Предприимчивые люди везли с вокзалов разные товары, наконец, подмосковные крестьяне на своих лошадях доставляли мясные и молочные продукты, овощи, дрова».

Корней Чуковский писал в дневнике: «В Москве теснота ужасная: в квартирах установился особый московский запах — от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка — такому-то, три звонка — такому-то».

Он же изумлялся: «Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку:

*Тынянову звонить 1 раз*  
*Ямпольскому — 2 раза*  
*NN — 3 раза*  
*NNN — 4 раза*

Он живет в коммунальной квартире! Ход к нему через кухню. Лицо изможденное. Мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжелое.

Елена Александровна больна — поврежден спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная женщина лежит без движения уже неск. месяцев. Тынянов при ней сиделкой. На днях понадобился матрац — какой-то особенный, гладкий. Т. купил два матраца и кровать. Все это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. «А как трудно приглашать профессоров! Все так загружены». Доктора, аптеки, консилиумы, рецепты — все это давит Ю. Н., не дает ему писать. «А тут еще Ямпольские — пошлые торжествующие ме-

щане!” И за стеною по ночам кричит ребенок, не дает спать! Ю. Н. хлопчет, чтоб ему позволили уехать в Париж, и дали бы денег — в Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой — такую болезнь, которою болен Ю. Н. “У меня то нога отымается, то вдруг начинаю слепнуть”».

Но приходилось терпеть.

Тынянов и другие, перечисленные выше, граждане по тем временам еще неплохо устроились. Тогда остаться без жилья вообще не было чем-то выдающимся и сверхъестественным. Ну нет — и ладно. Мариенгоф писал: «Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неопишемом номере гостиницы “Европа”, в вагоне Молабуха, в люксе у Георгия Устинова — словом, где на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов...

Солнце разбудило меня... Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье...

— Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обедов на пять, на шесть — сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

— Вот сволочи!

Захотел встать — исчезли ботинки...

Вздумал натянуть брюки — увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки — минуты по три — я обнаруживал одну за другой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак... носки... панталоны... галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений».

К счастью, писательская взаимовыручка в этом случае сработала безотказно: «Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из “Европы” свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!»

Молодость и поэтическая одаренность позволяли видеть во всем этом исключительно забавные истории и увлекательные приключения. Бездомным в возрасте, больным было гораздо хуже.

\* \* \*

Коммунальные квартиры возникали всюду, даже в самых, казалось бы, элитных домах. В частности, в роскошном доме на московской улице Солянке, 1/2. Он был построен в 1915 году Варваринским обществом домовладельцев и изначально позиционировался как элитный. Тем не менее после 1917 года практически все бывшие роскошные квартиры были порезаны на коммунальные.

Краевед Юрий Федосюк вспоминал: «С наплывом людей из провинции некогда богатые многокомнатные квартиры в предреволюционных доходных домах превратились в коммунальные — на несколько семей. Существовал приказ, предписывавший на каждом доме вывешивать жестяные доски со списком ответственных съемщиков — по квартирам. Любопытно было читать эти списки: при каждой квартире значилось до десятка фамилий! Каким-то обратным приказом все эти доски после войны были удалены. Помню случайно уцелевшую в 1961 году в подъезде дома № 1 по Машкову переулку: только в квартире № 17 была указана одна фамилия — Е. П. Пешкова (вдова А. М. Горького), во всех остальных проживало по несколько семей; а ведь в доме, комфортабельном и благоустроенном, до революции жили преимущественно представители интеллигенции, профессура и врачи.

Коммунальные квартиры стали непременным и неизбежным атрибутом послереволюционного быта. Можно себе представить, как осложняли жизнь “места

общего пользования”, кухня, где одновременно шипело несколько керосинок и примусов, вражда случайно объединенных жилплощадью самых разных по культурному уровню и происхождению семей, драка за крохотный участок в коридоре или на кухне: “Опять ваш велосипед весь коридор загораживает”, “А вы свой столик на кухне подальше отодвиньте, нечего других отеснять”, “Вы бы хоть научились в уборной воду спускать, теперь лакеев нет”, “Не смейте собаку в ванне мыть” и т. п. Входы в квартиры были снабжены либо несколькими “индивидуальными” звонками, либо одним общим, но с многочисленными карточками: Ивановым — один раз, Петровым — два звонка, Сидоровым — два коротких, один длинный и т. д. На самих входных дверях висело по несколько почтовых ящиков с указанием фамилии и выписываемой периодики».

Детский писатель Владимир Артурович Лёвшин рассказывал о деградации знаменитого дома Пигита, в котором жил он сам, а также Михаил Булгаков: «Дом пятиэтажный... Один из двух его корпусов — тот, что на пол-этажа повыше, выходит фасадом на улицу; другой — буквой П — находится во дворе, куда ведет длинная подворотня. Когда-то две клумбы и фонтан украшали его асфальтовый прямоугольник. В центре фонтана стояла скульптура: мальчик и девочка под зонтом. Теперь на этом месте растут два деревца, огороженные низенькими зелеными колышками.

Проходя мимо дома Пигит теперь, в эпоху пластика и железобетона, вы вряд ли обратите на него внимание: типичный для старой Москвы доходный дом, какие строили в начале века в расчете на “чистую публику”. А прежде, до реконструкции Садового кольца, еще не стиснутый громадами каменных соседей, дом выглядел внушительно. Шикарные эркеры, лепные балконы... Нарядный, полукругом выгнутый палисадник отделял здание от тротуара.

Поверх чугунной ограды рвались на улицу тугие соцветия невиданно крупной сирени.

Бельэтаж с длинными балконами на улицу занимал сам Пигит. Компаньон его, владелец гильзовой фабрики Катък (“Покупайте гильзы Катыка!”), разместился на четвертом этаже второго корпуса. Кто же еще? Директор Казанской железной дороги Пентка (подъезд № 7,

отдельный). Управляющий Московской конторой императорских театров, он же художник по совместительству, фон Бооль (это про него шалапинское: “Я из него весь ‘фон’ выбью, одна ‘боль’ останется!”). А одно время обитал тут даже миллионер Рябушинский — в огромной художественной студии, снятой якобы для занятий живописью, а на самом деле для внесемейных развлечений. Таких, расположенных одна над другой студий в доме три. Рябушинский занимал верхнюю, там и стрелялся, впрочем, без серьезных последствий».

А вот что стало с домом после 1917 года: «Перемены, которые принесла революция, не могли не коснуться и дома Пигит. Постановлением районного Совета из дома выселены “классово чуждые элементы”. Взамен исчезнувших жильцов появились новые — рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся — это интеллигенты, из тех, кто либо сразу принял революцию, либо постепенно осваивался с ней.

К этому времени относится знаменательное событие в послереволюционной истории дома: он становится первым в Москве, а может быть и в стране, домом — рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности. Есть здесь свои водопроводчики, электрики, плотники, врачи. Моя мать, например, медицинская сестра, и ее могут в любое время вызвать к больному... Словом, каждый делает, что может. Все это, разумеется, совершенно безвозмездно».

\* \* \*

Еще один, весьма своеобразный тип советской коммуналки описывали Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев»: «Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов я, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор



выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:

Авессалом Владимирович ИЗНУРЕНКОВ

В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.

— Простите, — сказал он придушенным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набор ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах мебелировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

— Фу! — сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты — блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

— Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но

вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я заплачу, наконец!»

Многообразие форм коммунального быта способно было поразить самое изощренное воображение.

\* \* \*

Константин Бальмонт писал в 1920 году: «Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полу-раскрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близких мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мной мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобы. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено».

В стране происходило нечто страшное.

\* \* \*

Под коммуналки переоборудовали и роскошный комплекс из двух зданий, глядящих друг на друга через Петровские линии. Еще в 1874 году «Товарищество

Петровских линий» скупило огромный участок земли между улицами Петровкой и Неглинной, отстроило эти два дома, а переулок между ними подарил городу. Застрелив тем самым одним выстрелом сразу двух зайцев — снискало себе славу мецената и обеспечило свободный доступ к многочисленным магазинам, которые арендовали у «Товарищества» помещения.

Здесь размещались магазин книгоиздательства «Посредник», ресторан «Россия», кафе «Элит». Петровские линии освещались редким по тем временам «яблочковыми», то есть электрическими лампами. Квартиры отличались роскошью невероятной. И все это было безжалостным образом отправлено в прошлое. На смену пришел другой мир — коммунальный.

А вот как выглядела жизнь особняка Самариных на Спиридоновке, 18. Ее описывал Сергей Михайлович Голицын: «Самаринский особняк, одноэтажный, с антресолями, в свое время занимала одна барская семья; к 1922 году он битком набился враждовавшими или дружившими между собой жильцами. В антресоли вела внутренняя, скрипевшая ступеньками деревянная лестница с обломанными резными перилами, кончавшаяся площадкой; там стояли кухонные столы с посудой и с неизменной принадлежностью всех московских квартир — примусами, аппетитно шумевшими с утра до вечера.

С площадки вели три двери. За одной из них была маленькая комнатка, в которой жил старый холостяк — бывший капитан Полозов, о ком еще недавно вздыхала наша тетя Саша; за годы революции усы его поредели и сам он сильно потускнел. Дальнейшая его судьба сложилась печально: в середине двадцатых годов его посадили, сослали в Коми АССР, где он и умер.

За второй дверь жила студентка-медичка, скромная девушка, время от времени притаскивавшая домой части человеческого тела, отчего на площадке стоял острый запах, смешанный с чадом от примусов и подгорелых кушаний. К уборной приходилось спускаться на первый этаж, а там постоянно оказывалось занято.

Третья дверь вела в просторную комнату, там же находилась широкая, на четыре человека, тахта, стояли старинные кресла и стулья, стояли, висели и просто валялись разные старинные вещи, цельные и разбитые —

акварельные портреты самаринских предков, фарфоровые вазы и чашки, бронза и т. д. Окна выходили на крышу первого этажа, куда можно было в хорошую погоду вылезать.

Из этой комнаты шли две двери — за одной находилась маленькая спальня с двумя кроватями, комодом и шкафом. Все там было вычищено, аккуратно застелено, подметено. Другая дверь вела в просторную комнату, также с двумя кроватями со скомканными одеялами и грязными простынями и наволочками. Там стояла различная старинная мебель, цельная и поломанная, и горами валялись многие антикварные предметы, снесенные сюда со всего самаринского дома; все было покрыто пылью и потеряло свой прежний, подчас художественный облик. В комнате витал резкий запах от кучи грязного белья, пахло табачным дымом и мочой. Источник последнего запаха сразу обнаруживался: он исходил от втиснутого в поломанное кресло, перевернутого майоликового бюста царевны Волховы, изваянного Врубелем, и превращенного — искусствоведы, ужасайтесь! в ночной горшок.

В маленькой аккуратной спальне жили моя сестра Лина и девочки Бобринские. Эта комната называлась «раем». Первая, проходная комната называлась «чистилицем» — там спали моя сестра Соня и мой брат Владимир, уволившийся из Главморнина после последней для него экспедиции в Карское море; там же спали задержавшиеся до рассвета гости-мужчины. Комната со скверным запахом называлась «адам», в ней жили два восемнадцатилетних друга — Юша Самарин и Миша Олсуфьев, сын нашего соседа по имению, бывшего владельца Буйц графа Юрия Александровича Олсуфьева».

\* \* \*

Иногда случались странные преестественности. Иосиф Бродский писал в зарисовке «Полторы комнаты»: «Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестизэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Се-

верной Европы начала века. Законченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской словесности улиц — Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой “уплотнения” буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены — сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве заложено ощущение бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

Помимо излишка в тринадцать квадратных метров, нам неслыханно повезло еще и в том, что коммунальная квартира, в которую мы въехали, была очень мала, часть анфилады, составлявшая ее, насчитывала шесть комнат, разгороженных таким образом, что они давали приют только четырем семьям. Включая нас, там жило всего одиннадцать человек. В иной коммуналке число жильцов могло запросто достигать и сотни. Середина, однако, колебалась где-то между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Наша была почти крошечной.

Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень приличный и уютный. Что до ванной — гигиенические привычки были таковы, что одиннадцать человек нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая

белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты с кухней, и каждый из нас на зубок знал соседское исподнее.

Наш потолок, приблизительно четырнадцати, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некой несуществующей сверхдержавы или архипелага. Из трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно, кроме школы напротив; но центральное окно одновременно служило дверью балкона. С этого балкона нам открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви св. Пантелеймона или — если взглянуть направо — большой площадью, в центре которой находился собор Преображенского полка ее императорского величества».

\* \* \*

Александр Каплун вспоминал знаменитый нащонский дом в Воротниковском переулке, тоже превращенный в простую московскую коммуналку: «Квартира в бельэтаже, туда вела мраморная лестница с бронзовыми шариками для крепления ковра. В квартире жило шесть семей. Четыре из них — мои родственники со стороны отца. Самую большую площадь занимали дядя Володя, тетя Аня (старшая сестра отца) и их дочь Мирочка, очень красивая и веселая девушка. Она стала учительницей, потом работала в “Труде”. Сын, Марик Новицкий, уже жил отдельно. Мы им очень гордились — известный эстрадный артист. Главная особенность дяди Володиных комнат — огромное количество книг. У нас, например, книг было не больше десятка: справочник Нине, автобиография Сталина (подарок отцу от сослуживцев), Краткий курс ВКП(б) и несколько моих сказок. Мама стала покупать книги много позже.

Три семьи жили в бывшей большой комнате, разделенной перегородками на три. Раньше там жила почти вся семья отца: моя бабушка, отец, два его брата и две сестры. Потом папа женился, и отгородили 11 метров с одним окном, потом вышла замуж тетя Рива, женился

дядя Митя, они разъехались на Самотеку и к Красным воротам. Женился дядя Яша. отгородили еще 11 метров — получилось три комнаты».

Упомянутые здесь перегородки — вещь очень распространенная в коммунальной квартире. Нормальное жилище превращалось в коммуналки чаще всего наспех и, как думалось, на время. На совсем непродолжительное время. И поэтому перегородки рождались и стояли десятилетиями, переживая не одно поколение людей.

Благодаря этой технологии было прекрасно слышно все, что происходит у соседей. А детям, разумеется, еще и видно — редкий представитель подрастающего поколения не залезал на шкаф, чтобы через перегородку посмотреть на жизнь каких-нибудь там дяди Миши с тетей Дашей.

Да и чужая кошка, спрыгнувшая сверху прямо на стол, уставленный едой, не считалась чем-то сверхъестественным. Ну кошка и кошка. С кем, как говорится, не бывает.

Особо неудобными, конечно, были наиболее роскошные апартаменты. Комнаты в них располагались анфиладами, и, соответственно, все коммуналки были проходными. Спишь себе на какой-нибудь барской кровати, а мимо тебя чужая бабушка идет опорожнять свою ночную вазу. Конечно, все, что можно было, занавешивали дорогущими туркменскими коврами и закрывали не менее ценными, коллекционными китайскими ширмами — эти барские безделицы вдруг обретали совершенно неожиданную функциональность. Но комфортным проживанием подобное, конечно, все равно нельзя было назвать.

\* \* \*

Фактически в музей — только без посетителей — был превращен особняк Маргариты Кирилловны Морозовой. Там разместили отдел по делам искусств при Наркомпросе. Саму же бывшую хозяйку пожалели и не выгнали: ей на пару с сестрой Еленой Кирилловной Востряковой предоставили две комнаты в подвальном помещении, где некогда размещалась прислуга.

Художница Ирина Ивановна Соя-Серко вспоминала: «Довольно продолжительное время наша семья жила

в подвале, в большой комнате. Здесь было сыро, солнце не баловало нас. Обувь под кроватями становилась зеленой. Ранней весной нас заливало талыми водами так, что пройти в квартиру можно было только по досточкам, положенным на кирпичи. Окна в квартире были чуть выше асфальта. Рядом с нашими двумя комнатами жил истопник со своей женой, прачкой. Время от времени он напивался и затихал, зато бурно вела себя его жена. В средней комнате жила студентка, а в самой дальней — супруги, рабочие типографии. Умывались все над кухонной раковиной, туалетного мыла не было, мылись стиральным. Но в квартире царил лад, никто не мешал жить другому. Редкие скандалы истопника и его жены встречали снисходительно. Правда “супруг из типографии”, приходя с работы, устраивался с баяном и целый вечер пел “Кирпичики”, от чего можно было сойти с ума... Несмотря на скудость нашего житья, мы считали, что живем неплохо. У нас были знакомые, друзья, мы ходили в гости, сами устраивали “приемы”. Мы придумывали всякие скетчи, шаржи, эпиграммы, шуточные выступления...

Когда в 1934 году нам посчастливилось получить отдельную квартиру, мы были первые из наших родных и знакомых, кто мог жить без соседей. И хоть наша квартира не имела кроме электричества и водопровода никаких удобств, мы были счастливы!»

Все это считалось нормой. В бывшем доме Живаго на Большой Дмитровке продолжал жить сам бывший владелец, сам доктор Живаго (не придуманный Борисом Пастернаком, а живой, настоящий, такой тоже был, служил в Голицынской больнице). Он писал в дневнике: «Поел хлеба при свете огарка, так как в моей комнатке t ниже нуля, поспешил в ледяную постель... Впрочем, это повторяется чуть ли не ежедневно, у нас не топят. В кабинете t доходит до 4 ниже нуля. Пишешь свои работы и дрожишь в шубенке, руки синие, плохо слушаются, а на глазах совсем нередко слезы — до чего дожили?!»

Эта комнатка была единственным жилищем бывшего московского домовладельца. Шел 1919 год.

Интересен отчет о перемещениях старшей дочери Льва Толстого, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, оставленный Татьяной Алексеевной Фохт: «После рево-



люции Таня с Танечкой перебрались в Москву. Сначала они жили при музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке. Там тетя Таня открыла вечернюю студию рисования, где преподавала она сама. Была она хорошей художницей, и преподавал также художник С. А. Виноградов. Я посещала эту студию, но, к сожалению, недолго... Из музея тетя Таня перебралась на Поварскую. Из конюшен были выстроены квартиры».

В ход шло абсолютно любое пространство, имевшее стены, пол и потолок. Окна и двери тут были уже не обязательны.

\* \* \*

Создавали коммуналки и в монастырях. К примеру в Новоспасском. Там они соседствовали с Московским историческим архивом, угольным и дровяным складами, котельной мебельной фабрики и вытрезвителем.

Впрочем, в 1960-е все это разношерстное хозяйство выселили, саму же бывшую обитель отвели под реставрационные мастерские им. И. Э. Грабаря, так называемые «Грабари». А в 1990 году его вернули верующим.

В 1925 году в Ильинской башне Китай-города проживали несколько студентов Московской духовной академии. А рядышком, в самой стене, расположилась одна из многочисленных воровских шаяк. Люди осваивали чердаки, подвалы. Дворницкие вообще считались шиком. Под жилье шло все.

Искусствовед и реставратор Елена Владимировна Трубецкая писала в дневнике: «В расход отправилось и специфическое помещение, расположенное в здании бывших курсов Герье, ныне Московский педагогический государственный университет». Биохимик Илья Збарский, сын директора лаборатории при Мавзолее Ленина Бориса Збарского, писал: «В ноябре 1939 года я наконец женился на Ирине Карузиной... В связи с этим я переехал в квартиру уже покойного Петра Ивановича, находившуюся в здании Анатомического корпуса... Мы с Ириной поместились в бывшем кабинете профессора Карузина. У нас была отдельная комната и, что особенно важно, не приходилось ждать очереди в уборную, к умывальнику и к телефону и следить, когда ванная комната на короткий срок освободится от навешанного

там белья и, наконец, можно будет использовать ее по назначению. Но в квартире все же было тесновато».

Выходит, что соседство с трупами вовсе не раздражало молодого мужа.

А некогда популярный адвокат Николай Адрианович Сильверсван совершенно неожиданно обосновался на Собачьей площадке, в историческом особняке Хомяковых. Большую его часть занимал Музей 40-х годов (естественно, имеются в виду сороковые годы XIX века), а в одной из комнат жил адвокат со своей женой Еленой Владимировной. Вероятно, как раз благодаря этой жене — она служила в Третьяковке. Ну и адвокатские способности наверняка не оказались лишними.

\* \* \*

Какими только правдами-неправдами советский человек вселялся на вожделенные квадратные метры! Чего только он не предпринимал! Каких только курьезов не было в тогдашнем советском жилищном хозяйстве. Вот, например, воспоминания Лидии Борисовны Либединской: «Жили мы всей семьей в одной комнате, которую отец получил в центре Москвы от “Общества возрождения Китая” — было в начале двадцатых годов такое общество! Чем оно занималось, я не знаю. В нашем доме жил один-единственный китаец, который, когда мне минуло тринадцать лет, вдруг объяснился мне в любви и даже сочинил русские стихи:

Люди живут, как цветы цветут,  
Моя голова вянет, как трава...»

Особенно активно переоборудовать под коммуналки всяческого рода помещения стали после окончания Великой Отечественной войны. Люди стали жить в сараях, в складских помещениях, в кладовых, в храмах, в котельных. Все это, естественно, не украшало город.

\* \* \*

Удивительно, но коммунальные квартиры были изначально предусмотрены даже в так называемых сталинских высотках, которые изначально строились как

этакое воплощение советской роскоши. Но, с одной стороны, официальная идеология равенства и братства, видимо, мешала заселить их исключительно профессорами, композиторами, партийными деятелями и офицерами КГБ. Некоторые квартиры были отданы рабочим. С другой стороны, все прекрасно понимали, что отдельная квартира в таком доме — чересчур роскошно для простого токаря с завода им. И. А. Лихачева. Это, впрочем, понимал и сам рабочий и охотно заселялся в коммуналку с видом на Москву-реку или Кремль.

В коммуналки превращались и роскошные дореволюционные особняки, которые, казалось бы, никак не подходили для подобных целей. К примеру, особняк — практически дворец — семейства Тютчевых в Москве, в Армянском переулке. Он, впрочем, еще ранее использовался как Дом соцобеспечения им. А. Н. Некрасова, описанный в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» как дом 2 Старсобеса. Именно тут действовали Альхен, Сашхен и Паша Эмильевич, а Остап Бендер искал воробьяниновский стул и запускал огнетушители. Когда же богадельню упразднили, в доме разместили всевозможные конторы, магазины, а часть отвели под коммунальное жилье.

Под коммуналки была перекроена целая область — Калининградская, бывшая Восточная Пруссия, отошедшая к СССР в 1945 году по Потсдамскому соглашению. Она активно заполнялась гражданами двух типов — военнослужащими и так называемыми переселенцами. Жилье требовалось и тем и другим. И если рядовой состав спокойно размещали в многочисленных казармах, то офицерам и гражданским требовались квартиры. Читай, коммуналки.

Если офицеры изначально знали, на какие именно лишения идут, надев погоны, то с гражданскими поступили, мягко говоря, по-свински. Им обещали молочные реки с кисельными берегами — собственные особняки, богатые подъемные, рогатую скотину и т. д. Действительность была совсем иной. Оперативные сводки регулярно заполняли сообщения такого плана:

«На улице Энергетиков в доме № 71 на 2-м этаже в комнате площадью 22 м кв. проживает 11 человек (семьи рабочих Стовцевой, Дажиной и Вуколовой), на этом же этаже в другой комнате площадью 25 м кв. про-

живает 15 человек.. Эти комнаты находятся в антисанитарном состоянии, а именно: стены, потолки заплесневелые, полы грязные, жесткий и мягкий инвентарь отсутствует, все проживающие рабочие вповалку спят на полу»;

«На улице Каретная, дом 12, в помещении бывшей мертвецкой-крематория проживает 4 семьи рабочих... Помещение под жилье совершенно непригодно, нет окон, отопительная система отсутствует, полы цементные, в помещении масса крыс, по заявлению Алексеевой есть случаи укуса живущих крысами».

И так далее.

Впрочем, борьбу с крысами, недолго думая, отдали на откуп собственно переселенцам. В области издали вот такую директиву:

«а) широко разъяснять населению вред, наносимый грызунами, меры борьбы с ними...

б) организовать во всех населенных пунктах и на полях проведение работ по массовому уничтожению грызунов, привлекая для этой цели все хозяйственные, общественные организации и местное население. Создать до 10.XII-46 г. в городах, рабочих поселках и райцентрах специальные отряды для уничтожения грызунов, обратив особое внимание на борьбу с грызунами в разрушенных зданиях, пустырях, местах свалок;

в) в учреждениях и на предприятиях выделить ответственных лиц за проведение работ по уничтожению грызунов».

Не редки были происшествия такого плана: «14 декабря 1947 года по Комсомольской улице в доме № 2 произошел обвал стены, в результате которого погибла семья в составе 7 человек. Обвал произошел в силу воздействия большого количества осадков на ветхие стены здания при отсутствии крыши на последнем».

Об обещаниях никто уже не вспоминал — остаться бы в живых.

Впрочем, и здесь жизнь налаживалась. И вскоре власти радостно рапортовали: «Бескоровность среди переселенцев 1949 года ликвидирована, за исключением тех семей, которые имели скот, но по разным причинам сами продали, прирезали или не имеют на руках справки о бескоровности».

Вообще, после войны, вследствие очередного перераспределения людей по территории страны, вопрос с жильем встал с новой остротой. Вот один из докладов тех лет: «К нам сейчас много приезжает немосквичей, которые ранее в Москве не проживали, которые попадают сюда разными обманными путями, указывая в части, что у них в Москве проживают близкие родственники, а на самом деле у них тут никого нет. Одна категория немосквичей, которая приезжает сама. Другая категория, когда представители заводов вербуют демобилизованных из других областей и сюда их привозят, как, например, заводы “Богатырь” и “Буревестник”, которые завербовали и привезли сюда по 100 человек для работы в Москву. Их и на военный учет не принимают, и не прописывают, и здесь для этих демобилизованных создается тяжелое положение».

Комната в коммуналке, которую вроде бы совсем недавно принято было клеймить в сплетнях, анекдотах, фельетонах, вдруг снова стала пределом мечтаний. Один из московских чиновников докладывал летом 1945 года: «Большой недостаток и самый главный — это вопрос с жильем. Тут районами проделана работа, но все же этот вопрос еще является узким местом. Общежития, которые мы отметили в решении бюро МГК ВКП(б), не во всех районах сданы. Во-первых, их в некоторых районах скрывают, и, во-вторых, некоторые общежития, как в Ленинском районе, очень плохие, и туда никто не поедет. У нас по всем районам имеется общежитий на 1500 коек. Но тут вопрос осложняется тем, что некоторые демобилизованные думают, что если они сразу не получают комнату, а вселятся в общежития, то они там так и останутся, и лучше им сразу нажимать на комнату. Плохо делают общежития Дзержинский и Коминтерновский районы, которые должны были организовать общежитий на 48 коек, а сделали на 11».

Была еще одна проблема, тоже связанная с жильем для вчерашних воинов: «Как-то звонил т. Пушкин и сообщил, что тех демобилизованных не принимают на старые места работы, которые раньше жили в общежитиях или у которых комната была, но семья находится в эвакуации, а он демобилизован. Некоторые учрежде-

ния и предприятия стараются таких демобилизованных не брать, чтобы не предоставлять им жилплощади. Здесь, очевидно, должен быть соответствующий нажим со стороны нас, потому что людей на старые места надо возвращать. Я имею в виду Академию им. Фрунзе, там человек работал и жил, а сейчас его не берут, ему отказывают. Это неправильно».

Даже те, у кого были заветные комнаты, не чувствовали себя в них уютно: «Так, например, т. Илюшин вернулся с фронта 17 июля, семья у него состоит из 5 человек, потолок в его комнате обвалился. Тов. Илюшин в течение 2 лет требовал ремонта комнаты его семьи, писал с фронта неоднократные письма в райсовет, и от райисполкома т. Илюшин получил ответ, что его комната отремонтирована, и его семья хорошо устроена. В действительности никакого ремонта проведено не было. Демобилизованный красноармеец Шамин — семья его состоит из 9 человек, дочь и сын в армии, дом, в котором он проживает, требует капитального ремонта. Во время дождя крыша протекает и в комнате текут лужи, однако там ремонт не производится. Получилось как раз очень некрасиво, потому что пришел первый берлинский эшелон, был дождь, он приходит к себе домой, а в комнате тазы, корыто. В этом же районе демобилизованный Егоров живет в комнате, которая совершенно непригодна к жилью: крыша протекает и пр. И в других районах тоже такое же положение, особенно тяжелое положение в Дзержинском районе... Например, там имел место такой случай: демобилизованный Никонов имеет семью из 5 человек — детей и жены. В результате большого разрушения квартира пришла в негодность, и они переселились жить на кухню. 19 июля кухня обвалилась, и они стали ютиться в ней по краям. После обвала т. Никонов обратился с вопросом ремонта в жилотдел, и начальник жилотдела ему ответил, что они кухню перегрузили, обвал произошел не по его вине и делать он ничего не будет. У Петрикова жена и дочь, жена очень сильно больна туберкулезом, живут под лестницей, и никаких мер со стороны районных организаций не принимается, чтобы их переселить. Демобилизованный Титков вернулся из армии 17 июля, семья его состоит из 4 человек. Дом, где они проживают, разрушен, и их переселили на площадь эвакуирован-

ных, которые вернулись, и они вот уже более 2 месяцев под лестницей. Демобилизованный Орлов — семья состоит из 14 человек, 2 дочери вернулись с фронта, мужа их в армии, сын — инвалид Отечественной войны, а жилплощади нет, комната разрушена».

А вот еще информация, подготовленная оргинструкторским отделом МГК ВКП(б):

«Инвалид т. Сельченков с семьей в 7 человек, из них 6 малолетних детей, проживает... в грязном, полуподвальном помещении в 11-метровой комнате, где пол прогнил, одна стена из фанеры худая. Тепло в комнате не держится, так как наружная дверь разрушена. Несмотря на ряд заявлений т. Сельченкова в райжилуправление, ремонт не произведен. В аналогичных условиях проживает в этом же доме, кв. 68, инвалид т. Шерель...

Тов. Фоменков (Тимирязевский район) совершенно слепой, ампутирована одна нога, не может выписаться из госпиталя, так как в его комнате пол прогнил, печка проваливается, рама неисправна...

Инвалид т. Ларионов (Железнодорожный район) после ампутации обеих ног в мае 1944 года вернулся в Москву. Но его комната оказалась занятой и, несмотря на решение народного суда о выселении жильцов, комната в течение полутора лет не освобождается. Тов. Ларионов вынужден жить вместе с семьей сестры в маленькой комнате и спать на полу.

Инвалид т. Орлов (Дзержинский район) живет с семьей в полуподвальном помещении... В комнату просачивается подпочвенная вода, на полу проложены кирпичи и доски, по которым ходит семья. Председатель райсовета т. Полякова отказала т. Орлову в предоставлении другой комнаты...

Инвалид т. Пашенцев (Ленинградский район), оставшийся без ног, проживает с семьей — жена и двое малолетних детей... в сырой комнате, оконная рама сгнила от сырости, стояк вышел из строя...

Тов. Клестов несколько раз обращался в райисполком Сталинского района с просьбой произвести ремонт комнаты... в которой с потолка и стен течет, от сырости отвалилась потолочная штукатурка. Печь неисправна, пищу готовить не на чем...

Инвалид, младший лейтенант т. Гольдин в августе с. г. вынужден был подать заявление в ЦК ВКП(б) на невни-

мание к нему со стороны работников Москворецкого райсобеса. Он писал: “Я — слепой, мне нужен провожатый. Во время моего пребывания на фронте вещи в комнате расхитили, мне также нужны пальто, обувь, белье. На мои обращения в райсобесе отвечали: ‘Мы офицеров не обеспечиваем. Идите в Военторг’ ”.

Словом, проблем хватало, и не шуточных.

\* \* \*

Вместе с тем в довоенные, военные и тем более послевоенные годы первоначальный коммунальный ажиотаж начал заметно спадать. Показательны воспоминания поэта Константина Ваншенкина: «Я учился с Толей Ключковым в геологоразведочном институте, жил далеко за городом — мест в общежитии не было — и совсем начал выбиваться из сил, когда они пригласили меня жить к себе. Время было радостное, только-только отменили карточки, но все равно было еще трудно, а они брали с меня не всю стипендию — даже оставалось на курево.

Ключковы жили в старом рабочем районе, за Павелецким вокзалом, в трехэтажном кирпичном доме. По ночам поблизости слышались звуки бодрствующей железной дороги: прокатывающийся гром сдвигаемых составов, короткие сигналы маневровых паровозов.

В квартире было десять или одиннадцать семей. Когда-то здесь жил фабричный управляющий, а после революции сюда вселили рабочих. Они переженались, повыходили замуж, пошли дети, народу сильно прибавилось, стало совсем тесно, но все привычно и по возможности дружно жили в этой квартире с двумя уборными и огромной кухней на три газовых плиты. Здесь вырос и Толя Ключков.

У них было две комнаты. В совсем крохотной, метров пяти-шести, жили бабушка и ее младший сын, Толин дядя — Коля. Он был только на год старше меня и еще служил в армии, в погранвойсках, откуда позже тогда отпускали. Бабушка была тихая, неприметная, но всегда ощущалось ее живейшее участие в общей жизни. И еще она была по натуре очень добрая — подбрасывала Толе карманных денег, а мне часто говорила: “Ешь, сынок, в аппетит, пока пупок отлетит!..”



И Толина мать унаследовала ее характер.

Мы, остальные, жили в большей комнате, метров двадцати. Толины родители спали на широкой кровати, сестренка Лида на детской, из которой уже выросла — ей было одиннадцать лет, — Толя на диване, я на сундуке.

Этот сундук у двери был немного коротковат для меня».

При таких более чем стесненных обстоятельствах взять к себе жить еще одного человека, да практически на правах члена семьи — отдавал часть стипендии на общее хозяйство, оставлял себе на сигареты и карманные расходы! Удивительный поступок — как с точки зрения нынешнего обывателя, так и стесненного со всех сторон горожанина 1920—1930-х годов.

Тогда же это было нормой.

\* \* \*

Находилась место и какой-то совершенно необъяснимой, бескорыстной доброте. Старый москвич Владимир Юринский писал в мемуарах: «Запущенность иных фасадов и дворов казалась печатью времени, как паутина икон, картин старинных мастеров, гравюр в музеях. Свежеокрашенные особняки старинных усадеб теряли что-то в облике своем, воспринимались театральными декорациями. Нетронутые кистью маляров, влекли к себе патриархальной тайной, какой-то одухотворенностью. Тихие московские старушки, сидящие на скамьях возле них, представлялись героинями романов Тургенева, Толстого, Достоевского. Матери Валерия Старых и Мишки Этова прожили всю жизнь в тесных комнатах коммунальных квартир с общими кухнями и длинными коридорами. Тихим голосом, за вечерними чаями, грустно поблескивая старческими выцветшими добрыми глазами, неспешно рассказывали они о жизни после Первой мировой войны, после революции, о послевоенной реформе, столпотворениях на площадях в дни похорон Сталина, о разных семейных событиях, воздушных тревогах, шумных майских демонстрациях в дни их молодости.

Спать меня укладывали на раскладушках, ставя их в проходе комнаты. Семья Старых жила втроем в двад-

цатипятиметровой. Кроме Валерия здесь жил его старший брат. А у Этовых, в старом поповском деревянном доме, в двух маленьких комнатках обитали родители и сам Михаил с женой и годовалым сыном... Так что больше двух-трех дней подряд было неудобно оставаться ночевать».

В том, чтобы, несмотря на ужасающую тесноту, оставить на ночь, фактически совершенно чужого человека, не виделось ничего странного.

\* \* \*

Время шло, и коммуналки становились мягче, уходила суровость, появлялась романтика. Вот воспоминания одного из ленинградцев: «Дом № 12 — большой, жильцов была тьма, но знали мы всех, и жизнь каждого из нас была частицей жизни всего дома. Праздники — помогали украшать дом, субботник — все как один. Учение МПВО — опять вместе со взрослыми: дежурили у ворот и на крыше с противогазами, таскали на чердак песок и наблюдали за воздушной обстановкой. И, как потом оказалось, не зря. В красном уголке торчали постоянно и на собраниях квартиросъемщиков, и на лекциях о международном положении. На концерте самодеятельности значились в активистах — кто с балалайкой, кто с куплетами. Жили в доме и коренные питерцы, и выходцы из деревень. Люди разного материального достатка и образования, разных национальностей, верующие и безбожники, но, общаясь, ощущали не различия — близость, одним словом — довоенные ленинградцы. В этой людской добросердечности росли мы, подростки, она была нашими дрожжами».

\* \* \*

Интересна история Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, 10). Этот маленький особнячок выстроили еще до революции для семьи Петуховых. И еще в середине XX века им формально владел пожилой Николай Григорьевич Петухов. Фактически же это была коммуналка — власти постоянно подселяли к Петухову квартирантов. При этом оплачивать отопление, электричество, ремонт

и прочие коммунальные нужды (а они в особняке обходятся значительно дороже, чем в простой квартире) должен был Николай Григорьевич — как собственник. Правда, с жильцов — в соответствии с расценками того времени — собирали некую арендную сумму, и некая ее часть даже доходила до петуховского кармана, но это, разумеется, были гроши.

На протяжении нескольких десятилетий несчастный Петухов пытался подарить свою весьма обременительную недвижимость государству. Государство отказывалось. Казалось, что это вообще никогда не закончится.

В конце концов Николай Григорьевич завещал свой домик коллекционеру Феликсу Вишневному, после чего тихим образом скончался. Тот же пошел по пути, протоптанному еще дореволюционными собирателями — открыл в особняке частный Музей Тропинина и незамедлительно передал его в дар государству, не забыв оговорить для собственного проживания небольшой апартамент. От подобного подарка отказываться было как-то не с руки. Музей поступил на баланс Министерства культуры. Дом перестал быть коммуналкой.

\* \* \*

Строились новые дома — красивые, даже роскошные. Но коммунальная культура, словно тараканье стадо, проникало и туда. Даже самые знаковые, резонансные постройки не могли быть полностью свободными от этой социальной заразы.

Взять хотя бы гостиницу «Украина». Пафосное, богато декорированное здание высотой 206 метров и общей площадью более 88 тысяч квадратных метров. Один только шпиль тянулся на 73 метра. «Украина» до сих пор считается самой высокой гостиницей в Европе и самой высокой гостиницей в России. На момент запуска в эксплуатацию она также считалась самым высоким отелем в мире, но в 1976 году эта честь отошла к гостинице «Вестин-Пич-Плаза» в Атланте (США). Ее высота 220 метров.

Номера были выполнены по последнему слову прогресса — в них была оборудована бесшумная система вентиляции и принудительного подогрева, а также спе-

циальная система пылеудаления. А в квартирах, на кухнях были встроены две холодильные камеры — летняя на электричестве и зимняя естественного охлаждения.

Один из соавторов, архитектор Вячеслав Олтаржевский, поправ скромность, писал: «Из всех строящихся высотных зданий гостиница на Дорогомиловской набережной занимает наиболее выгодное по своей живописности положение. Величественным мощным силуэтом стройное богатое пластикой здание гостиницы возвышается над берегом Москвы-реки на широко раскрытой площади... Живописный озелененный ковер партера с фонтанами, лестницами и террасами спускается от лестницы к гранитной набережной реки, с которой монументальные лестницы ведут к площадке пристани речного флота... В ясный спокойный летний день эта живописная панорама дополняется отражением в воде силуэта белокаменного здания, завершенного позолоченным шпилем».

В разное время в ее номерах останавливались Роберт Де Ниро, Марчелло Мастроянни, Патрисия Каас, Армен Джигарханян, Алиса Фрейндлих, Раймонд Паулс, Тамара Гвердцители, Чингиз Айтматов, Эдита Пьеха, Херлуф Бидструп, Мишель Легран, Святослав Рерих, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук. Особенной славой пользовался ресторан. Правда, некий иностранец написал, что, «завтракая в зале ресторана, испытывал на себе всю степень тяжести здания, пафоса, излишней помпезности и собственной ничтожности». Что поделать — вся советская архитектура той эпохи отличалась подавляющим величием.

Один из героев романа Эфраима Севелы «Мужской разговор в русской бане» описывал этот отель: «Гостиница — не из обычных. Простой люд туда и сунуться не может. В ней живут важные заграничные гости, а из наших, советских, только те, кто ходит в высоких чинах или чем-то очень прославился. Все тридцать этажей, тысяча комнат, как соты, набиты отборной, исключительной публикой... Гостиница «Украина» гудела как улей, и шесть скоростных вместительных лифтов мчали вверх и вниз потоки людей. На самом верху был ночной ресторан, открытый до утра. Он был единственным такого рода в Москве. И внизу два нормальных огромных ресторана. Хрустальные люстры, бронза, мрамор.

Три джаз-оркестра. На дамах дорогие меха, мужчины одеты у лучших портных. Сливки общества. Вот куда я затесался».

Одной из основных изюминок гостиницы стала коллекция советского изобразительного искусства. Оно здесь представлено во всех возможных формах — и в скульптуре, и в мозаике, и в живописи. Речь не только об оформлении самого здания и его интерьеров — множество дорогих полотен украшает стены. Работы уровня Дейнеки и Поленова специально приобретались для оформления отеля.

Наибольшее же любопытство вызывают все же не полотна видных мастеров — в любом случае в Третьяковке их будет больше, а диорама Ефима Дешалыта «Москва — столица СССР», изображающая Кремль и центр Москвы 1970-х годов в масштабе 1:75. Общая площадь диорамы — 306 квадратных метров (изначально было 400 квадратных метров, но часть произведения утрачена), специальная система освещения реагирует на смену времен суток, создавая соответствующую световую иллюзию. Разумеется, предусмотрено и звуковое сопровождение.

И что же? Хрущев, пришедший к власти еще до завершения строительства, лично отдал команду переоборудовать боковые флигели под обычные квартиры — якобы для гостиницы пространства было слишком много. В квартиры же въехали актер Борис Бабочкин, режиссер Сергей Герасимов, фигуристка Людмила Пахомова и другие известные люди.

И среди тех квартир, как ни парадоксально, были коммуналки. Да что там — и в самих хрущевках, призванных освободить советских граждан от совместного сортира, они тоже были. И в одной из таких коммуналок прошло мое детство.

---

## *Что к чему? Организация пространства*

Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой  
Соседушка с соседушкой баловались водочкой.  
Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.  
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.  
Здесь я доподлинно узнал, почему она, копеечка, —

пел Владимир Высоцкий в «Балладе о детстве».

Большинство наших современников знают о логистике советской коммунальной квартиры именно по этой песне и некоторым ей подобным, а также по добрым ностальгическим фильмам вроде «Покровских ворот».

Что ж, и в песнях, и в фильмах есть своя доля правды. В частности, эта правда — правда «Баллады о детстве» — подтверждается мамой Высоцкого Ниной Максимовной: «Замечательный был этот дом 126... В доме была коридорная система, ранее это была гостиница “Наталис”. Коридоры широкие, светлые, большая кухня с газовыми плитами, где готовились обеды, общались друг с другом хозяйки, производились стирки, в коридоре играли дети. Народ в нашем доме был в основном хороший, отзывчивый, почти в каждой семье было несколько детей. Мы тесно общались семьями, устраивали совместные обеды и чаепития, в трудные моменты не оставляли человека без внимания, случалось, и ночами дежурили по очереди у постели больного.

В праздничные дни тут же, в широкой части коридора, устраивались представления и концерты. Действующими лицами были дети. Володя тоже принимал в них участие. У него была прекрасная память, он выучивал длинные стихи, песни, частушки, прекрасно и выразительно читал их».

Тот же Владимир Семенович прославил и другой московский коммунальный дом 15 по Большому Каретному переулку. Здесь прошло его детство. Он обозначил этот факт в своей известной песне:

Где мои семнадцать лет?  
На Большом Каретном.  
Где мои семнадцать бед?  
На Большом Каретном.  
А где мой черный пистолет?  
На Большом Каретном.  
А где меня сегодня нет?  
На Большом Каретном.

Упоминался тот дом и в другой песне Высоцкого:

В этом доме большом раньше  
пьянка была  
Много дней, много дней.  
Ведь в Каретном ряду первый дом  
от угла —  
Для друзей, для друзей.

За пьянками, гулянками, за банками,  
полбанками,  
За спорами, за ссорами — раздорами  
Ты стой на том, что этот дом  
Пусть ночью и днем всегда твой дом,  
И здесь не смотрят на тебя с укорами.

Высоцкий, родившийся в 1938 году, жил здесь с конца 1940-х до конца 1950-х годов. Самое-самое время, чтобы попробовать жизнь на зубок.

Кстати, даже черный пистолет в той знаменитой песне имел свой прототип. Школьный товарищ Высоцкого Игорь Кохановский рассказывал: «Или вот песня “На Большом Каретном”. Там стояла наша школа, и там жил Володя, а в этом же доме жил его хороший друг и даже хороший родственник — Анатолий

Утевский. Толя учился в той же школе и был двумя классами старше нас. Он был из семьи потомственных юристов и, когда окончил школу, поступил в МГУ на юридический факультет... Утевский проходил практику на Петровке, тридцать восемь. И ему дали пистолет — черный такой, помните: “Где твой черный пистолет?!”...».

Сам Высоцкий вспоминал то время, ту свою «каретную» компанию: «Это было самое запомнившееся время моей жизни. Позже мы все разбрелись, растерялись... Но все равно я убежден, что каждый из нас это время отметил... Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду, где бы ни были; понимали по жесту, по движению глаз — вот такая была притирка друг к другу. И была атмосфера такой преданности и раскованности — друг другу мы были преданы по-настоящему... Сейчас уже нету таких компаний: или из-за того, что все засуетились, или больше дел стало, может быть».

\* \* \*

Но жизнь, как обычно бывает, гораздо богаче и разнообразнее.

Коммунальная квартира начиналась с коридора. Нет, даже не с коридора — с входной двери. Когда деревянной, а когда обитой дерматином. Других вариантов не было. Замок — элементарнейший. Нет смысла ставить что-либо надежное и дорогое, если квартира — не крепость, а проходной двор. «Правила внутреннего распорядка в квартирах» от 1929 года даже специально оговаривали: «Входные двери черного и парадного ходов должны быть всегда на запоре».

Это положение, однако, то и дело игнорировалось.

В СССР тогда вообще не уделялось слишком пристального внимания замкам. Лишь бы видимость была. Ильф и Петров писали в фельетоне «Равнодушие» в 1932 году:

«Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.



Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упрямден, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьюдесятью двумя массивными американскими замками — производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.

Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, варварски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером “рондо”, обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иглой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.

Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.

А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером “рондо”, и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком — продуктом полного равнодушия».

\* \* \*

Авторы лишь мельком коснулись тут довольно странного, непостижимого и до сих пор никем толком не разъясненного явления — тотальное закрытие парадных подъездов и перевод всего человеческого трафика на черные лестницы, которыми раньше пользовалась исключительно прислуга.

Теорий существует множество. И то, что новая власть, сама фактически вышедшая из класса прислуги, продолжала считать себя таковой и на парадных лестницах ей было некомфортно. И то, что эти самые парадные лестницы требовали освещения, отопления и уборки в гораздо большей степени, нежели черные, а новая власть была вынуждена экономить на всем.

Интересную теорию изложил писатель Юрий Маркович Нагибин: «С самого своего возникновения советская власть наложила запрет на парадные двери и проходные дворы. И в тех, и в других виделась возможность бегства. Лишь в середине тридцатых открыли ворота в Сверчков, а перед войной отомкнули парадный ход. К тому времени уже всех поймали, и бежать стало некому».

Несмотря на очевидную эпатажность этой мысли, нечто разумное в ней явно есть.

\* \* \*

Впрочем, покинем уютное пространство любительской культурологии и вернемся на старую добрую коммунальную лестницу. Точнее, на так называемую лестничную площадку.

Рядом с дверью — совершенно фантастический натюрморт из множества разнокалиберных звонковых кнопок и разнокалиберных же проводов, к ним подходящих. Часть покрашена краской (в основном терракотового цвета), а часть нет. Отсюда сразу можно сделать вывод: те жильцы, у которых кнопки с проводами чистые, вселились позже, уже после того, как здесь в очередной раз делали ремонт и «подновляли» дверь. Жильцы с покрашенными кнопками, соответственно, являются своего рода старожилками.

Фамилии жильцов значатся здесь же, на таких же не похожих друг на друга бирочках. «Ивановы». «Петро-

вы». «Смирнов Александр Иванович». «Попандопуло». «Меерсон». До десятка, а иной раз и больше.

В тех коммуналках, где соседи более или менее дружные, кнопка была одна. И бирка тоже. Но большая:

«Ивановы — 1 зв.

Петровы — 2 зв.

Смирнов Иван Иванович — 3 зв.

Попандопуло — 4 зв.

Меерсон — 6 зв.».

Что случилось? Почему вдруг Меерсону — шесть? А пять тогда кому?

Да никому. Может быть, жили здесь еще какие-нибудь Кимы или Интрилигатор-Козлевиичи. Жили да съехали. Сами или под конвоем — подробность в данном случае несущественная и даже сильно нежелательная. А на их место заселились, например, Петровы. А Меерсону как звонили шесть звонков, так и звонят, не перечиваться же из-за такой-то мелочи. Или не мелочи?

Словом, история покрыта мраком.

\* \* \*

И уже потом за дверью следовал коридор. Как правило, огромный, но при этом очень тесный. Неудивительно — места в комнатах не хватало на весь скарб, накопленный подчас десятилетиями.

Вот воспоминания Лидии Либединской о коммунальной квартире на Покровском бульваре, в котором жила поэтесса Марина Цветаева:

«Свернув с бульвара в один из покровских переулков, мы с Алексеем Кручёных вошли в полутемный подъезд большого “доходного” дома и вот уже поднимаемся на лифте куда-то очень-очень высоко (а может, это мне только кажется?), звонок в дверь, такая же полутемная прихожая коммунальной квартиры, загроможденная сундуками. Тяжелая дубовая вешалка, где-то под потолком велосипед, неподвижный, а потому беспомощный. В квартире идет ремонт, пол проломлен, белая меловая пыль покрывает все.

Дверь открыл высокий широкоплечий юноша в кожаной куртке на молнии. Это сын Марины Ивановны Георгий, Мур, как его называли дома. Он попросил нас пройти в комнату».

Краевед Яков Миронович Белицкий вспоминал о скромном обиталище Ильи Ильича Шнейдера, секретаря Айседоры Дункан: «Теперь, когда проходишь по этому коридору, с расположенными на видных местах книгами, плакатами и диаграммами, даже мне, не раз бывавшему здесь раньше, трудно вспомнить, где была его комнатка... Я помню этот коридор узким и темным, с длинным и унылым рядом обшарпанных дверей, за которыми бесконечно и разноголосно шумела московская коммуналка... Мне и сейчас еще слышится, как на кухне шипят, обливаясь кипящим молоком и щами, керогазы и примусы, хотя, возможно, это наплыв более давних и совсем других воспоминаний».

\* \* \*

Первое время в коммунальных коридорах часто ночевали домработницы. До революции это явление было распространено повсеместно. Нищий студент мог отказаться от горячих обедов, от кофе и чая, иметь лишь одну пару обуви — но домашняя работница у него была, хотя бы проходящая. Эта традиция настолько прочно въелась в мозг, что долго не могла оттуда выбраться. Власти разрушали храмы, освобождали угнетенные народы, создавали те же коммуналки — и при этом спокойно мирились с институтом домашних работниц. Видимо, чтобы не увеличивать и без того катастрофические нагрузки на биржи труда.

В свою очередь, еще до революции многие практически (а кто-то и фактически) породнились со своей прислугой. Не только бывший барин не мог представить свою жизнь без домработницы — и домработница не представляла, как это она вдруг окажется предоставлена сама себе, боялась такой перспективы до желудочных колик. К тому же некоторые крестьянки, оказавшись не у дел, перебирались в город и записывались на биржу труда как потенциальные домработницы. Прекратить эту практику значило нанести еще один удар и без того плачевному рынку занятости.

Возникла парадоксальная ситуация: тот, кто до 1917 года как-то обходился без домашней работницы, вдруг получил возможность ею обзавестись.

Вот характерный эпизод из жизни поэта Сергея

Есенина, описанный библиографом Иваном Ивановичем Старцевым: «Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры “Пугачева” и, уходя в “Стойло”, забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеремонно, по обыкновению, приходивших к Есенину и рывшихся в его папку. И что же — в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валявшуюся на полу бумагу (корректуру “Пугачева”) и сожгла ее. Корректурка была выправлена на следующий день вновь».

В этот период жизни Сергей Александрович скитался по писательским коммунам и по коммуналкам. Но без прислуги — пусть и приходящей — своей жизни не мыслил.

Этим труженицам чужого быта следовало где-то спать. Днем они находились как бы одновременно всюду и нигде определенно. То на кухне готовит, то ванную чистит, то в магазин за картошкой пошла. Но во время сна ей все же была необходима определенная локация.

В комнатах и без того было тесно, да и класть туда прислугу казалось неправильным — чужой все-таки человек. Бывшие помещения для домработниц функционировали в режиме полноценных жилых комнат. Остался коридор.

Вот воспоминания Глеба Горбовского:

«Родился в городе. Причем в прекрасном городе. Измышленном дерзостью разума и воздвигнутом волею Великого Петра. Но детство прошло не в сиятельных апартаментах, а в многолюдной, густой коммуналке, в десятиметровой комнате на троих. И вот что запомнилось ярче прочего: в проходном квартирном пространстве общего пользования, будто на пешеходном мосту, соединяющем “черный ход” коммуналки с основным ходом, под портретом наркома Ежова, на гигантском окованном сундуке жила у нас в квартире “ничья бабушка” из сельских. В свое время кем-то выхваченная из деревни в няньки, да так и забытая в коридоре, — то ли младенец, которого надлежало ей нянчить, умер до срока, то ли родители младенца поссорились и развелись, — во всяком случае, бабушка жила в коридоре на

сундуке, ела хлебную тюрю с луком, крестилась на свет электролампы, шептала молитвы и, за неимением собственного младенца, ласкала время от времени меня и всех остальных малолеток жилобщины. Ласкала, угощала тюрей и вместо сказок рассказывала нам иногда о своей деревне.

Ее рассказы были пересыпаны необыкновенными словами, такими, как “поветь”, “поскотина”, “пряслице”, “загнеток”, “лукно”, “гумно”, “сусек”, казавшиеся мне словами если не сказочными, то иностранными. Эти лохматые, грубого помола “скобарские” выражения нравились мне, тогдашнему учительскому сынку, привыкшему к правильной, монотонной речи образованных родителей, так же, как нравились горожанину, очутившемуся в деревне, крестьянский хлеб с парным молоком, разваристая картошка с малосольными огурцами, колодезная вода из ковша».

Впрочем, известны совсем уж экзотические истории. В частности, в одной из московских коммуналок, состоящей всего из двух комнат, домработница жильцов одной из этих комнат спала в ванной. И ничего, соседи были не в претензии. Действительно — должен же где-то спать советский человек, строитель коммунизма.

Ванная комната вообще воспринималась многими не как инфраструктурный элемент, а как жилая площадь, ничем не отличающаяся от другой такой же жилой площади — бывшей каминной, например, или же дворницкой. Мариенгоф писал в повести «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»: «Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кровати с пестрыми шнурами».

Так продолжалось до 1929 года, после чего — не домработниц запретили, нет, конечно. Просто стали требовать согласия соседей на размещение прислуги в общественных местах. Соседи, разумеется, давать такие разрешения не спешили — кто-то хотел денег (очевидно же, что домработницу держат не самые бедные строители коммунизма), кто-то принципиально был против. В любом случае, в прихожих и других местах стало значительно просторнее.

Тем не менее ванная комната и впредь нередко

уступала свои первоначальные функции в пользу более насущных. Владимир Лакшин писал о литературном критике Марке Щеглове: «Я вспоминаю его... дома, в Электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в этой маленькой, узкой, как щель, полутемной комнатке, служившей некогда ванной и заселенной в эпоху коммуналок и “уплотнений”, — он сидит, подвернув ноги, на сундуке, с книжкой в руках».

Марк Александрович, один из талантливейших отечественных литературоведов, с двух лет болел костным туберкулезом и скончался в возрасте тридцати лет. Живи он в нормальных условиях — видимо, протянул бы дольше, и отечественное литературоведение от этого здорово выиграло бы. Но, как нетрудно догадаться, в послевоенные годы, к каковым относятся воспоминания Лакшина, было не до литературоведения, не до литературных критиков и не до инвалидов. Рассовать бы кое-как людей по норам и углам.

\* \* \*

Одним из основных участников коридорной жизни, постоянно отыгрываемых режиссерами и живописцами, был велосипед. Он либо стоял, либо висел на рогульках. Детские трехколесные велосипеды все время откуда-то свешивались, и рослые жители коммуналок регулярно задевали их своими нечесаными, а нередко и вшивыми головами.

Чтобы представить себе все разнообразие этих колесных жителей, расскажем коротко об эволюции советской двухколески.

Все началось в 1939 году, когда Пермский машиностроительный завод стал выпускать подростковую «Каму» — с невысокими колесами, рулем, напоминающим турьи рога, и складной рамой, облегчающей хранение велосипеда в условиях советской коммуналки. Первое время раму действительно складывали и раскладывали, а потом механизм либо ржавел и переставал раскладываться, либо расшатывался, после чего приходилось выбрасывать весь велосипед.

Тем не менее сама модель вышла живучей — ее сняли с производства только в 2006 году.

Сразу же после войны, в 1946 году, в рамках конвер-

сии стал выпускать велосипеды Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Модель так и называлась — «ЗиЧ-1», что расшифровывалось как «Завод имени Чкалова — Первый». Второго, правда, не последовало, зато первый вышел хоть куда. Крепкая, мощная, практически неубиваемая машина с переключателем передач, звонком, кожаной сумкой, прицепленной не к верхней раме, а к заднему багажнику — это смотрелось солидно. Кожух от попадания штанов между ведущей звездочкой и цепью. А главное — фара на крыле переднего колеса и генератор, питающий эту фару от энергии вращения того же переднего колеса.

На этой штуке можно было ездить ночью по разбитым послевоенным дорогам и ничего-ничего не бояться.

С 1947 года в цехах Минского мотовелозавода приступили к выпуску велосипеда «Аист» — тоже со складной рамой и высоким рулем. «Аист» также был снабжен откидывающимся костыликом для парковки при отсутствии внешних опор в стоячем состоянии. То есть после откидывания костылика велосипед приобретал третью точку опоры, и его не надо было ни прислонять к чему-либо, ни класть на пыльный асфальт. Вещь довольно удобная.

Это единственная советская модель велосипеда, которая выпускается по сей день.

Еще один подростковый велосипед, рассчитанный на седоков десяти-одиннадцати лет. Он так и назывался — «Школьник», встал на конвейер Горьковского велосипедного завода в 1956 году и выпускался ровно три десятилетия. Честно говоря, о нем даже писать не хочется — такое ощущение, что эту синюю или зеленую конструкцию без каких-либо отличительных черт и так представляет себе каждый читатель, более или менее интересующийся прошлым (а другой читатель эту мою книгу просто в руки не возьмет). Он разве что выделялся защитным кожухом, размещенным над цепью и призванным защищать штаны всадника от попадания и зажевывания этой хорошо промасленной деталью. Но это в теории. А на практике цепь все равно почему-то зажевывала край штанов, и его приходилось, как и на других велосипедах, фиксировать деревянной (а других в то время и не выпускали) бельевой прищепкой.



В 1964 году на Харьковском велосипедном заводе начали выпускать гоночный «Спутник» — лаконичный, как советский сервант приблизительно той же эпохи, но зато с системой передач двумя тормозами и круто загнутыми вниз рогами руля. Как начали, так и закончили — в 1968 году «Спутник» вдруг сняли с производства. Ну а там и коммунальная эпоха медленно пошла на спад.

В середине прошлого столетия все велосипеды должны были иметь свой регистрационный номер, состоящий из названия города, собственно номера и года его выдачи. В сельской местности этим, естественно, пренебрегали — там и у машин-то не у всех имелись номера. В городах и правда приходилось регистрировать и вешать. Это касалось даже детских трехколесных велосипедиков, на которых малыши гоняли под двором.

Были редкостью, но все-таки существовали велосипеды с моторчиком — так называемые самоходные велосипеды. Моторы, впрочем, ставили и сами пользователи — тогда велосипед превращался в мопед или приобретал более скромное, вполне расхожее название — «велосипед с моторчиком».

В некоторых случаях велосипеды выдавались на работе в качестве служебного транспорта — например почтальонам. Иногда к велосипедам прицепляли нечто наподобие прилавка — такой велосипед участвовал в процессе уличной торговли.

Однако же у большинства жителей коммуналок при слове «велосипед» всплывал в памяти огромный, неудобный и рогатый монстр, стоящий или же висящий в коридоре и щедро раздающий синяки квартирным обитателям, особенно когда они слегка «подвыпивши».

Власти старались поощрять велосипедный спорт. В частности, в 1930 году «в целях облегчения трудящимся возможности приобретать велосипеды и увеличения средств для строительства и расширения велосипедных заводов» были выпущены так называемые «велосипедные обязательства», дающие возможность накопить деньги на двухколеску. По сути это был целевой вклад, а не возможность приобретать велосипеды в кредит. Таким образом, коммунальные коридоры обзаводились все новыми и новыми двухколесными жителями.

Непременное условие существования коммунального коридора — его заброшенность, неряшливость, нечистота. Что вполне объяснимо — он не был чьей-то территорией, жилой комнатой, не был санузлом, чистка которого строжайшим образом регламентировалась, и не был кухней, в которой волей-неволей поддерживался некий порядок просто в силу крайней востребованности этого пространства.

Коридор был ничейный и, можно сказать, лишний. По нему ходили. Для хождения требовалась узенькая полосочка по центру. Все остальное захламлялось и не чистилось. И потому что некому, и потому что стереть пыль с такой большой мусорной кучи было невозможно в принципе, так же как и вымыть под ней пол. Уже упомянутые велосипеды, сломанные лыжи, перегоревшие фонари, испорченные патефоны, покривившиеся деревянные счеты, затупившиеся коньки для фигурного катания, разболтанные стулья, сломанные детские игрушки, металлические ванны для купания младенцев, садовые лейки, выцветшие картонные коробки, корзины для сбора грибов, тазы, ветошь и всяческая арматура.

Коридоры бывших дореволюционных доходных домов подчас были очень широкими — в таких приживались отслужившие свое конторки, станины от швейных машин и даже продавленные диваны. А в диванах водились клопы.

Зато светильников и абажуров в коридорах не наблюдалось — разве что испорченные, в общей куче коммунального хлама. Причина все та же — было совершенно непонятно, кто купит и прикрутит этот абажур. Даже лампочка перегоревшая менялась с большим скрипом — случалось, коммунальный коридор на целые месяцы погружался во мглу.

И, разумеется, всякий уважающий себя коммунальный коридор был украшен электрическими счетчиками. Их могло висеть и десять, и больше — по числу квартиросъемщиков. Счетчики были хотя и похожи друг на друга, но все-таки разными — кто уж какой купил. Где купил. Или когда купил. Здесь соседствовали представители самых разных поколений счетчиков.

Они тихо шуршали и громко вздыхали, тикали и

стрекотали, в них что-то крутилось и плакало. Все это было привычным. На счетчики не обращали внимания — разве что снимая показания расхода электричества.

\* \* \*

Кстати, в провинции было не лучше. Вот воспоминания бывшего жителя казанской коммуналки:

«Я очень хорошо помню такую коммуналку. Она была на первом этаже нашего Z-образного дома по улице Восстания в Ленинском тогда еще районе. Дом был, кажется, на балансе Вертолетного завода, и жили в доме преимущественно рабочие и служащие этого крупнейшего в городе предприятия.

В коммуналке этой жило четыре семьи. Наша семья жила рядом: в однокомнатной сталинке. Квартира у нас была большая, с огромной прихожей, в которой стоял отцов мотоцикл “Иж”. Жило нас в квартире четверо: родители, мать отца и я. А в коммуналке, куда я заходил как к себе домой, поскольку дверь запиралась только на ночь, был длинный коридор, упирающийся в две двери: в туалет и в ванную.

По левую сторону коридора было три двери. За одной жил мой одноклассник и однокашник Вовка Герасимов, за другой — Вовка Черников. Тоже мой приятель, на год старше меня. Третья дверь в самом конце коридора вела на огромную общую кухню.

По правой стороне коридора было две двери. За одной проживала одинокая дама, еще не старая, красивая до невероятия и ходившая в шелках. Была она, кажется, из “бывших”. Или, скорее, из детей тех, кто не успел свалить после революции в Париж.

Вторая дверь, в конце коридора, вела в квартиру Вовки Полякова, тоже старше меня на год или два. Вроде бы у него была сестра, но девчонки меня в то время не интересовали.

Таким образом, в коммуналке проживали сразу три Вовки. Я и они — вот вам и дворовая хоккейная команда».

Дети в коммунальных коридорах чувствовали себя вольготно: «К этим трем Вовкам я приходил, как к себе домой. Я был свой. И тотчас подключался к их коридорным играм. Шумели мы нещадно. А когда попадали мя-

чом в детскую ванну, и она еще сваливалась со стены на пол, раздавался такой грохот, словно кто-то над головой колотил ломом по листу оцинкованного железа. Не знаю, как остальные, а мы балдели от таких звуков и хохотали до упаду.

Конечно, коридорные баталии были лишь в непогодь. А так мы целыми днями пропадали во дворе, изредка забегая домой, чтобы перехватить кусок хлеба, намазанный вареньем или посыпанный сахарным песком, и тотчас умчаться обратно. Нам всегда было некогда. И я не помню, чтобы эти трое Вовок когда-либо ругались между собой, чего-то не поделив».

\* \* \*

А вот воспоминания об одесском коммунальном коридоре 1970-х: «В одной из комнат обитали мать с дочерью на выданье, в другой — украинская семейная пара среднего возраста. Жена, Валя, была маленько туга на ухо:

— Сэргожя! Сэргожя! — каждый раз, зовя мужа на обед, орала она на всю квартиру.

— Та шо, Сэргожя, Сэргожя! Чую я! — бурчал он, продвигаясь по темному коридору по направлению к их комнате.

Сэргожя любил поддаться, и, когда кто-то из наших вскользь упоминал, что “сегодня Сережа сильно выпивший”, я старалась в коридор одна не выходить — как все дети очень боялась пьяных: мне казалось, они очень опасны.

Мой папа несколько раз вставлял лампочку, чтобы злополучный коридор хоть как-то освещался (через него пролегал путь к нашей кухоньке):

— Валендра (Валя) несется с кастрюлей горячего борща, она ребенка может инвалидом сделать! — говорил он маме, имея в виду, что кастрюля имеет шанс вылиться на меня.

— Ходи подальше от дверей, — предупреждал он меня.

Но лампочки хватало на день... И опять я осторожно “кралась” по коридору, держась за шкафы с одной стороны, чтобы не оступиться, высчитывая несколько ступенек, ведущих к кухне, и стараясь держаться подальше от внезапно распахивающихся дверей соседей».

Было в том коридоре и некое замысловатое ответвление, в котором, увы, тоже нельзя было почувствовать себя в полнейшей безопасности: «В маленьком коридорчике, куда выходили двери из нашей комнаты и из жилища нашего конкурента, стоял папин письменный стол, за которым он по ночам делал уроки, обучаясь на вечернем факультете института, и Витькин огромный картонный ящик (попрошу заметить, он сыграет свою дальнейшую роль в истории нашей семьи). Двери наших комнат так неудачно открывались по отношению друг к другу, что была велика вероятность получить в лоб Витькиной дверью. Учитывая, что все семейство не отличалось спокойствием, двери распахивались ожесточенно.

— Витя, ты бы хоть зарубку поставил, — попросила мама, однажды выходя из комнаты, неся на руках грудного брата и чудом успевшую отскочить, чтобы не быть ударенной вышеупомянутой дверью, — ты же мне ребенка покалечишь.

— Я тебе зарубку на голове поставлю, — не полез за словом в карман бывший уголовник».

А вот и интрига — картонный ящик Витьки-уголовника: «Все бы, может, ничего, но близился выезд одной из семей и Витек становился все более свирепым. Уж очень ему хотелось завладеть еще одной комнатой.

В один прекрасный летний день, явившись домой после прогулки, мы с мамой увидели Полину Николаевну, торопящуюся к нам:

— Вашу бабушку в больницу отвезли! Ее Витька избил!

Не буду описывать, что мы испытали, когда забрали бабушку с синяками и кровоподтеками на лице, с выбитым зубом: она возвращалась с пустым бидончиком из магазина — он ее этим бидончиком в темном коридоре и поколотил. Был товарищеский суд. Все вернулось на круги своя.

И когда бабушка, совершенно случайно познакомившись возле Оперного театра с женщиной из маленького зеленого городка на Западе Украины, о котором мы и слухом не слыхивали, узнала, что дама ищет обмен в Одессе, она заинтересовалась. Скажу только, что после продолжительных раздумий (как же можно оставить красавицу Одессу?) наша семья поменяла то, о

чем сказано выше, на отдельную трехкомнатную квартиру с ванной и туалетом. А также горячей водой.

Вы спросите: а при чем тут картонная коробка? А при том, оказывается, что Витька (как он мотивировал) побил бабушку за обнаруженные за коробкой куски задохшей еды, якобы бросаемой нами ради подлости. Я, тот еще едок, когда меня кормили “ложку за маму, ложку за папу”, набирала полный рот еды и выплевывала все это за Витькину коробку. Желая побыстрее избавиться от ненавистных макарон с мясом и менее всего ожидая совершить подлость».

Увы, новые коммуналки, расставаясь со старой жестокостью, приобретали другую, невозможную раньше, но прекрасно проявлявшую себя в эпоху «развитого социализма».

Вплотную к коридору примыкала антресоль — еще одна довольно экзотическая часть советской коммуналки. Один из современников писал: «Антресоль представляла собой невысокое полутемное помещение, расположенное над туалетом, бывшей ванной комнатой (кладовкой одной из квартир) и частью коридора. Попадали туда из кухни по узкой деревянной лесенке с перилами. Окно антресоли выходило на черный ход, туда же выходило и окошко туалета. Помню, когда в кухне была большая плита для готовки, отапливаемая дровами или древесным углем, но ее давно не топили, а использовали как стол для примусов. Потом ее снесли, и в кухне стало просторней».

Впрочем, антресоль встречалась не всегда.

---

## *Что и как? Мебель и интерьер*

В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» фигурировал московский Музей мебели. Любая коммунальная квартира была способна дать большую фору этому музею. Если не по количеству экспонатов, то уж точно по их непредсказуемости.

Вот описание комнаты поэтессы Марины Цветаевой, оставленное ее современницей Ниной Гордон: «Помню, как я пришла в начале зимы 41-го года к Марине вечером домой на Покровский бульвар. Большой домина, двор-колодец. Жила она то ли на шестом, то ли на седьмом этаже. Небольшая двух- или трехкомнатная квартира у Марины Ивановны вместе с Муром комнатка метров двенадцать-тринадцать. Я эту комнату помню отлично: одно окно, вдоль окна вплотную простой продолговатый деревянный стол. Рядом с ним впритык кровать Марины, вернее, не кровать, а топчан с матрацем, или же два составленные рядом кофра, на них — матрац, а сверху плед. Во всяком случае, жесткое и неудобное ложе. Я сидела на нем и чувствовала, как жестко. Комната неприбранная, масса наброшенных вещей: через всю комнату и над столом — веревки с висящими на них тряпками из мохнатых полотенец и просто полотенца. На столе в беспорядке еда и посуда — чистая и грязная, книги, карандаши, бумага — как бывает на столах, за которыми и едят и работают. Под потолком — тусклая, желтоватая, неудобная лампочка без абажура. С другой стороны стола кровать Мура. Один или

два стула, чемоданы. Что-то шкафа я не припомню, может быть, был в стене, но помню хорошо, что на стене, около топчана Марины — под простыней — платья и пальто; также и на другой стене около кровати Мура».

Справедливости ради заметим, что Марина Ивановна никогда особенно не отличалась повышенной способностью создавать уют. Но здесь она была не одинока. Далеко не у всех жителей коммуналок хватало средств на собственную мебель, а продуманные интерьеры были и вовсе фантастикой. Первая жена писателя Булгакова Татьяна Николаевна, урожденная Лаппа, описывала процесс приобретения обстановки для знаменитой комнатухи на Большой Садовой:

«В комнате этой была уже мебель — два шкафчика, письменный стол ореховый, диван, большое зеркало, походная кровать складная, два шкафчика, кресло дырявое... Была даже кое-какая посуда — супник белый. А ели мы сначала на белом кухонном шкафчике. Потом однажды я шла по Москве и слышу: “Тасенька, здравствуй!” Это была жена саратовского казначея. Она позвала меня к себе: “Пойдем — у меня же твоя родительская мебель”. Оказывается, она вывезла из Саратова мебель, в том числе стол родителей. Стол был ореховый, овальный, на гнутых ножках. Мы пошли с Михаилом, ему стол очень понравился, и мы его взяли и взяли еще наше собрание сочинений Данилевского в хороших переплетах... Стол был бабушки со стороны отца, а ей достался от кого-то из предков... Потом мы купили длинную книжную полку — боковинами ее были два сфинкса — и повесили ее над письменным столом.

Как-то один еврей привез какому-то из пигитских рабочих мебель. А того то ли дома не было, то ли он не взял — постучал в нашу дверь: “Не нужна мебель?” Меня тогда не было, уезжала, наверно, к сестре. Булгаков посмотрел, мебель ему понравилась. И дешево продавали, а он как раз получил тогда за что-то деньги. Это была будуарная мебель во французском стиле — шелковая светло-зеленая обивка в мелкий красный цветочек. Диванчик, кресло, два мягких стула, туалетный столик с бахромой... Два мягких пуфа. Для нашей комнаты эта мебель совсем не подходила — она была слишком миниатюрной для довольно большой комнаты (25 ква-



дратных метров или больше). Но Михаил все хотел, чтоб в комнате было уютно».

А случалась и другая крайность — когда будущее коммунальное семейство въезжало в уже меблированное помещение. Чаще всего так выходило, если старые хозяева бежали за границу буквально с одним чемоданчиком. Писательница Лидия Либединская делилась своими детскими воспоминаниями: «Высокие (почти пять метров) потолки, темно-красные обои, наборный паркет и два узких длинных окна, выходявших в тихий Дегтярный переулок. Больше всего меня поразил камин, в котором отец, ожидая нас, уже развел огонь. Поленья, сложенные домиком, весело потрескивали, распространяя тепло и живой прыгающий свет, — тени бежали по стенам и немногочисленной и совсем незнакомой мне мебели. Впрочем, ни большой книжный шкаф, ни обеденный стол, ни широкая тахта не привлекли моего внимания. Меня заморозил камин. Сложенный из темно-розового кафеля, он был украшен тончайшей лепниной — позже мне рассказали, что на нем изображена сцена из “Фауста”. Веселая пирушка; и Фауст в шляпе с пером и ниспадающем складками плаще, с пенящимся бокалом в руке, был сказочно красив. Стол, уставленный бутылками, фруктами и другими яствами, — все это было из какой-то другой, неведомой жизни. А под лепной картиной надпись готической вязью: “Кто провел свою жизнь без вина, карт и женщин, тот провел свою жизнь дураком!” Под этим легкомысленным “лозунгом” протекали мои детство и отрочество».

Впрочем, и в этом семействе не отказывались от возможности приобрести что-нибудь этакое и задешево: «А вот и церковь Старого Пимена молчаливо высится из-за белой каменной стены. Впрочем, это бывшая церковь, теперь там каждую субботу продают с аукциона не выкупленные в срок вещи. Продают задешево, и потому в нашей единственной комнате вдруг неожиданно появляется роскошный бархатный стул или медная настольная лампа, дворцовый инкрустированный столик, пара серебряных ложек. Вещи, пришедшие из какой-то неведомой, чужой жизни, они не являются предметами первой необходимости, но бабушка утверждает, что нельзя было “упустить случай” и не приобрести их. К вещам у нас в семье полное равнодушие. Три дня вещь с гордо-

стью показывают друзьям и соседям, выясняют ее происхождение, а потом начисто забывают о ней. На инкрустированный столик водружалась керосинка “Грец”, на бархатном стуле целыми днями безмятежно спал кот-кастрат Планчик, серебряные ложки темнели и мирно доживали свой век среди нержавеющей собратьев».

\* \* \*

Часто было вообще непонятно — чья мебель. Кому именно она принадлежала. Людям? Дому? Или же домовому начальству?

Мариенгоф писал в повести «Циники»:

«Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Ольге.

Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с “буржуазными предрассудками”, запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья.

С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор.

Я сказал:

— Хорошо, не буду оспаривать: письменный стол — это предмет роскоши. В конце концов, “Критику чистого разума” можно написать и на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать?

— Куда вы переезжаете?

— К жене.

— У нее есть кровать?

— Есть.

— Вот и спите с ней на одной кровати.

— Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею. И вообще я предпочел бы спать на разных.

— Вы как женились — по любви или в комиссариате расписались?

— В комиссариате расписались.

— В таком случае, гражданин, по законам революции — значит, обязаны спать на одной».

\* \* \*

Занятная история была описана Виктором Шкловским в 1933 году:

«Мой друг инженер так моложав, что не выглядит даже бритым.

В комнате, где он живет, кроме него и жены, находится еще четверть кариатиды, которая когда-то поддерживала потолок зала.

Жена у него очеркистка, хорошая журналистка. Оба они могут засвидетельствовать истину рассказа. У жены за границей много лет жила мама. Эти мамы, живущие за границей, как-то романтичны.

Мама в Лондоне жила еще до революции и там осталась. Вышла замуж, овдовела.

Сперва посылала посылки, потом письма только.

Потом она стала жаловаться.

Дочка посоветовалась с мужем и написала:

“Мама, приезжайте”.

Лондон недалеко: мама скоро приехала.

Она узнала кариатиду, потому что жили в ее квартире.

Но не плакала и говорила:

— Вот и хорошо. Я всегда говорила покойному мужу, что у нас слишком большая квартира, только покажите, где моя комната?

Она привезла подарки: войлочный маленький валик на пружинке под носик кофейника, чтобы кофе не капал на скатерть, прибор, состоящий из рамки с туго натянутыми струнками, служащий для разрезания вареных яиц, лавандовую соль для ванны и еще какую-то мелочь».

\* \* \*

Даже если кто-то и пытался выстроить в своем пространстве нечто, похожее на стиль, то выходило это, в лучшем случае, курьезно. В этом отношении довольно показательной была комната поэта Константина Липскерова. Он, побывав в Средней Азии, вывез оттуда множество предметов средневосточной древности, разложил их по полочкам, и к нему зачастили приятели — будто в какую-то кунсткамеру. Но уюта все эти кувшины и пиалы, разумеется, не привнесли.

Кстати, в этой невозможности — принципиальной невозможности — создать какой-либо уют была даже своя какая-то романтика. Вечное сидение на чемода-

нах окрыляло, не давало окончательно обмещаниться. И, разумеется, позволяло экономить довольно приличные деньги.

Разве в отдельной квартире, обставленной любовно и с душой, по собственному неповторимому вкусу, станешь вместо разбитого стекла лепить картонку? Разумеется, не станешь, сразу побежишь к стекольщику. А здесь — легко. И эти многочисленные временные картонки становились постоянными атрибутами советского коммунального быта.

\* \* \*

А вот меблировка московской семьи Каплунов: «В нашей комнате была голландская печь. Другими сторонами она выходила к Мишке и на кухню. Комнату разделял надвое платяной шкаф. Между ним и дверью, напротив печки, стояла железная полуторная панцирная кровать с никелированными набалдашниками пирамидками и полированными деревянными панелями на спинках. К ним были прикреплены витиеватые, в стиле модерн никелированные штамповки. Кровать эта в свое время перекочевала на дачу, а теперь, после нескольких разграблений (в последний раз унесли входную дверь) я отвинтил замечательные панели и сейчас люблюсь ими в своем кабинете.

Ближе к окну стоял диван с полочкой, там жило семь фарфоровых слоников. Самый большой был вылеплен с большим количеством деталей, остальные — мал мала меньше — без подробностей. Наши слоники были много красивее тех, которые я видел в других домах. Очень жалко, что они куда-то пропали — замечательные были слоники. Там же стояла репродукция картины под стеклом “Иосиф Виссарионович Сталин на позициях под Москвой”. Однажды я от избытка то ли чувств, то ли энергии бился спиной о спинку дивана. Это привело к падению Сталина с позициями углом мне на голову, рядом с макушкой. Крови было мало, но осталась вмятина на всю оставшуюся жизнь.

С другой стороны платяного шкафа находился очень красивый буфет, который, как оказалось, был изначально книжным шкафом у маминой мамы, часть ее приданого. Светлого дерева, в переплете верхних ство-

рок вставлены стекла, заклеенные с обратной стороны бумагой с ромбическим рисунком в желто-коричнево-черных тонах. Шкаф переехал на дачу, а теперь стоит в комнате у моей дочки и выполняет свою исконную функцию — хранит книги.

Рядом стояло “приданое” отца, из общежития — секция шкафа темного дерева (вишни?) с отличным зеркалом. Оно было еще и льстивым — уже школьником я обнаружил, почему я в нем кажусь более красивым, чем в других зеркалах. Оно изображало меня загорелым.

Вплотную к окну стоял письменный стол с двумя ящиками под столешницей. Под столом жил Ленин в виде барельефа на чугунной треугольной призме, весом в два утюга. Это тоже подарок сослуживцев отца. Он выполнял функцию просто тяжелой вещи. Не понимаю, почему я не спал на диване — мне стелили раскладушку, которая окончательно занимала все свободное место. Из-за недостатка места и купали меня на кухне в цинковой ванночке. Это было стыдно».

\* \* \*

Голландская печь, раскладушка, никчемный бюст Ленина, слоники, нелепый диван, просто так занимающий место. Какой-то театр абсурда.

Вещи, похоже, жили своей жизнью, совершенно не зависящей от воли одушевленных обитателей квартир. Нельзя даже сказать, чтобы вещи постоянно меняли хозяев — после революции хозяев фактически не стало. Они действительно существовали обособленно — как существует вне зависимости от желания или же нежелания квартирантов подвальная популяция крыс. Иногда жители коммуналок помнили, кто был первоначальным владельцем комода, этажерки или же окованного медью сундука. Но со временем все это стало забываться. Вещи переезжали из квартиры в квартиру, из комнаты в комнату. Но чаще все-таки переезжали жильцы. Их уплотняли, ими уплотнялись, они получали ордера или, наоборот, лишались права на жилплощадь, и тогда в освободившуюся комнату, к освободившимся вещам въезжали новые — условные — хозяева.

Так было, например, когда жилец отсутствовал более чем полтора месяца. Подобная история прекрас-

ным образом описана Ильфом и Петровым в романе «Золотой теленок»:

«Летчик Севрюгов, к несчастью своему проживавший в квартире номер три, вылетел по срочной командировке Осоавиахима за Полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь, коротковолновики наполняли эфир свистом, и польская газета “Курьер Поранны”, близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границы 1772 года. Целый месяц Севрюгов летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире.

Наконец, Севрюгов совершил то, что совсем сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам...

— Пропал наш квартирант, — радостно говорил оставший дворник Никита Пряхин, суша над примусом валеный сапог. — Пропал, миленький. А не летай, не летай! Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

— Долетался, желтоглазый, — бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. — Вот и комната освободилась, площадь!

Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей “Вороньей слободки”. О комнате пропавшего летчика заговорили все: и бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигиенишвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша — торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховойко — в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка, во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд.

— Что ж, — сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня наполнилась жильцами, — раз товарищ исчез, надо делить. Я, например, давно имею право на дополнительную площадь.

— Почему ж мужчине площадь? — возразила коечница Дуня. — Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтоб мужчина вдруг пропал».

Гипербола? Да, разумеется. Но не такая уж и сильная. Фотограф Геннадий Михеев, проживший долгие годы в коммунальной квартире, писал: «В фильме “Покровские ворота” коммуналка несколько романтизирована. Хотя — и это истинная правда — дух коммунального мира передан блестяще. Бурлеск. Суэта, броуновское движение, и все люди, люди, люди... Но все-таки “воронья слободка”, воспетая Ильфом и Петровым, ближе к образу настоящей коммунальной квартиры. Кто жил в коммуналке или до сих пор живет, согласится, что... короче, в отдельной квартире все же несколько лучше. Это я мягко говорю, чтобы никого не обидеть».

Кстати, дом, в котором обитали главные герои культового фильма «Покровские ворота», расположен хотя и на Бульварном кольце, но в его противоположной части — на Гоголевском бульваре. Официальный же адрес — Нащокинский переулок, 10. Этот дом — ровесник Бульварного кольца, он тоже был построен после войны 1812 года, когда Москва отстраивалась после своего знаменитого пожара. В 1884 году дом был перестроен под руководством архитектора В. Н. Загорского, впоследствии прославившего себя строительством здания Московской консерватории.

Из реальных знаменитостей здесь проживали поэт Алексей Плещеев и несколько менее известный врач Максим Кончаловский. Тем не менее никаких особенно интересных событий, происходивших в этом доме, история не знает.

\* \* \*

Положение заключенных было в два раза выгоднее, чем командированных. На их метры заселялись новые жильцы только после трех месяцев пребывания в местах не столь отдаленных.

Разумеется, если была возможность, москвичи пе-

ред отъездом старались рассовать наиболее ценные вещи (не всегда изначально свои) по родным и приятелям — тем, у кого было свободное пространство. В этом плане сильно выручали дачи: особой ценности для новой власти они не представляли — просто в силу своей незначительной материальной ценности, а впихнуть туда можно было достаточно много всего интересного.

Кстати, дачник имел право выехать на свою дачу 15 апреля, а вернуться 30 сентября — именно это время, по мнению новых властей, длился дачный сезон. То есть покинуть свою коммунальную комнату на пять с половиной месяцев — даже на больший срок, чем заключенный. Правда, в строго фиксированный временной период.

А если повнимательнее посмотреть на эти цифры, станет очевидно и значение, которое в то время придавалось даче. Это не столько место для летнего отдыха, сколько сельскохозяйственное угодье. В середине календарной весны, как только отмерзала почва, следовало приступать к подготовительным земледельческим работам. И к концу сентября весь урожай должен быть собран, пора возвращаться домой.

\* \* \*

Вернемся, впрочем, к обстановке коммуналок. Основной раннего коммунального интерьера чаще всего являлись не камин, не кувшины, не диваны, а печка-буржуйка. Ирина Соя-Серко вспоминала: «Квартиры, ранее принадлежавшие владельцам, стали коммунальными — в каждой комнате по семье. Центральное отопление почти нигде не было восстановлено, а потому через комнаты тянулись трубы “буржоек” (небольшие печурки на ножках, которые устанавливали на железном листе). Под трубами на проволочных дужках висели разнокалиберные банки, в которые стекала тягучая темно-коричневая жидкость. Печки немилосердно дымили, но они были пульсом жизни. На них готовили пищу, ими согревались, над ними сушили белье, так как во дворе его могли украсть, на них кипятили воду, так что от пара отклеивались и висели лохмотьями старые обои. У входной двери висели таблички, извещавшие, что Иксу звонить три длинных и два коротких, а Игреку — два длинных и один короткий».



Это был небольшой металлический монстр, созданный еще до революции, но получивший повсеместное распространение именно после 1917 года, когда естественные городские инфраструктуры рухнули в одночасье. Тогда же появилось и название, несущее в себе сразу три смысла — толстобокие формы изделия, его невероятная прожорливость в смысле горючего и пафос победы над старым социальным укладом — дескать, раньше мы служили буржуям и буржуйкам, а теперь «буржуйка» служит нам.

Надо ли говорить, что это колоритное название существовало лишь на территории СССР. В Америке такие печи называли просто «толстобрюшками», в Японии «дарумами» (за схожесть формы с национальной куклой-неваляшкой дарумой), в других странах тоже существовали свои обозначения, весьма далекие от социальных ассоциаций.

Притом главным удобством этой печки была ее мобильность — буржуйка фактически не требовала подведения никаких коммуникаций, ее в любой момент можно было схватить и куда-нибудь с ней убежать. Для страны, по сути, сидящей на чемоданах, свойство более чем ценное.

А про главный недостаток уже было сказано — буржуйка очень быстро нагревалась (что немаловажно), но потом так же быстро остывала. Следом за ней остывала и комната. Приходилось постоянно швырять в печку топливо, а это, как нетрудно догадаться, выходило в копеечку.

Кроме того, если неграмотно использовать печь (а откуда подобная грамотность у бывших пользователей водяного и парового отопления?), то она постоянно коптила. Владислав Ходасевич писал об одном из знакомых: «Центральное отопление не действовало, и Волынский топил буржуйку, немилосердно коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных калошах».

Буржуйка действительно немилосердно коптила. Вот воспоминания одной из девушек: «Буржуйка до чего коптит, косынка совсем черная, черная морда копченая, синие круги под глазами, шуба, брюки придают та-

кой жуткий вид, что страшно подумать или посмотреть в зеркало на образ свой».

«Ржавая нелепица, тыча железным хоботом обо что ни попало, занимает последний свободный косоугольник на полу» — так отзывался о печке-буржуйке Сигизмунд Кржижановский в рассказе «Книжная закладка».

Неудивительно, что эта печка, несмотря на всю свою спасительную миссию, чаще вызывала негативные ассоциации. «Пусто было в гостиной. Не было ни филодендронов, ни фикусов, не было амариллисов и не было часов между окнами. Часы давно обменяли на муку, и на старом облезлом постаменте их стояла безобразная закопченная печка “буржуйка”, — писал Петр Николаевич Краснов в романе «Ненависть».

А вот Владимир Германович Тан-Богораз, роман «Воскресшее племя»:

«Пол был завален соломой и всяческим сором. У черной стены стояла буржуйка, железная печка с трубой, выведенной в брюхо кирпичного борова. В соломе, налево и направо, были проделаны гнезда или норы. В таких норах могли бы гнездиться хорьки или крысы, но эти норы были раз в десять крупнее и шире крысиных проходов.

В буржуйке топились огонь; чайник, закопченный донельзя, сделанный как будто из сажи, грелся на буржуйке. Сквозь неплотно прикрытые дверцы железной буржуйки выскакивали одна за другою проворные искры. Казалось каким-то необъяснимым чудом, отчего в этой гряде прелой соломы и гнилого тряпья не загорается пожар».

А при обысках чекисты обязательно ворошили в буржуйке кочергой — вдруг хозяева сжигали накануне какие-нибудь документы и книги?

\* \* \*

У некоторых избранных счастливиц в квартире была дровяная печь. Самая настоящая, с выюшкой-заслонкой, дымоходом, трубой. Журналист Лев Штерн писал:

«В квартире было печное отопление. Две комнаты, которые занимала наша семья (шесть душ), отапливались одной голландской печью. В одной комнате нахо-

дилась топка, а в другую выходило высокое главное зеркало печи, облицованное белым кафелем и украшенное скульптурной “головкой”, изображающей танцующих амуров. Дверцы топки и поддувала были чугунные, литые, с изображением двуглавого орла и надписью “БЕРНДТЪ” — очевидно, название фирмы-изготовителя. Печь эта была очень “прожорливая”: только забросив два ведра угля (около 30 килограммов), можно было разогреть ее так, чтобы в комнатах два-три дня поддерживалась сносная температура (19—20 градусов). Уголь хранился в подвале, где у каждого был маленький сарайчик.

У нашей печи были почти такие же дверцы топки.

Растопка печи была длительной и нелегкой процедурой (я думаю, что в былые времена этим занимался истопник). Сначала надо было очистить топку от шлака, который остался от предыдущего раза, и вынести его во двор, а на обратном пути принести из подвала топливо — немного дров и ведро угля (второе ведро можно было поднять позже, когда печь разгорится). В топку закладывали уголь, поверх дрова и с самого верха тонкие щепочки и бумагу. Топливо поджигалось и при хорошей тяге (зависело от погоды) часа через два-три в комнатах начинало теплеть. При плохой тяге процесс растягивался, а иногда комната наполнялась дымом. После того как весь уголь прогорит, а печь раскалится, дымоход перекрывали задвижкой, дверцы топки и поддувала плотно закрывали при помощи специального винта, чтобы тепло, как говорили, не выдуло. В то же время нельзя было закрыть печь слишком рано, так как была опасность отравиться угарным газом...

Сразу после войны печь не работала (ее починили году в 1953-м или 1954-м), и я помню “буржуйку” в одной (угловой) комнате и кирпичную плиту в другой. “Буржуйка” — маленькая железная печка — стояла под кафельным зеркалом “голландки”, из которого была вынута одна “кафелина” и вставлена жестяная труба “буржуйки”».

\* \* \*

А еще был великолепный автоматический газовой котел АГВ. Тот же Лев Штерн вспоминал:

«С появлением газа сначала одни соседи, затем дру-

гие установили АГВ. В отличие от газовой плиты, АГВ жильцы приобретали за свой счет. Кроме покупки самого водогрейного котла было необходимо достать, заплатив втридорога — в магазинах не было — трубы и радиаторы и нанять бригаду, которая все это смонтирует. Все вместе выливалось в круглую сумму, однако улучшение бытовых условий в результате было столь значительно, что люди старались из последнего. У нас в квартире соседи скооперировались и установили два АГВ, которые отапливали комнаты всех жильцов. Оба котла стояли в кухне.

Котел АГВ... был цилиндрической формы один-два метра высотой, 40–50 сантиметров в диаметре, в зависимости от мощности. В нижней части находились большая главная и малая запальная горелки, а верхняя часть была заполнена водой. Внутри, вдоль вертикальной оси, проходила вытяжная труба, которая подсоединялась к дымоходу. Сбоку, в верхней части, был штуцер для выхода горячей воды, а в нижней — для возврата холодной, отработанной. К штуцерам присоединялись трубы разводки воды по комнатам, где были установлены радиаторы. Вся система была замкнутой и заполнялась водой из водопровода (врезка с вентилем в “холодную” трубу). Сверху к “горячей” трубе присоединяли расширительный бачок с переливной трубкой, спускавшейся к полу. Периодически систему пополняли водой, держа вентиль открытым до тех пор, пока из переливной трубки не начинала течь вода. Терморегулятор автоматически поддерживал требуемую температуру (устанавливалась ручным движком в пределах 50–90 градусов) и в любом случае не давал воде закипеть. Регулятор периодически включал и выключал подачу газа в главную горелку, которая поджигалась от запальной, горевшей постоянно. Система работала за счет естественной циркуляции подогреваемой воды (конвекция), без насоса, что обеспечивало ее надежность.

Наш лицевой счет включал две большие комнаты (35 квадратных метров каждая), где, как я отметил выше, жили шесть человек, составлявших две родственные семьи: одну комнату занимали мои бабушка с дедушкой, а другую мои родители с детьми, то есть с моей старшей сестрой и мной. Комнаты были сугубо смежные... то есть одна проходная, что создавало много не-

удобств. Пришло время, и сестра вышла замуж, тогда в одной комнате отгородили угол фанерной перегородкой (не до потолка), где и поселились молодожены. Через какое-то время молодая семья стала ждать прибавления, и вопрос жилья еще более обострился. И тогда нашей маме пришла в голову нестандартная идея, как разгородить комнаты так, чтобы получилось несколько небольших, но непроходных помещений. Замечу, что до этого много лет мы сами и наши знакомые не находили решения и комнаты окончательно считались сугубо смежными».

Буржуйка, печь и прочие знатные девайсы ушли в прошлое примерно в середине прошлого столетия, когда центральное отопление сделалось нормой. Другое дело, что жители коммуналок поспешили с ними расставаться. Отопление оказалось делом ненадежным. Разве что счастливые — как выяснилось, вдвойне счастливые обладатели печей стремились разобрать свои громоздкие сооружения и таким образом высвободить для себя приличное количество свободного и очень дефицитного пространства.

Так называемые «беседчики» — специальные люди, выявлявшие настроение в народных массах и докладывавшие об этих настроениях куда надо — отмечали: «В доме № 3/10 по Старопименовскому переулку квартиры с тридцатого по сорок третий номер не отапливаются в течение двух недель. Жильцы написали коллективное письмо на имя заместителя председателя Свердловского райисполкома т. Тютюкина с просьбой восстановить паровое отопление. Не получив необходимой помощи, они обратились с этой же просьбой к начальнику райжилотдела т. Воронову, который также ничего не сделал». Шел январь 1946 года. Старая добрая буржуйка пришлась бы очень кстати.

Впрочем, не только отопление подводило. Случались и другие неисправности: «Избиратели дома № 76 по Ленинградскому шоссе приложили к бюллетеню записку, в которой просят отремонтировать электропроводку и щиты, так как в течение пяти лет по несколько месяцев сидят без света. Выселить мастерские и склады из подвала, шум от которых не дает покоя ни днем, ни ночью».

Любопытно, что у мастерских и складов электричество откуда-то бралось.

В парадном же углу стояла швейная машина. Не обязательная, но весьма распространенная часть советского коммунального интерьера, она пользовалась безмерным уважением своих и безграничной завистью соседей. Еще бы — с помощью машинки можно продержаться в самую суровую годину — и самому обшиваться, и семейство обшивать, и, рискуя попасть в лапы фининспектора, немножечко шить на заказ.

Юрист Нина Сергеевна Покровская писала в дневнике в 1946 году: «Когда мы шли домой, Маруся сказала: “Эх, Нина Сергеевна, люди вы хоть и образованные, а жить вы не можете. Разве умный человек на зарплату живет? У вас есть швейная машинка, я буду доставать ситец, а вы быстренько шейте платья, я буду их на рынке девчатам продавать. Заживем мы с вами во как! А службу эту вашу бросьте!” Я ничего ей на это не сказала».

А вот воспоминания врача Татьяны Терешенковой: «Я уже 3 день в отпуске. Арендовала у Нининой свекрови швейную машинку, и теперь начну шить забавные вещицы. Мануфактуру я накупила, благодаря Сашиним премиальным совершенно безболезненно для ежедневного бюджета».

Так что окончательно с советской службой можно было и не расставаться.

Советские швейные машинки — один из парадоксов коммунальной эпохи. Дело в том, что внешний вид этих изделий абсолютно диссонировал с социалистическим образом жизни, образом мысли и всем прочим. За окном — серпы и молоты, памятники вождям, призывы выполнить все планы раньше времени, brave милиционеры, черные воронки и т. д. А в светлой комнате обычной коммуналки стоит накрытая платком (в те времена было необъяснимое поветрие — все накрывать салфетками, платками, одеялами и полотенцами), абсолютно сказочная вещица. Затейливые орнаменты, позолота, чеканка, цветочки и листики, солнечные диски и мифические животные. Как будто бы эта машинка явилась из другой, дореволюционной безмятежной жизни.

Самое интересное, что ровно так оно и было.

В 1900 году фирма «Зингер» приступила к строительству собственного завода в Московской губернии,

в городе Подольске. По всей России, что ни шаг, встречались объявления:

*«Настоящие швейные машины “Зингер”.  
Специально для домашнего употребления,  
с простой и изящной отделкой  
для всякого рода портняжных  
и белошвейных, а также сапожных, шорных  
и седельных работ;  
для фабрикации корсетов, зонтов, перчаток,  
трикотажей, мешков,  
брезентов, палаток, приводных ремней и проч.»*

Даже в провинциальном, захолустном Суздале был свой зингеровский представитель — некто Иван Жилин. Он торговал машинками на Главной улице, в собственном доме, и у Жилина по каталогу можно было заказать полный ассортимент.

Главное здание фирмы «Зингер», увенчанное огромным глобусом, до сих пор стоит на главной улице тогдашней столицы Российской империи — Невском проспекте. Его выстроили в 1904 году, оно стало сенсацией. Николай Заболоцкий писал:

Там Невский в блеске и тоске,  
в ночи переменявший кожу,  
гудками сонными воспет,  
над баром вывеску тревожил;  
и под свистками Германдады,  
через туман, толпу, бензин,  
над башней рвался шар крылатый  
и имя «Зингер» возносил\*.

Филиал развивался немыслимыми темпами — швейные машинки были вещью ходовой. К 1917 году фабрика насчитывала 37 корпусов. И регулярные жалобы рабочих — а их было около пяти тысяч — на низкие заработки, десятичасовой рабочий день, сверхурочные, отсутствие вентиляции.

Рабочие были морально готовы к революции и сразу же безоговорочно приняли ее. В качестве протеста почему-то перестали выпускать свой основной продукт — взялись за производство сковородок, утюгов и бытовых весов. Но в скором времени стало понятно — даже при

---

\* Н. А. Заболоцкий «Вечерний бар» (1926).

новой, большевистской власти штаны сами по себе из материи не складываются, а пиджаки не шьются. Заявленная была идея освобождения женщины от домашнего быта медленно проваливалась — в силу множества причин, не место здесь анализировать это явление.

И вот в 1923 году на подольском заводе было восстановлено производство зингеровских швейных машин. Разве что вместо слова «Singer» на них теперь писали «ПМЗ» — «Подольский механический завод». И уже через пять лет один немецкий журнал писал про заводчан: «Они совсем от нас отделились — освоили последние детали».

А художественное оформление сменить не удосужились. Не переехали на корпуса швейных машин ни тракторы, ни памятники Ленину, ни ДнепрогЭС. Разве что на логотипе красовалась пятиконечная советская звезда. По сути, вся эта швейная сказка перекочевала из прошлого в будущее, пусть еще не построенное.

Такое ощущение, что вместе с доброй сказкой перешла и злая. Обладатели что старых «Зингеров», что новых «ПМЗ» (внешне они были практически неотличимы друг от друга) совершенно неожиданно попали в группу риска. Дело в том, что по стране поползло множество слухов, связанных с этими девайсами. Кто-то говорил, что машинки с надписью «Singer» — настоящие, а «ПМЗ» — поддельные (в действительности оба варианта были правильными).

Но это еще не беда. Стучалось, жителя простой советской коммуналки убивали ради обладания простой, казалось бы, швейной машинкой — многие верили, что в ранних моделях использовались такие драгоценные материалы, как палладий и платина. Якобы тогда еще не знали о их настоящей ценности и обращались с ними как с обыкновенным чугуном. Но ничего подобного, конечно, не было — истинная стоимость этих металлов стала известна задолго до появления компании «Зингер».

Не менее абсурдным было и предположение, что для некоторых швейных игл используют так называемую «красную ртуть». Но для простого обывателя, уконтропуленного ради обладания столь щедрыми природными дарами, это было слабым утешением.

Швейная машинка была вещью с большой буквы.



Прекрасный подарок, однако не слишком доступный. Геолог Борис Вронский писал в дневнике в 1963 году:

«Завтра день 8 марта — день, в который подчеркивается, что женщина не равноценна мужчине.

Подготовили подарки нашим женщинам — бабе духи “Серебристый ландыш”, нож для чистки и резки яблок и записную книжку АН СССР.

Ляле флакон духов “Кристалл” и тоже записную книжку.

Наташе — набор цветных карандашей, флакон духов и общую тетрадь.

Кроме того, договорились с Бобом о том, что сложимся по 10 руб. для “затравки” на приобретение швейной машинки в кредит».

Да, купить «общую тетрадь» было гораздо проще.

Значительно раньше, в 1927 году, смоленский столяр Константин Измайлов сокрушался: «Мама сегодня купила швейную машинку за 25 рублей у свата... Денег уплатила 13 рублей, остальные через две недели. Машинка будет собственностью мамы».

А вот схожая запись в его же дневнике: «Швейную машинку отдали в ремонт Губареву. Швейную машинку, которую купили за 100 рублей у Сибирцева в мае м-це сего года, сегодня отдавали в ремонт слесарю Губареву, который ее разобрал, всю прочистил и снова собрал и смазал. За работу взял 6 рублей. Теперь уже машинка наша стоит 106 рублей».

Инфляция, ничего не поделаешь.

Разве что в войну, в канун эвакуации, швейная машинка — в первую очередь в силу немалых габаритов — несколько утратила свою привлекательность для обывателя. Портняжный промысел, конечно, далеко не лишний, но ведь все за собой не утащишь, особенно по легендарной Дороге жизни. Художница Елена Мухина, блокадница, рассказывала, как пыталась избавиться от фамильной машинки: «Начала я с того, что потащила в комиссионный швейную машинку. Но сдавать ее на комиссию у меня не было времени, а за наличный расчет мне давали 96 рублей. Я решила, что это слишком дешево. В моих расчетах было продать ее за дешевку рублей за 125, 100, но уж никак не меньше. Я решила пойти на рынок. На улице меня остановила одна очень интеллигентная с виду женщина. Я сказала, что продаю

машинку за 200 рублей. Она пожелала ее осмотреть и пришла ко мне домой. Осмотрев, предложила мне 150 рублей. Я согласилась, так как не хотела упускать первого же подходящего случая и тащить опять куда-то такую тяжесть. Когда она узнала, что я собираюсь уезжать и все распродаю, она стала отбирать себе вещи. Сперва книги, потом посуду, потом тряпки. Потом она расплатилась и сказала, что сейчас придет за машинкой. Вернулась она со своей соседкой. Только к вечеру они ушли от меня. Они накупили у меня разных вещей на 570 рублей. Потом я сходила к Якову Григорьевичу и сказала с ним, что он дает мне 550 рублей с тем, что все, что осталось в моей комнате после моего отъезда, будет принадлежать ему».

Так обыкновенная подольская машинка помогла разжиться ощутимой суммой денег, далеко в этот момент не лишней.

Не все, впрочем, были столь мудры. Другой блокадник, писатель Иван Федорович Кратт, делился наблюдениями: «На самолетах в ноябре эвакуировали не только рабочих заводов, но и их семьи. Аэродром похож на вокзал III класса.

Женщины с узлами, тюками, рев детей. Многие тащат с собой швейные машинки, хотя вес багажа на человека до 20 килограммов. Обычное российское «богатство» — машинка. Потом приходится бросать».

В 2011 году в Подольске был торжественно открыт памятник швейной машинке «Зингер». Казалось бы, в этой истории поставлена внушительная точка. Но нет — слухи о том, что в «Зингерах» используются драгметаллы и притом в больших количествах, ходят до сих пор. Так что владельцам этих антикварных красавиц следует поостеречься.

\* \* \*

В тех же коммунальных комнатах, в которых проживала интеллигенция, существовал еще один предмет, пользующийся всеобщим поклонением. Но если швейная машина чаще приносила деньги в дом, то эта вещь их тратила с невероятной силой.

Фотоаппарат.

Содержать его было непросто. Пленки, экспонометр

тры, проявочные бачки, пинцеты, тазики, кюветы для проявителя и фиксажа, сами проявитель и фиксаж или химические вещества для приготовления оных, раздвижная рамка для печати, красный фонарь, глянцева- тель и фоторезак. Все это требовало постоянных денеж- ных вливаний. Сами же снимки выходили смазанными и нерезкими, белесыми, но с желтыми подтеками по бо- кам. И даже затейливая бахрома, оставленная фотореза- ком после так называемой «художественной обрезки», радовала мало.

К тому же постоянно требовались то свежая (жела- тельно проточная) вода, то темная комната (как прави- ло, фотолюбители претендовали на общий чулан). Су- шиться фотографии обычно вывешивали в кухне, на тех же веревках, что белье и одежду. И даже зацепляли их теми же самыми прищепками.

Надо ли говорить, что многочисленные коммуналь- ные соседи все как один осуждали домашних фото- графов, что, естественно, сказывалось на психологиче- ском климате в квартире. И вряд ли в лучшую сторону.

Но порвать с этим прожорливым и неудобным увле- чением было невозможно в принципе.

Первое время в ходу были громоздкие пластиноч- ные фотоаппараты, по большей части фирмы «Кодак», оставшиеся во владении граждан еще с дореволюци- онных времен. Затем начался плавный переход на пле- ночные, гораздо более компактные дальномерные «Лейки». Увы, они были импортные, немецкие, и доста- вались только тем, кто имел либо много денег, либо воз- можность ездить за границу, но лучше и то и другое.

Так продолжалось до 1934 года, пока бывшие бес- призорные из харьковской колонии Антона Макаренко не совершили под чутким руководством самого Антона Семеновича сначала акт промышленного шпионажа, а потом воспользовались его результатами. А дело обсто- яло так.

В 1932 году на территорию коммуны доставили по- следнюю модель известнейшего и популярнейшего в то время фотоаппарата «Leica II». Этому предшествовал разговор в верхах, описанный Макаренко: «В 1932 году было сказано в коммуне:

— Будем делать лейки!

Это сказал чекист, революционер и рабочий, а не

инженер и не оптик, и не фотоконструктор. И другие чекисты, революционеры и большевики, сказали:

— Пусть коммунары делают лейки!

Коммунары в эти моменты не волновались:

— Лейки? Конечно, будем делать лейки!

Но сотни людей, инженеров, оптиков, конструкторов ответили:

— Лейки? Что вы! Ха-ха...

Вокруг те же вздохи сомнения, те же прищуренные стекла очков:

— Лейки? Мальчики? Линзы с точностью до микрона? Хе-хе!

Но уже пятьсот мальчиков и девочек бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую среду допусков, сферических аберраций и оптических кривых, смеясь, оглянулись на чекистов».

Дело с фотоаппаратом пошло. Вчерашние карманники и форточники полностью разобрали его, тщательно осмотрели, а затем собрали. Руки у них были умелые, а пальцы чуткие. Лишних деталей не осталось. Фотоаппарат свою работоспособность сохранил.

Пока рассматривали его устройство, кому-то пришла в голову идея — изменить механизм установки кассеты с пленкой. У оригинальной «Лейки» она осуществлялась с нижнего торца. Для коммунаров с их специфическим прошлым подобная операция не составляла большого труда. А вот у человека неподготовленного, а тем более пожилого, могли возникнуть проблемы. Решили снабдить новый фотоаппарат откидывающейся задней крышкой. Таким образом весь механизм оказался на виду, установка и изъятие кассеты сделались элементарной задачей.

Первые образцы, как водится, были подарены членам советского правительства. А в 1934 году первый «ФЭД» (что означало «Феликс Эдмундович Дзержинский») был, наконец, запущен в серию. Первая партия — 1800 экземпляров — была распродана молниеносно. Следующая состояла уже из 15 тысяч штук. До начала Великой Отечественной было продано 160 165 аппаратов. Всего же было выпущено более 765 фотокамер разных модификаций. Их производство прекратилось лишь в начале 1990-х, когда Украина отделилась от России, магазины оказались завалены недорогими пласт-

массовыми камерами-автоматами, а на горизонте маячила эпоха цифрового фото.

«ФЭД» и вправду сделался легендой. Известна история о том, как некая советская туристка уронила этот фотоаппарат со смотровой площадки Эйфелевой башни. Французский гид принялся утешать ее — дескать, мадам, все к лучшему, мы вам подарим камеру известного европейского бренда, а может быть, даже американский «Кодак». Мадам, однако, от подарка отказалась, а просто попросила, чтобы кто-нибудь спустился вниз и принес ей оброненный «ФЭД». У которого, как выяснилось, лишь слегка помялся верхний щиток. И якобы французы долго уговаривали продать им чудо-камеру, все повышали цену, а дама из загадочного СССР ответила согласием, только когда ей предложили обменять этого «железного Феликса» на ящик «Шанели № 5».

Конечно, это всего-навсего легенда, и притом явно придуманная мужчиной, — благородные духи, в отличие от коньяка и водки, ящиками не продают. Легенда, однако же, не одинока — рассказывали об альпинистах, которые на спор (конечно же с американцами) сбрасывали свои «ФЭДы» с вершин кавказских гор, и камеры, ясное дело, были после этого как новенькие. Рассказывали и другие небылицы. Все эти истории активно вкручивались увлеченными фотолюбителями на коммунальных кухнях, чтобы хотя бы как-то оправдать свое столь неудобное хобби.

Факт все же был неопровержим — коммунарам Антона Макаренко удалось создать уникальную камеру, которая, несмотря на свои малые габариты и вес, отличается не только высоким качеством съемки, но и фантастической надежностью. Знаменитая песня фронтовых корреспондентов — «С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом» — это на самом деле про него, про «ФЭД». В то время все компактные фотоаппараты называли «Лейками» — как, например, сегодня все копии называют «ксероксами».

А в 1952 году советские фотолюбители разделились на два класса. Первые продолжали держать свои фотоаппараты на полочках и на этажерках, а вторые убирали их в специальные шкафчики. Да и сами камеры у тех, вторых, были другие.

В этот год на Красногорском механическом заводе

был выпущен первый в стране зеркальный фотоаппарат «Зенит». И эта камера требовала к себе совершенно иного, более уважительного отношения.

Он так и назывался — просто «Зенит», без всяких букв и цифр. Это был первый советский фотоаппарат, процесс визирования в котором осуществлялся с помощью пентапризмы. В основу была положена конструкция дальномерной камеры «Зоркий», но имелось и принципиальное отличие. Фотограф смотрел в видоискатель — и перед ним с помощью несложной системы зеркал представало именно то изображение, которое впоследствии получится на фотопленке, а затем и на бумажном отпечатке. Здесь больше не было так называемого параллакса — смещения кадра по вертикали из-за разницы в положении объектива и видоискателя. Резкость он тоже видел как раз так, как она получится на снимке. В момент нажатия на спусковую кнопку зеркало поднималось, открывало чувствительный слой фотопленки — и происходила собственно съемка. Никаких отрезанных лбов, никаких ошибок в ГРИП — границе резко изображаемого пространства. Все выходило именно так, как задумал фотограф.

Кроме всего прочего, это была надежная, увесистая и внушительная штукавина. «Зенит» сразу стал популярен. А в 1957 году одна из камер побывала в космосе — очередное достижение, работающее на силу бренда.

Затем началась череда усовершенствований. Вместо «Зенита-2» был «Зенит-С», который отличался более качественным затвором и синхроконтактом для вспышки.

Начиная с «Зенита-3», большое внимание стали уделять экспорту фотоаппарата. Гордое слово «Зенит» заменилось не менее гордым «Zenit». И хотя среди иностранных покупателей явно преобладали граждане социалистического лагеря, это сделало бренд еще более мощным, еще более легендарным.

Своего рода шагом вперед стал «Зенит-4». Начиная с этой модификации, в фотоаппарат стали встраивать экспонометр. До того приходилось пользоваться внешним. Тогда же был существенно расширен и диапазон выдержек — возможности фотографа заметно увеличились.

«Зенит-5» поразил соотечественников. В нем был

электропривод протяжки пленки. Курок, который приходилось взводить большим пальцем правой руки, казалось, навсегда ушел в прошлое.

Тем не менее он вернулся уже в шестой модели. Она вообще вышла скорее упрощенной, чем технически продвинутой. С одной стороны, это был, конечно, минус. Но с другой — весьма заметный шаг в сторону доступности качественной фотографии как таковой. Да и особенной надежностью электромеханизм не отличался, а курок действовал безотказно.

А потом явилась самая популярная, самая массовая модель — «Зенит-Е». Названием она обязана своему главному разработчику — директору Красногорского завода Николаю Егорову. С этого времени пошла традиция присваивать «Зенитам» буквенные обозначения, руководствуясь именно этим принципом.

Выпускали и «Зенит-ЕС» — фоторужье с прикладом и настоящим оружейным курком. Называлась эта штука «Фотоснайпер». Продавалась в специальном чемодане — вместе с камерой, ружейным блоком и огромным длиннофокусным объективом, в комплект входили бленда, всевозможные держатели, отвертки, ремни, крышки и кронштейны, а также четыре цветных светофильтра — для разных эффектов.

Фотоохота в то время была популярна и пропагандировалась как альтернатива охоте обычной. Все птички оставались живы и здоровы. Пострадать могли лишь их изображения. Поскольку брак в то время гнали в совершенно фантастических масштабах.

На «Зенитах» экспонометр пусть и существовал, но с первых же дней эксплуатации начинал дико врать, а затем и вовсе тихо умирал. Приходилось таскать с собой внешний — коробочку с большим количеством шкал и крутилок. Вес, конечно, не велик, но без него было как-то свободнее, что ли.

При этом сам производитель признавал свою халтуру. Вот цитата из материала, опубликованного в 1966 году в красногорской заводской многотиражке «Советский патриот»: «Большой спрос на фотоаппараты “Зенит-Е”, часто его нет в продаже. Аппарат в целом хороший, но товароведы подсчитали, что около 40 процентов камер поступает с браком. Это слишком много».

Увы, со временем качество не росло. Чем более мас-

совым становилось производство, чем больше становилось в нем всяких усовершенствований, тем чаще все это хозяйство давало сбой. Помимо уже упомянутого мертворожденного экспонометра фотоаппарат обладал массой других недостатков. Его заклинивало, он рвал пленку или же засвечивал ее, вытягивал хвост пленки из катушки (в результате все опять-таки засвечивалось), ошибался в экспозиции и просто банально ломался.



---

*Кто и где?  
Кто проживал в коммуналках*

По большому счету коммуналка — идеальный генератор случайных чисел. В том-то и состоял их ужас — общими стенами и общим бытом связывались самые разные люди. И не имели возможности разойтись по сторонам. Да, иногда в этом калейдоскопе складывались презанятнейшие узоры. Но подобное случалось редко — в соответствии с теорией вероятности. Чаще в одном помещении оказывались люди, совершенно того не желавшие.

Татьяна Окуневская, будущая известная актриса, в детстве проживавшая в огромной коммуналке на Никитском бульваре, вспоминала о своих соседях:

«Один холостяк, интеллигентный человек, какой-то служащий, немолодой, солидный... Рядом с интеллигентом живет рабочий с тремя детьми. Как только этот интеллигент приходит домой, этот рабочий, всегда пьяный, выпускает своих троих детей под его дверь, и начинается светопреставление: этот рабочий хочет выселить интеллигента и занять его комнату.

Есть партийный работник, который кем-то был в революцию, теперь больной, пожилой, злой, на пенсии, жена из деревни. В квартире он высший класс и верховный судья.

Есть еврейская семья, муж и жена. Она очень красивая, тихая, безропотная, у нее никого на свете нет. Он — маленький урод, на кривых ногах, с крохотными глазками, с огромным носом, лысый, рот с кривыми зубами.

Его ненавидят за то, что он издевается над женой, устраивает ей сцены ревности, запирает ее в комнате неделями, бьет, все это слышно и видно, после скандала она выходит в синяках, он даже на кухне при всех начинает ее щипать. Один раз, когда раздались ее стоны, папа вскочил с криком “половой маньяк” и ринулся к двери, все повисли на папе и схватили Бишку, Бишка тоже рвался вместе с папой. Я боюсь спросить у папы, что такое “половой маньяк”, а вскоре в ванной комнате, когда никого не было, этот “половой маньяк” схватил меня за грудь, я дала ему пощечину и папе, конечно, не рассказала, потому что стало бы меньше на одного жильца. Но теперь я этого “полового маньяка” боюсь. Папа правильно всех их опасается. Они уже откуда-то знают, что папа выписан из квартиры, и хитро выспрашивают, где он живет и разошелся ли с мамой».

Соседство подчас складывалось самое неожиданное. Да и формировалось то соседство иной раз самыми абсурдными путями. Писатель Исаак Бабель жил в огромной двухэтажной квартире вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, главой представительства фирмы «Элин», продававшей оптом разное электрооборудование. На первом этаже были передняя, столовая, кухня и общий кабинет. А на втором — спальни.

Дело же обстояло так. Сначала представительство было достаточно большим, насчитывало несколько специалистов, и все они проживали в этой роскошной шестикомнатной квартире. Но в какой-то момент объемы торговли весьма ощутимо уменьшились, а потом и вообще сошли на нет. Всех, кроме Штайнера, отправили обратно в Австрию, его же оставили в качестве технического консультанта по уже проданным агрегатам.

Опасаясь, что к нему поделят кого-нибудь совсем неподходящего, он через свою знакомую, писательницу Лидию Сейфуллину, вышел на Бабеля, который в это время не имел собственного жилья. Решив, что Исаак Эммануилович — совсем не худший вариант, он пригласил его в соседи. Бабель согласился. Рассказывал: «Мы разделили верхние комнаты по две на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. У нас со Штайнером заключено “джентльменское соглашение”, — все расходы на питание и на обслуживание дома — пополам, и никаких женщин в доме».

Напротив дома находился храм Николая Чудотворца в Воробине, а сам переулок назывался Николоворобинским. Бабель прикидывался краеведом, уверял своих гостей, что церковь называется «Никола в Воробьях», так как «была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили, жарили и продавали».

\* \* \*

В те времена возникло целое искусство — искусство подселения. В частности, художник Валентин Кудров, только вернувшийся с фронта Гражданской войны, ходил искать себе квартиру, переодевшись в более respectable костюм своего приятеля, тоже художника Евгения Чарушина: «Чтобы не пугать никого своим солдатским видом, переодеваюсь во все чарушинское — известно, что по одежке встречают, — и хожу по адресам. На 8-й линии попадаю в большую богатую квартиру, где сдается комната с мебелью... Разыгрываю из себя молодого человека из “хорошего дома”. Все идет как нельзя лучше, цена божеская, и я, не раздумывая, соглашаюсь».

Поясню насчет цены. Был небольшой период — разумеется, во время нэпа — когда ответственный квартиро-ръемщик считался как бы владельцем квартиры, и за сданные комнаты получал пусть символическую, но плату. Правда, этот пережиток прошлого довольно быстро отменили.

Впрочем, иногда случалось и такое: «Совершенно неожиданно я узнала, что на Фурштатской (теперь Петра Лаврова) бывшая домовладелица под большим секретом продает за двести рублей две больших комнаты. Мы с мужем отправились туда, познакомились со старушкой-владелицей квартиры и, хотя подобные продажи были совершенно незаконными, пообещали совершить эту сделку».

Черный рынок недвижимости процветал.

\* \* \*

Разумеется, в этой системе существовали и определенные риски. Одним из подобных рисков оказался, среди прочих, поэт Анатолий Мариенгоф. Он писал:

«В Москве я поселился (с гимназическим моим то-

варищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты предков (так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах).

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженных мухами предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера, после такой большевистской операции, заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее брэнной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

— А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделябры пуда по два вытянут?

— Разумеется, вытянут.

— А не знаешь ли ты, какого они века?

— Восемнадцатого, говорила бабушка.

— И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

— Флорентийца.

— Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

— Отвалят.

— Так вот пусть уж до воскресенья постоят, а там и потащим.

— Потащим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о “канделяберах”, сокращая ничтожный остаток брэнной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев».

Принимал участие в этом забавном фестивале и Сергей Есенин: «Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших “канделяберах”, а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергеем; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету».

Так развлекались стихотворцы первых лет советской власти, находившие, по молодости лет, радости даже в коммунальном проживании.

В отличие от бабки в шлепанцах.

И опять Мариенгоф, и снова тема «грамотного подселения»: «К осени стали жить в бахрушинском доме. Пустил нас на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неопишуемой энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.

Риск был немалый.

В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенику неделями кормили собой вшей в ледяных вагонах. И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало.

Комната у нас была большая, хорошая».

Но это еще не конец эпопеи.

«Мы перебрались... в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрова в Георгиевском переулке у Патриарших прудов.

Быстров тоже работал в нашей лавке.

Началось беспечальное житье.

Крохотные комнатухи с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие обои, словно из деревенского ситца, пузатый комод, классики в издании приложения к “Ниве” в цветистых переплетках — какая прелесть!

Будто моя Пенза. Будто есенинская Рязань.

Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам как у Христа за пазухой, раздобыл (ах, шутник!) — горняшку.

Красотке в феврале стукнуло девяносто три года.

— Барышня она, — сообщил нам из осторожности, — предупредить просила.

— Хорошо. Хорошо. Будем, Семен Федорович, к девичьему ее стыду без упрека.

— Вот, вот!

Звали мы барышню нашу “бабушкой-горняшкой”, а она нас: одного — “черным”, другого — “белым”. Семену Федоровичу на нас жаловалась:

— Опять ноне привел белый...

— Да кого привел, бабушка?

— Тьфу! сказать стыдно.

— Должно, знакомую свою, бабушка.

— Тьфу! Тьфу!.. к одинокому мужчине, бессовестная. Хоть бы меня, барышню, постыдилась.

Или:

— Уважь, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал.

— Какую муку, бабушка?

Знал, что разговор идет про пудру.

— Смотреть тошно: муку все на нос сыплет. И пол мне весь мукой испакостил. Метешь! Метешь!

Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимали пуговку звонка: а вдруг да и некому будет открыть двери — лежит наша бабушка-барышня бездыханным телом.

Глядь: нет, шлепает же кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая. И отляжет камешек от сердца до следующего дня.

Как-то здорово нас обчистили: и шубы вынесли, и костюмы, и штиблеты. Нешуточное дело было в те годы выправить себе одежду-обувку.

Лежим в кроватях чернее тучи.  
Вдруг бабушкино кряхтенье на пороге.  
Смотрит она на нас лицом трагическим:  
— А у меня сало-о-оп украли.

А Есенин в голос ей:

— Слышишь, Толька, из сундука приданое бабушкино выкрали.

И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушки, стали кататься мы в смехе, непристойнейшем для таких сугубо злокозненных обстоятельств.

Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартиры, тишина Георгиевского переулка и романтичность нашей домоуправительницы располагали к работе».

Таким был пресловутый нерв этой эпохи.

\* \* \*

«Эпоха коммуналок и “уплотнений”», как назвал ее Владимир Лакшин, делала из людей каких-то монстров. Ильф и Петров описывали совершенно реальную ситуацию:

*«Действующие лица:*

Доктор Бердичевский — герой труда, персональный пенсионер, возраст семьдесят шесть лет.

Его жена — семьдесят пять лет.

Мартинюк — секретарь районного исполкома, бодрый, энергичный, пышущий здоровьем, полный молодого задора человек.

*Место действия* — город Бердянск.

*Время действия* — к сожалению, наши дни.

Пятьдесят один год Бердичевский лечил людей, сорок два года живет он в Бердянске, тридцать лет обитает в одной и той же квартире, на улице Республики. Оберегая покой старика, райисполком неизменно отражал все покушения на его жилплощадь. Но в конце прошлого года у доктора, по постановлению суда, отняли из пяти комнат три, и в эти три с гамом и стуком въехал Мартинюк. Стоит ли говорить, что докторскую мебель, тридцать лет простоявшую на одних и тех же местах, по требованию судебного исполнителя, надо было убрать в двадцать четыре часа. Беспомощные старики развозили мебель по знакомым, втаскивали на чердак, втискивали в ванную комнату. В этой спешке много поломали.

Вселившись, жизнерадостный Мартинюк сразу же запретил работнице доктора проходить через его коридор, ведущий на черную лестницу. Поэтому пришлось хранить топливо у знакомых, на другой улице, и ежедневно носить ведрами. Мартинюк почему-то перегородил общий коридор и только после долгих настояний сделал маленькие, узенькие дверцы, которые, как хороший администратор, всегда держит на запоре. А дверцы-то ведут в уборную. Каждый раз приходится стучать. Иногда подолгу стучать. Иногда вообще не открывают. Однажды гость доктора постучался в заветные дверцы.

— Кто? — раздался голос.

— Гость доктора, которому необходимо в уборную, — последовал точный отчет.

— Не позволяю, — последовала не менее точная резолюция.

Ну можно ли так мучить стариков, отравлять им жизнь, отбирать комнаты, строить какие-то дурацкие дверцы! Разве может такой человек, как Мартинюк, представлять Советскую власть в Бердянске? Ведь это нелепо!

Вы только подумайте! Старик, полвека лечивший людей, заслуженный человек, которым Бердянск, несомненно, гордится, вдруг в конце своей жизненной дороги натывается на запертые мартинюковские дверцы, принужден слушать молодецкие фразы вроде: «в двадцать четыре часа!» и сделаться лишним человеком в своей квартире».

\* \* \*

На что только не шли — лишь бы избежать нежелательного уплотнения. Кто-то на собственные деньги делал ремонт всей квартиры. По закону таковых не уплотняли, но вопрос решал особый суд, который чаще всего принимал ровно противоположное решение. Неудивительно — ведь деньги на ремонт имелись лишь у «нэпманов» и «недобитых буржуев», а вселялись, как правило, «красноармейцы, рабочие, свинарки и пастухи».

Михаил Булгаков в своих зарисовках «Москва 20-х годов» описывал еще одну изящную авантюру: «Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Напи-



сал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Иваныча. Приходили и с портфелями и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две».

Под Николаем Ивановичем подразумевался родной дядя писателя, гинеколог Николай Михайлович Покровский, и вправду проделавший нечто подобное. А еще один булгаковский герой, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», как мы помним, избежал «уплотнения», задействовав влияние и связи своих высокопоставленных пациентов.

Впрочем, для Михаила Афанасьевича «квартирный вопрос» всегда стоял остро.

\* \* \*

Булгаковский Филипп Филиппович Преображенский, по всей видимости, обладал так называемой охранной грамотой — особым документом, подписанным лично кем-нибудь из высших правительственных чиновников. Это был предел мечтаний каждого более или менее известного человека. А неизвестные об этой грамоте, ясное дело, даже не мечтали и, вероятнее всего, просто не знали о существовании подобной льготы.

Вот, например, как выглядела охранная грамота Максимилиана Александровича Кириенко-Волошина:

«Настоящая охранная грамота выдана поэту Максимилиану Волошину в том, что он — Максимилиан Волошин — состоит под особым покровительством Советской власти, органам которой предлагается оказывать ему всяческое содействие.

1) Его дача и художественная мастерская в Коктебеле вместе с библиотекой, художественными произведениями, литературными архивами и вещами не подлежат ни уплотнению, ни реквизициям, ни обыскам без специальной на то санкции Наркомпроса и нахо-

дится под охраной государства. Основания: постановление Президиума Революционного комитета Крыма от 13 мая 1921 года и телеграммы председателя ВЦИК т. Калинина за номерами 4025/к и 1143/к.

Председатель ВЦИК нарком просвещения РСФСР».

Чтобы получить подобный документ, требовались особые заслуги перед новой властью, знакомства (а попросту говоря, блат), народная известность. Не «или», а «и». Не что-нибудь одно, а всё сразу. Одного только блата или же одних заслуг было, ясное дело, недостаточно.

Александрю Блоку приходилось много хуже. Несмотря на поэму «Двенадцать», такой грамоты у Блока не было. От ужаса перед тем, что к нему вселят красноармейца, да еще не одного, у него началась нервная болезнь. Зинаида Гиппиус злорадствовала: «Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых “12”. Ведь это же, по его поэме, 12 апостолов, и впереди них “в венке из роз идет Христос”!»

Болезнь в результате переметнулась на весь организм, и в 1921 году Блок скончался, так и не разменяв пятый десяток.

Та же Гиппиус рассказывала о Ходасевиче и Горьком: «Х. вывернулся. Получил вагон дров и устраивает с Горьким “Дом искусств”».

Вот два писателя (первоклассные, из непримиримых) в приемной комиссариата Нар. просвещения. Комиссар К. — любезен. Обещает: “Мы вам дадим дрова; кладбищенские; мы березы с могил вырубам — хорошие березы”. (А возможно, что и кресты, кстати, рубят. Дерево даже суше, а на что же кресты?)»

А вот рассказ врача-иммунолога Ивана Ивановича Манухина о посещении так называемой комиссии по вселению:

«Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде... “Мы — шестерка!”, а всех 12 сидит.

Самого Кокко (начальник по вселению, национальность таинственна) — нету. “Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слышали. Книги пишете? А в ‘Правде’ не пишете? Верно с буржуями возитесь.

Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой такой рентген, какой такой ученый!».

Пришел оставить за собой рентгеновский кабинет — а получил неприятность.

\* \* \*

Впрочем, причастность к науке, как ни странно, во всяком случае первое время, действительно, могла облегчить участь уплотняемого. Михаил Осоргин писал в романе «Сивцев Вражек»:

«Раньше у Астафьева была здесь квартира; сейчас остались за ним две комнаты, а в третьей жил одинокий рабочий, человек робкий и забытый. Приходил к вечеру, ложился спать, и Астафьев его почти не видел.

Зарились и на вторую комнату Астафьева, где у него оставалась библиотека, но пока комнату он сумел отстоять охранительной бумажкой, по своему преподавательскому званию. Зимой она была холодна и необитаема, летом он рассчитывал в ней работать и принимать, если только будет кого принимать и над чем работать.

Придя, переоделся, набил новую трубку и взял книгу.

Вместе с запахом навоза и нечистот проникал в окно и весенний воздух».

А другому ученому — из того же романа — повезло несколько меньше:

«Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматриваясь в иллюстрации... Надел висевшее тут же, в комнате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобнее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком.

В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотнению. Дуняша жила наверху в комнате, рядом с бывшей Танюшиной; в Танюшиной же комнате поселился Андрей Колчагин, — только дома бывал редко, больше ночевал в Совдепе, где в кабинете своем имел и диван для спанья.

Дуняша иногда помогала Тане в хозяйстве, так, по дружбе; прислужгой она больше не была — была жилищей».

Впрочем, со временем фортуна отвернулась и от первого ученого, товарища Астафьева. Вот очередной фрагмент романа, не требующий пояснений:

«В этот день Завалишин был с утра трезв и мрачен.

С Лубянки домой ушел под вечер, так как день был не рабочий. Дома сидел на постели, сняв новый пиджак, недавно доставшийся ему после “операции”. Анна Климовна в кухне ставила самовар и готовила закусить перед сном.

Не то чтобы Анна Климовна жадничала, а как-то не могла она примириться с тем, что дверь в комнаты Астафьева все еще стояла опечатанной.

— Сколько времени нет его, может, и совсем не вернется, а комнаты зря пропадают. Может, похлопотал бы, их бы и отпечатали. А и так бы снял печати, ничего тебе не будет за это.

— На что тебе его комнаты?

— А что же нам, в одной жить да в кухне? Набросано добра, а девать его некуда.

— Нельзя.

— А почему нельзя-то?

— Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а комнаты его нет. Там его вещи.

— Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем заботливый.

— Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в глаза не видала, а я его знаю.

— Приятель какой.

— А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь покaleчил, а я его уважаю, вроде как за лучшего приятеля.

Помолчав, прибавил:

— Пивали вместе, ну и что же? Голова умнеющая, до всего дошел. А что забрали его — ничего не доказывает. И не тебе, дуре-бабе, о нем рассуждать. Ученый человек — не нам, мужикам, ровня.

— Ученый... Чему тебя научил ученый твой?

— Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, может, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнатах одних ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется. И все книги он прочел, про все знает. И между прочим, со мной, с малограмотным, простым человеком, спирт пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не твоими бабьими мозгами».

«Бабьи мозги» Анны Климовны шевелились, однако же, соразмерно эпохе:

«Думала Анна Климовна завести на кухне кур — как другие делали, но побоялась, что куры будут мешать спать, да и грязь от них, пахнет тоже нехорошо. И зачем? Яиц и так можно раздобыть за свои деньги. Но однажды, узнав, что одна старая ее приятельница, огородница, откормила большую свинью и нажила на этом целое богатство, — решила сделать то же. Не в богатстве дело, а в том, чтобы иметь настоящее хозяйство, а к праздникам заготовить и закоптить жирные окорока. Все это Анна Климовна, родом с юга, отлично умела делать. На откорм свинухи все соседи с удовольствием будут отдавать бросовую ботву, помои, все, чего даже голодный люд не ест; и в настоящем, для сала нужном корме тоже недостатка не встретится. Когда же малый поросенок вырастет в большую и жирную свинуху, — он сам окупит свое воспитание. О помещении хлопотать не придется. Для начала — кухня, придется поросеночка купать и держать в тепле; но после же Денисов, одоббивший хозяйственный план Анны Климовны, обещал отвести одну из малых светлых надворных кладовок в полное распоряжение; все равно пустуют...

Вначале было много страхов: не отощал бы, не заболел бы, не погрызли бы его крысы. Когда подрос, все заботы Анны Климовны обратились на то, чтобы свинуху не украли и чтобы она меньше шевелилась, ела бы без передышки и обкладывалась салом. Во всем этом Анна Климовна имела полный успех. Те из соседей, которым она показала свинуху, только ахали и поздравляли Анну Климовну».

Куры, свиньи и прочая живность в особенности вдохновляли писателей. Вот фрагмент из рассказа Пантелеймона Романова «В темноте»:

«Бывший швейцар, переселившийся из своего полуподвала в пятый этаж, садился вечером пить чай, когда на лестнице послышался отдаленный крик. Через минуту крик повторился, но уже глуше и где-то дальше.

— Кого это там черти душат? Выйди, узнай, — сказала жена, — еще с лестницы сорвется. Перила-то, почесть, все на топливо растаскали.

Швейцар нехотя вышел на лестницу.

— О господи, батюшка, — донеслось откуда-то сверху, — уперся головой во чтой-то, а дальше ходу нет.

— Да куда тебя нелегкая занесла! — послышался другой голос значительно ближе.

— Должно дюже высоко взял. Уперся головой в какой-то стеклянный потолок, а вниз ступить боюсь. Замерли ноги да шабаш. Уж на корячки сел, так пробую.

— Кто там? Чего вас там черти носят? — крикнул швейцар...

— К швейцару, к бывшему.

— Да это ты, что ли, Иван Митрич?

— Я, батюшка, я! К тебе со старухой шел, да вот нечистый попутал, забрел куда-то и сам не пойму. Чуть вниз не чубурахнул. А старуха где-то ниже отбилась.

— Я-то не отбилась. Это тебя нелегкая занесла на самую голубятню.

Швейцар сходил за спичками и осветил лестницу. Заблудшийся стоял на площадке лестницы, в нише, лицом к стене и шарил по ней руками.

— Фу-ты, черт! Вон куда, оказывается, попал. Все правой стороны держался. Лестница-то вся обледенела, как хороший каток... того и гляди.

— Воду носим, — сказал швейцар, — да признаться сказать, и плеснули еще вчерась маленько, а то, что ни день, то какая-нибудь комиссия является, — кого уплотнить, кого выселять. Тем и спасаемся. Нижних уплотнили, а до нас не дошли — так вся комиссия и съехала на собственном инструменте...

Швейцар молчал, а когда жена вышла на минуту в коридор, сказал:

— Наказание с этими бабами... Перебрались сюда, думал, что получше будет, чем в подвале, а она тут как основалась, так и пошла орудовать. Из кресел подушки зачем-то повытащила. Теперь у нее в них куры несутся. Тут у нее и поросенок, тут и стирка, тут и куры, а петуха старого вон между рамами в окно пристроила...

За дверью послышалась какая-то возня и голос хозяйки:

— Ну, иди, домовой, черти тебя носят!

Дверь открылась, и из темноты коридора влетел выпихнутый поросенок, поскользнулся на паркете и остолбенел; остановившись поперек комнаты, хрюкнул.

— Это еще зачем сюда?

— Затем, что у соседей был. Спасибо, хватилась, а то бы свистнули.

— Ты бы еще корову сюда привела, — сказал угрюмо швейцар...

На лестнице опять послышался какой-то крик и странные звуки, похожие на трепыханье птицы в захлопнувшейся клетке.

— Что это там, вот наказанье. Пойди посмотри.

Швейцар вышел, и хозяйка продолжала:

— Вон соседи у нас — какие умные люди, так за чистотой не гонятся. Нарочно даже у себя паркет выломали, чтоб никому не завидно было, два поросенка у них в комнате живут, да дров прямо бревнами со снегом навалили. А окно разбитое так наготове и держат — подушкой заткнуто, — как комиссия идет, они подушку вон и сидят в шубах. Так у них не то чтоб комнату отнимать, а еще их же жалеют: как это вы только живете тут? А они — что ж, говорят, изделаешь, время тяжелое, всем надо терпеть. Вот это головы, значит, работают...

Вдруг на лестнице послышался голос швейцара, который кричал на кого-то:

— Куда ж тебя черти занесли? Не смотрите, а потом орете. Вот просидела бы всю ночь тут, тогда бы знала.

Швейцар вернулся в свою комнату и с досадой хлопнул дверью...

— Старуха какая-то не разобралась в потемках, вместо двери в лифт попала да захлопнулась там».

\* \* \*

А вот еще один художественный, но оттого не менее реалистичный сюжет с вынужденным подселением. Викентий Вересаев, «В тупике»: «Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

— Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят “товарищей”... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

— Объясните мне, пожалуйста, — что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топта-

ние личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

— Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: “Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить”. Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым».

Но не спрятаться было от представителей новой власти и теми порядками, которые они завели:

«Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, — что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

— Ну, как же, — неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, — и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

— Девайся, куда хочешь, — нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: “Очистить квартиру!” Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, — сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

— Пройдешься мимо, — отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек, — и пожалуйста, живите трое в пяти комнатах. Значит, — спальня там, детская, столовая, — на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками, — ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.



— Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, — и вы тоже хотите быть такими же?

— Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! “Погоди, — думаешь, — сломаем вам рога!” Вот и дождались, — сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, — так мы этого не считаем».

Бедная Катя. Для нее все закончилось плохо:

«Из верхнего этажа дома Мириманова, — там было две барских квартиры, — вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, — только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

— Куда ж нам выселяться?

— Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, — он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, — ушел с многочисленною семьею к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Мириманова...

Жена Гавриленки рыдала.

— Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец добирался. Ему грубо отвечали:

— Записали вас, — чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

— Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

— У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

— Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

— Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

— Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

— Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

— Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

— Ну, и идите к нему.

— Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

— Товарищ, куда к нему пройти?

— Что?

— Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

— Ах, господи! Комната № 8...

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями... Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

— Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

— В чем дело?

Катя объяснила.

— Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

— Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

— Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

— В чем же закон?

— В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

— Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

— Что вы сказали?! Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

— Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

— Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

— Особый отдел?... Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

— Вы не отпираетесь, что сказали: “когда же кончится это хамское царство”?

— Не отпираюсь и еще раз повторяю.

— Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этой бумагой отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам!»

Все-таки описанный Булгаковым сюжет с племянницами был, пожалуй, самым гуманным вариантом уплотнения. И, кстати, достаточно распространенным. Ведь люди, приезжавшие в Москву, довольно часто приходились родственниками кому-нибудь из жителей столицы, пусть даже приехавших всего лишь на несколько месяцев раньше.

Сергей Голицын писал:

«Меня переселили в детскую, где и без того стояли ряды кроватей и кроваток моих младших сестер Маши и Кати и детей дяди Владимира и тети Эли Трубецких — Гриши и Вари с их няней Кристиной. На моем месте поселился мой двоюродный брат Бумбук, иначе Владимир, старший из Львовых, корнет кавалергардского полка. Он куда-то уходил на весь день, а на столе лежала его книга — роскошное издание — история самого блестящего гвардейского полка. Я с интересом перелистывал страницы, наполненные портретами храбрых офицеров и цветными картинками, на которых всадники в белых с золотом мундирах, в золотых касках, подняв шашки, скакали на вороных конях. А по утрам я любовался красивым и стройным, породистым юношей: он ухаживал за своими ногтями, мазал волосы чем-то красным и душился. Он уехал, а позднее погиб в рядах Белой армии. В изданной за границей книге “Кавалергарды” я прочел, как его эскадрон где-то на юге выбил красных из одной деревни, он застрелил комиссара и отошел, пеший. А тот оставался живым, приподнялся и, выстрелив Владимиру в спину, убил его наповал и сам тут же был изрублен шашками.

Я вернулся жить в свою с Владимиром спальню, но не надолго. Мое место занял самый младший брат моей матери — дядя Миша — Михаил Сергеевич Лопухин, а я вновь переселился в детскую».

Да, всем членам семейства приходилось все время куда-нибудь переезжать, с кем-то меняться кроватями, как-то перетасовываться. Но родная кровь — она и есть родная кровь. И многие усматривали в этих переменах даже что-то положительное. Жить, по крайней мере, явно становилось веселее.

Тот, кто не подсуетился вовремя, разумеется, оказывался при соседях. При этом в расчет не бралось ничего — ни богатство, ни слава. Совершенно неожиданно — можно сказать, не выходя из собственного дома — в коммунальной квартире вдруг оказалась первейшая знаменитость России, Федор Иванович Шаляпин. Власти исправно поставляли ему квартирантов.

Степан Скиталец вспоминал о визите к Шаляпину: «Как-то ранней весной во время его гастролей зашел к нему в Москве в его прежний особняк. Был дождливый день. Национализированный дом был полон “жильцами”, занявшими все комнаты по ордеру. Самого его я нашел наверху, на площадке лестницы мезонина. Площадка старого московского дома была застеклена и представляла что-то вроде сеней или антресолей. Вместо потолка — чердак. Топилась “буржуйка”, а на кровати лежал Шаляпин в ночной рубашке.

По железной крыше стучал дождь.

Завидя меня, взбравшегося к нему по крутой и узкой деревянной лестнице черного хода, он весело засмеялся и, протягивая мне руку, великолепно продекламировал стихи Беранже:

Его не огорчит, что дождь сквозь  
крышу льется!  
Да как еще смеется!  
Да ну их! — говорит».

Константин Коровин писал:

«Федор Иванович все время пребывал в полном недоумении. Часто ездил в Кремль, к Каменеву, Луначарскому, Демьяну Бедному. И приходя ко мне, всегда начинал речь словами:

— В чем же дело? Я же им говорю: я имею право любить мой дом. В нем же моя семья. А мне говорят: теперь нет собственности — дом ваш принадлежит государству. Да и вы сами тоже. В чем же дело? Значит, я сам себе не принадлежу. Представь, я теперь, когда ем, думаю, что кормлю какого-то постороннего человека. Это что же такое? Что же, они с ума сошли, что ли? Горького спрашиваю, а тот мне говорит: погоди, погоди, народ тебе

все вернет. Какой народ? Крестьяне, полотеры, дворники, извозчики? Какой народ? Кто? Непонятно. Но ведь и я народ.

— Едва ли, — сказал я, — ты помнишь, Горький как-то говорил у меня вечером: кто носит крахмальные воротники и галстуки — не люди. И ты соглашался.

— Ну, это так, не серьезно...

Он помолчал и заговорил вновь:

— Пришли ко мне какие-то неизвестные люди и заняли половину дома. Пол сломали, чтобы топить печку. В чем же дело?.. Если мне не нужны эти портки, — показал он на свои панталоны, — то что же будут делать портные? Если я буду жить в пещере и буду прикрывать себя травой, то что будут делать рабочие? Трезвинский говорит в Всерабисе: «Дайте-ка мне две тысячи рублей в вечер, как получает Шаляпин, я буду петь лучше его»... Вино у меня из подвала украли, выпили и в трактир соседний продали...

— Посмотри, пожалуйста, — Шаляпин показал в окно, — пустые бочки везут в одну сторону, а другие ломовые везут такие же бочки в другую сторону. Смотри: глобус, парты школьные — это школа переезжает. Вообще, все переезжает с одного места на другое. Точно кто-то издевается. Луначарский говорит, что весь город будет покрыт садами. Лекции по воспитанию детей и их гигиене будут читать... А в городе бутылки молока достать нельзя».

В 1922 году Федор Иванович уехал за границу, навсегда.

\* \* \*

И, разумеется, новые власти относились к «бывшим» безо всякого сочувствия. Чем выше возносился человек, чем страшнее было ему падать, тем больше было радости на этот счет. Новая пропаганда в лице Ильфа и Петрова писала в рассказе «Граф Средиземный»:

«Старый граф умирал.

Он лежал на узкой грязной кушетке и, вытянув птичью голову, с отвращением смотрел в окно. За окном дрожала маленькая зеленая веточка, похожая на брошь. Во дворе галдели дети. А на заборе противоположного дома бывший граф Средиземский различал

намалеванный по трафарету утильсырьевой лозунг: “Отправляясь в гости, собирайте кости”. Лозунг этот давно уже был противен Средиземскому, а сейчас даже таил в себе какой-то обидный намек. Бывший граф отвернулся от окна и сердито уставился в потрескавшийся потолок.

До чего ж комната Средиземского не была графской! Не висели здесь портреты екатерининских силачей в муаровых камзолах. Не было и обычных круглых татарских щитов. И мебель была тонконогая, не родовитая. И паркет не был натерт, и ничто в нем не отражалось.

Перед смертью графу следовало бы подумать о своих предках, среди которых были знаменитые воины, государственные умы и даже посланник при дворе испанском. Следовало также подумать и о Боге, потому что граф был человеком верующим и исправно посещал церковь. Но вместо всего этого мысли графа были обращены к вздорным житейским мелочам.

— Я умираю в антисанитарных условиях, — бормотал он сварливо. — До сих пор не могли потолка побелить.

И, как нарочно, снова вспомнилось обиднейшее происшествие. Когда граф еще не был бывшим и когда все бывшее было настоящим, в 1910 году, он купил себе за шестьсот франков место на кладбище в Ницце. Именно там, под электрической зеленью хотел найти вечный покой граф Средиземский. Еще недавно он послал в Ниццу колкое письмо, в котором отказывался от места на кладбище и требовал деньги обратно. Но кладбищенское управление в вежливой форме отказало...

Доходы графа от продажи папирос с лотка были очень невелики, и он сильно надеялся на деньги из Ниццы. Переписка с кладбищенскими властями причинила графу много волнений и разрушительно подействовала на его организм. После гадкого письма, в котором так спокойно трактовались вопросы перевозки графского праха, он совсем ослабел и почти не вставал со своей кушетки. Справедливо не доверяя утешениям районного врача, он готовился к расчету с жизнью. Однако умирать ему не хотелось, как не хотелось мальчику отрываться от игры в мяч для того, чтобы идти делать уроки. У графа на мази было большое склочное дело

против трех вузовцев — Шкарлато, Пружанского и Талмудовского, квартировавших этажом выше».

Граф был кругом виноват. В том, что он родился графом, в том, что когда-то бывал за границей — в Ницце, в частности. В том, что умирал в грязной кровати. Разнорабочие железнодорожных депо, видимо, отходили в мир иной на белоснежных и крахмальных простынях.

А причиной ненависти графа к перечисленным молодым людям было то, что они — безусловно, положительные персонажи — “пропесочили” и “разъяснили” графа в домовой стенгазете. Нацарапали карикатурку и составили стишок:

В нашем доме номер семь  
Комната найдется всем.  
Здесь найдешь в один момент  
Классово чуждый элемент.  
Что вы скажете, узнав,  
Что Средиземский — бывший граф?!

Средиземский испугался. Он засел за опровержение, решив в свою очередь написать его стихами. Но он не мог достигнуть той высоты стихотворной техники, которую обнаружили его враги. К тому же к Шкарлато, Пружанскому и Талмудовскому пришли гости. Там щипали гитару, затягивали песни и боролись с тяжким топотом. Иногда сверху долетали возгласы: “...Энгельс его ругает, но вот Плеханов...” Средиземскому удалась только первая строка: “То, что граф, я не скрывал...” Опровергать в прозе было нечего. Выпад остался без ответа. Дело как-то замялось само по себе. Но обиды Средиземский забыть не мог. Засыпая, он видел, как на темной стене на манер валтасаровских “мене, текел, фарес” зажигаются три фосфорических слова: Шкарлато, Пружанский, Талмудовский».

\* \* \*

Юрий Трифонов писал в романе «Время и место»: «Мирон жил на Солянке, в старом доме, на втором этаже. В том доме, что стоит на взгорке, на завороте Солянки к площади Ногина. Квартира была громадная, с запутанными коридорами, с бесчисленными жильцами, в двух



комнатах ютилась семья Мирона — отец с матерью и младшим братом в одной, Мирон занимал другую. Отец Мирона был адвокат, но какой-то мелкотравчатый, неуспешный, работал в области, мотался по электричкам и вид имел совсем не адвокатский — походил на замороженного жизнью провинциального счетовода, кладовщика, ветеринара, живущего на скудную копейку. И мать была вровень ему: такая же малоросленькая, согбенная, суетливая, с жилистыми руками судомойки и прачки. Они были добрые люди. И когда Антипов приходил к ним, он ощущал эту особую доброту бедных людей, которая во сто крат слаще доброты богатых. Его усаживали за стол, покрытый клеенкой, истертой и перемытой до такой степени, что рисунок исчез, осталась лысая белизна, наливали чаю, давали хлеб, кусочек сыру, ставили на середину стола блюдо с леденцами и расспрашивали Антипова о матери, о сестре очень дотошно и дельно, давали советы, радовались хорошим новостям, огорчались из-за дурных».

\* \* \*

Одним из самых знаменитых жителей московских коммуналок был писатель Михаил Булгаков. Отчасти благодаря тому, что он «вселил» в свое жилье на улице Большой Садовой героев легендарного романа «Мастер и Маргарита». Там же состоялся знаменитый «бал у Сатаны»:

«В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый — прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, третий — хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз...

Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азazelло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела от-

резанную голову человека с выбитыми передними зубами».

События разыгрывались здесь нешуточные: «Барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу.

— Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами...

Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:

— Пей!»

Но истинная жизнь советских коммуналок все равно была гораздо интереснее, чем вымышленные события.

\* \* \*

Михаил Афанасьевич первое время жил в подъезде слева. История вселения в тот дом описана Булгаковым в рассказе «Воспоминание...». Формально он посвящен Ленину, однако же в действительности в нем описывается бедственное положение Михаила Афанасьевича, только что приехавшего в столицу, и роль Крупской в его избавлении от бед:

«Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза — на стульях и один раз — на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, — это покинуть Мо-

скву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал».

Но приятель, встреченный счастливым образом у Брянского (ныне Киевского) вокзала, приютил писателя. Осталось только прописаться.

Правда, прописывать Булгакова никто не собирался. Тогда последний записался на прием к Надежде Крупской:

«В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

— Вы что хотите? — спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

— Нет, — сказала она, — такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

Прошу дать ордер на совместное жительство.

И подписала:

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл».

В результате Михаил Афанасьевич сделался полноценным жителем квартиры 50 дома 10 по улице Большой Садовой. Куда впоследствии привел и свою первую супругу, Татьяну Николаевну.

Булгаков сообщал в письме сестре: «Самый ужасный вопрос в Москве — квартирный. Живу в комнате, остав-

ленной мне по отъезде Андреем Земским. Больш. Садовая, 10, кв. 50. Комната скверная, соседство тоже, оседлым себя не чувствую, устроиться в нее стоило больших хлопот».

Затем он переехал — в подъезд справа, в квартиру напротив. Его новая комната была с видом на старую. Татьяна Николаевна Булгакова писала: «В этой квартире жил миллионер, Артур Манасевич. Он давал деньги домоуправлению на содержание дома — какие-то у них были свои дела... Его окна были как раз напротив наших — и он видел всю нашу жизнь... Когда умер его брат, им надо было кого-то вселять, и он сказал: “Самые тихие люди — Булгаковы”. Комната была, конечно, хуже нашей первой — та была солнечная, а здесь венецианское стекло смотрело прямо в стену мастерской. Ну, он оклеил комнату обоями, говорил, что — телефон и все такое... Мы решили переехать».

Главное — здесь не было той полукриминальной атмосферы, которая была присуща первому жилью. Булгаков описал его в стихах:

На Большой Садовой  
 Стоит дом здоровый.  
 Живет в этом доме наш брат  
 Организованный пролетариат.  
 И я затерялся между пролетариатом,  
 Как какой-нибудь, извините  
   за выражение, атом.  
 Жаль, некоторых удобств нет,  
 Например — испорчен ватерклозет.  
 С умывальником тоже беда:  
 Днем он сухой, а ночью из него течет вода.  
 Питаемся понемножку:  
 Сахарин и картошка.  
 Свет электрический — странной марки:  
 То потухнет, а то опять ни с того ни  
   с сего разгорится ярко.  
 Теперь, впрочем, уже несколько дней  
   горит подряд,  
 И пролетариат очень рад.  
 За левой стеной женский голос выводит  
   «бедная чайка...»,  
 А за правой играют на балалайке\*.

---

\* 1921 год.

В 1930-е годы в одном из полуподвалов в Долгом переулке, рядом с улицей Плющихой, вернувшись из скитаний по Европе, проживал писатель Андрей Белый. Некогда эта квартира была полностью в распоряжении его супруги, Клавдии Николаевны Васильевой, но эпоха нарушила и это прайвеси.

Художник Николай Кузьмин писал:

«Андрей Белый жил в ту пору в полуподвальном этаже, по тогдашним масштабам — даже и не очень тесно и не очень темно, но на беду за углом дома была молочная, где в иные дни “выдавали” творог — продукт по тем временам дефицитный. Очередь за творогом двигалась вплотную мимо окон рабочей комнаты Белого, закрывала свет — в комнате становилось темно.

Белый бежал к окну и кричал в форточку истерически: “Здесь живет писатель! Не мешайте ему работать!” Толпа шарахалась в сторону, и ноги, двигавшиеся мимо окон, исчезали. Но проходило немного времени, и мучения поэта начинались снова: опять вереница ног двигается у самых окон и опять в комнате наступает затмение.

— Я живу под хвостом! — восклицал Белый патетически, придавая этим словам какое-то апокалипсическое значение».

А вот воспоминания о той же комнатке этнографа и фольклориста Нины Ивановны Гаген-Торн:

«Долгий переулоч. Спускаюсь в подвал. Звоню... Кто-то открывает мне дверь.

— Борис Николаевич — к Вам!

И Борис Николаевич суетливо выскакивает:

— Пожалуйста!

Вхожу в комнату. Вижу только окна под потолком и в них — ноги прохожих, идущих по переулочу. Борис Николаевич суетится. Чуть приподнимается с кресел навстречу мне лик Клавдии Николаевны. И — снова садится в угол. Молчаливо: как статуя Будды. Борис Николаевич вертится с “лягушачьей какой-то улыбкой”, которую он описал у Николая Аполлоновича Аблеухова в “Петербурге”. Я начинаю говорить — точно камни в гору тащить на спине!

— Эти годы занимаюсь я сплошь этнографией. Я

пришла рассказать Вам... Надо мне рассказать Вам о шаманах.

Рассказываю...

Танцевали жесты Бориса Николаевича, брызнул в воздух фейерверк его мыслеобразов. Все ласковее становилась улыбка сидевшего Будды».

\* \* \*

По коммуналкам скитался и Осип Эмильевич Мандельштам. Валентин Катаев так писал о нем в повести «Алмазный мой венец»:

«Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжьёю головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение “Нашедший подкову” и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбilo его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарношепелявым голосом с акмеистическими завываниями:

— ...свой благородный груз... — Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк. Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например мне, из Воронежа.

— ...свой благородный груз, — шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки. — С чего начать? — продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев садика перед домом Герцена, шевелящихся за маленьким окном».

А его жена Надежда Мандельштам писала в мемуарах:

«Зиму 23/24 года мы провели в наемной комнате

на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила и мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся, трухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянке. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями — не вишни, а люди...

От стен, что ли, шел мертвящий дух или сами мы потеряли способность радоваться, что я не запомнила никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду».

Впрочем, и сам поэт не был в восторге:

«Хозяин моей временной квартиры — молодой белокурый юрисконсульт — врывается по вечерам к себе домой, схватывает с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на “юнкерсе” то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете... Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово “повидло”.

Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне... Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы».

Кончилось тем, что семья Мандельштам уехала в Киев. И уже оттуда, из прекрасного и теплого далека Осип Эмильевич описывал Москву, вдруг ставшую столь ненавистной:

Каким железным, скобяным товаром  
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы.  
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром  
Из чайных розовых — как серебром плотвы.  
Москва — опять Москва. Я говорю ей: здравствуй!  
    Не обессудь, теперь уж не беда,  
    По старине я уважаю братство  
Союза крепкого и щучьего суда\*.

\* \* \*

В коммунальной комнатухе жил и Николай Асеев. Тот же Катаев писал, скрыв Асеева под псевдонимом «соратник»:

«Мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа, настоящая Лада, почти сказочный персонаж не то из “Снегурочки”, не то из “Садко”.

Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату.

Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела, так что, как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бехштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного, лакированного, с поднятым крылом Пегаса (на котором, несомненно, ездил хозяин-поэт), белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая — поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо только что

---

\* О. Э. Мандельштам «1 Января 1924» (1924, 1937).



принесенная из прачечной, источала свежий запах резеды — аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль — алые розы на черном фоне.

Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза.

Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго».

А вот быт самого Катаева, совместно с Велимиром Хлебниковым — «будетлянином»:

«Мы с будетлянином питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом.

Председатель земного шара не выражал никакого неудовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото».

\* \* \*

Жил в коммуналке, в бывшем доходном доме Стахеева, и Владимир Маяковский. Сообщал свой адрес в поэме «Хорошо!» (1927):

Несется  
жизнь,  
овеивая,  
проста,  
суха.  
Живу  
в домах Стахеева я,  
теперь  
Веэсэнха.

Катаев писал: «Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комната с почерневшим нетопленным камином, шведским

бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой».

Именно здесь Владимир Владимирович сочинил знаменитое стихотворение «Разговор с товарищем Лениным» (1929):

Грудой дел,  
суматохой явлений  
день отошел,  
постепенно стемнев.  
Двое в комнате.  
Я  
и Ленин —  
фотографией  
на белой стене.

В соседней комнате проживала безработная девушка Люся. Поэт предложил ей:

— Товарищ Люся, а почему бы вам не научиться печатать. Это было бы очень удобно.

«Товарищ Люся» согласилась. В коммунальной квартире образовался своего рода офис. И вправду, удобно.

Только в 1926 году Маяковскому дали отдельную квартиру в Гендриковом переулке (переименованном позднее в переулок Маяковского). Но туда же переехали и приятели поэта, Брики.

К счастью, мясницкая комнатка осталась за ним. Там он мог уединяться и относительно спокойно работать — коммуналка в его случае оказалась жильем более комфортным.

Там же Владимир Владимирович и покончил с собой. Пистолет у Маяковского имелся — для чего-то ему выдали оружие в ЧК. Скорее всего, просто по знакомству — реальные опасности ему не угрожали.

Вероника Полонская писала в своих мемуарах:

«Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери.

Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по коридору. Не могла заставить себя войти.

Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгно-

вень: в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди его было крошечное кровавое пятнышко.

Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно:

— Что вы сделали? Что вы сделали?

Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился приподнять голову.

Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые...

Набежал народ. Кто-то звонил, кто-то мне сказал:

— Бегите встречать карету скорой помощи!»

Долгое время дом продолжал существовать в режиме коммуналок. Но постепенно они расселялись. Еще в 1937 году здесь был основан Музей В. В. Владимира Маяковского. Но всерьез о нем заговорили только после реконструкции, которая закончилась в 1989 году. Авторы новой концепции — архитектор Андрей Боков, художник Евгений Амаспюр и музейщик Тарас Поляков — разрушили практически все внутреннее пространство бывшего доходного дома. Оставили только фасад, лестницу и ту самую «комнатенку-лодочку», в которой проживал поэт. Весь остальной объем отвели под некое художественное пространство, оформленное в эстетике ЛЕФа — так называемого «левого фронта», лидером которого был Маяковский. Стулья, торчащие из потолка, какие-то гигантские болты, покрашенные зеленой краской, синие шары, афиши того времени и покосившиеся фонарные столбы должны были погружать посетителя в эпоху двадцатых годов.

Погружаться хотели не все — многие возмущались экспозицией, видели в этом новаторстве кощунство, осквернение. Да что там осквернение? Фактически — разрушение подлинного архитектурного и исторического объекта, пусть и ассоциировавшегося у старых москвичей по большей части с коммунальным бытом.

\* \* \*

А в Харькове, опять же в коммуналке, проживал поэт Велимир Хлебников. Мариенгоф вспоминал:

«Решили его проведать. Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и

тюфяка, в другом углу табурет. На нем обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило.

Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него ботинок.

Он встал нам навстречу и протянул руку с ботинком.

Я, улыбаясь, пожал башмак. Хлебников даже не заметил.

Есенин спросил:

— Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?

Хлебников сконфузился и покраснел ушами – узкими, длинными, похожими на спущенные рога:

— Вот... сам сапоги тачаю... Садитесь...

Сели на кровать.

— Вот...

И обвел большими серыми глазами, чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, пустынный квадрат, оклеенный выцветшими обоями.

— Комната вот... прекрасная... только не люблю вот... мебели много... лишняя она... мешает.

Я подумал, что Хлебников шутит.

А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.

Голова у Хлебникова узкая и длинная, как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым.

— И спать бы вот можно на полу... а табурет нужен за место стола... я на подоконнике... пишу... керосина у меня нет... вот и учусь в темноте... писать... всю ночь сегодня... поэму...

И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися. Невозможно было прочесть ни одного слова.

— Вы что ж, разбираете это?

— Нет... думал вот, строк сто написал... а когда рассвело... вот и...

Глаза стали горькими.

— Поэму жаль... вот... Ну, ничего... я научусь в темноте...

На Хлебникове длинный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками.

Подкладка пальто служит простыней».

Хлебников тоже чувствовал себя в этой эпохе словно дома.

\* \* \*

И, как мы уже писали, пусть и изредка, но все же случались счастливые исключения. Коммуналки, из которых не хотелось уезжать. Своего рода коммунальные Эльдorado. Одно из таких волшебных мест — коммунальную квартиру в центре города Одессы — описывала Мэри Шиф:

«В нашем квартале в центре города размещались в то время два театра, Дом офицеров, ресторан и кинотеатр. Веселый был квартал, но шумный. Там в коммунальной квартире я прожила ровно сорок лет.

В нашей коммуналке разместились три семьи. Две из них, в том числе и мы, жили там постоянно, а в одной из комнат соседи менялись за сорок лет десять раз. Представляете, сколько впечатлений! Жили в этой “нехорошей”, по Булгакову, тридцатиметровой комнате разные жильцы.

Первыми, самыми приятными за все время, соседями были очень интеллигентные люди: заслуженная артистка РСФСР Матильда Василянская с племянником, моим ровесником, который рассказывал, что родители его разведчики, выполняющие секретное задание за рубежом. Через какое-то время в квартире появилась несчастная больная женщина, его мать, отсидевшая длительный срок в ГУЛАГе, там погиб его отец. Оба были слушателями Института красной профессуры в Москве, учениками Бухарина, за что и пострадали. Самым неожиданным было то, что бывшая политзаключенная, с которой я была дружна и тогда, когда они, получив еще одну комнату, переехали этажом выше, оставалась верна идеалам юности.

Одинокая, после скоропостижной смерти сестры и отъезда сына на учебу в Ленинград, бывшая соседка была всегда рада мне, но отчаянно спорила, когда я, в ту пору уже студентка, знающая советскую жизнь лучше ее, указывала на бросающиеся в глаза недостатки, которые она не замечала или не хотела замечать. Рассказывая мне о прошлом, о жизни в лагере она не говорила никогда.

После них в квартиру въехала театральная портниха. Дочь ее, красавица, актриса одного из московских театров, была женой известного диктора радио Николая Александровича. А сын служил в армии адъютантом у генерала. Уже после окончания войны получила мать ужасную весть о его гибели. Боевой офицер застрелился в Вене из-за несчастной любви к молодой генеральше. Вскоре мать уехала к дочери, обменяв свою комнату на комнату в Москве.

Обменялась она с молодой парой москвичей с грудным ребенком. Молодой юрист получил назначение в таможеню Одесского порта, приехал сначала один и через короткое время начал погуливать. Иногда, забыв ключи от входной двери, будил нас звонком, приводя среди ночи даму. Вскоре прибыла и его жена с маленькой дочкой. Жена только окончила географический факультет Московского университета и жила в Москве с родителями в маленькой, но отдельной квартирке с удобствами. В чужом городе, в коммунальной квартире она отважно сражалась с дымящей печкой, коптящим керогазом, на котором приходилось вываривать пеленки, с кричащим ребенком и вечно отсутствующим мужем. Соседи очень жалели ее.

Молодой ловелас, кроме работы, вечерами и в выходные дни, по его словам, солировал в хоре портклуба. Голос у него действительно был хороший. Так долго продолжаться не могло. Вскоре, собрав вещи, жена с ребенком сбежала в Москву, а прежняя соседка вернулась в свою комнату, видимо, это было оговорено. Но в Москве ее ждали дочка и внук, которые нуждались в ней, и был найден другой вариант обмена.

На этот раз в комнате поселилась привлекательная средних лет жиличка, не без сожаления оставившая столицу ради осиротевшей племянницы — девятиклассницы, с которой она вскоре съехалась, сменив две комнаты на смежные, но с отдельной кухней.

Следующий сосед, энергичный старик, бывший во время войны партизаном, избавил нас, наконец, от печного отопления, добившись подключения к теплоцентрали».

Даже ловелас скорее придавал пикантности, нежели отравлял соседям жизнь. Всерьез портил картину разве что старик-сапожник: «Въехал он вместе с женщиной, у

которой была взрослая дочь, похожая на цыганку. Оказалось, что дочь была ей племянницей. Младший брат привез ребенка к ней прямо из роддома. Мать девочки, армянка, там же отказалась от нее и укатила на родину, у отца девочки была семья, и ребенок был не нужен и ему. Растить девочку пришлось бездетной сестре и ее мужу. Муж умер, девочка выросла и вышла замуж, а женщина сошлась с нашим соседом, но вскоре, оставив старика, уехала с детьми в Америку. Как часто бывает, доброе дело не осталось безнаказанным. Старик получил от женщины письмо, в котором та жаловалась, что приемная дочь с зятем насильно отобрали у нее все драгоценности и деньги, была она небедной, заявив, что в Америке капитализм и царят волчьи законы, ее же препроводили в дом престарелых, где она, по слухам, вскоре и умерла.

А сосед наш стал женихом. Неужоженный, неопрятный, он принимал дам в своей неубранной комнате, не убирал он и на кухне. «Дамы» иногда наводили порядок, иногда так и сидели в этом «бедламе», иногда громко закатывали сцены ревности, расспрашивали мою дочь, кто к нему ходит. В расположенном неподалеку Городском саду, где на лавочках по вечерам собирались пенсионеры, преимущественно женского пола, старик пользовался успехом, видимо, из-за густых, почти без проседи, волос и белозубой улыбки. У него сохранились все зубы. Он считал, что это потому, что он никогда их не чистил щеткой с пастой.

Старик почти не болел, а умер, упав прямо на улице. К нему долго не подходили, принимая за пьяного бродягу, потом долго не хоронили. Когда разыскали дочь, она его хоронить не захотела, так как он оставил их с матерью, когда та потеряла ногу в результате несчастного случая. Как решился вопрос, не знаю, потому что все это было уже после того, как мы, получив наконец отдельную квартиру в районе Большого Фонтана, поселились на седьмом этаже в доме с видом на море».

А вот еще один одесский коммунальный дом. Его описывал в своих воспоминаниях Леонид Иосифович Слуцкий:

«В Одессе я впервые увидел, что такое настоящая советская коммунальная квартира. Мы в Алма-Ате тоже тогда жили в коммунальной квартире, но она не шла ни в какое сравнение с одесской. Опять же, наша была

в относительно новом, советской постройки доме. Это была нормальная большая квартира, в которой по всем понятиям должна была проживать одна большая семья. По советским же нормам из нее сделали квартиру для трех семей.

Одесская же квартира в весьма старом многоэтажном доме еще, видимо, дореволюционной постройки была, возможно, и спроектирована как коммунальная. Возможно, в старые времена это был какой-то доходный дом, где все комнаты сдавались разным людям. Но факт остается фактом: никогда в жизни я не видел более необычной планировки. Это был длиннющий коридор, и в него выходили с обеих сторон двери, двери, двери... Не могу, конечно, сказать точно, но, возможно, таких дверей было порядка 20—25. В каждой комнате, естественно, проживала семья. Одной из таких семей была семья моих родственников. Упирался коридор в большую общую кухню, где находились столы или столики всех этих 20—25 соседей. Неудивительно, что, прожив много лет в такой — с позволения сказать — квартире и не имея никаких шансов изменить ситуацию к лучшему, эти одесские родственники были первыми из всей моей родни, кто подал заявление на выезд из Союза, как только эта дверь, ведущая наружу, приоткрылась. Они уехали в Штаты и, естественно, не прогадали.

Хотя мне как-то до сих пор любопытно: неужели какие-то люди до сих пор живут в таких же ужасных условиях? Скорее всего да.

В чем-то похожие коммунальные квартиры я видел только в Ленинграде. Там семья других моих родственников жила тоже в старинном доме за углом от Невского, наискосок от Московского вокзала. Там было то же построение коммунальной квартиры: длинный коридор с множеством выходящих в него дверей и кухней в конце. Но там было намного меньше соседей — может восемь-десять. Поэтому можно считать, что мои ленинградские родственники жили по-царски».

\* \* \*

Собственно, все так называемое «арбатское братство», воспетое Булатом Окуджавой и множеством других поэтов и писателей, было по большей части жителями



коммуналок. Братство раскинулось на территории от нынешнего Нового Арбата и до самой Пречистенки. Один из тамошних жителей, Надир Сафиев, вспоминал: «Здесь, в двух шагах от Арбата и вечно гудящего Садового кольца, каким-то чудом сохранялся прочный, неторопливый, я бы сказал, даже патриархальный уклад жизни. Здесь, в тихих переулках Собачьей Площадки, исстари жил артистический люд, и их кургуазные поклоны, громкие, поставленные голоса никого не смущали. Артист уважал дворника, дворник артиста, и для соседа он был просто соседом. Многие здесь по-прежнему топили печи, вместе получали дрова на Большой Молчановке; знали, кто чем занимается, у кого какие заботы, знали, что здесь, на Собачьей Площадке, в очень давние времена держали собак для царской псовой охоты, а рядом в Кречетниковском переулке жили кречетники; переулки и улицы продолжали называть по старинке, как, например, нашу Композиторскую улицу Дурновским переулком. И дома называли по своим приметам. Старые по старым: “Голландский”, Оперную студию — “Студией Шацкого” или Музфонд — “Домом купца Мазурина”, нашу двадцать пятую поликлинику — Снегиревкой... Новые дома по-новому: “Морфлотовский дом”, “Вавиловский дом”...»

Он же писал, что «арбатская аристократия» покупала еду в гастрономе поблизости, притом предпочитала брать всего по чуть-чуть, граммов по сто — сто пятьдесят, максимум двести — сыру, языковой колбасы, осетрины горячего копчения. И экономно, и вкусно.

Сообщали всем свой адрес так, что местные почтовики все время пребывали в этаким вялотекущем ужасе: «Москва, Собачья площадка», а дальше — улица и дом. Почтовики писали старожилам гневные открытки — дескать, одной улицы достаточно официально, в Москве нет никаких площадок. Бесполезно. «Братство» было непреклонно, и в первую очередь в своих привычках.

\* \* \*

До конца 1990-х годов в коммунальной квартире в Столешниковом переулке жил поэт Алексей Алексеевич Дидуров, автор слов культовой песни «Когда

уйдем со школьного двора...». Коммуналка эта была густонаселенной, страшной. Люди там жили самые разные. Дидуров писал в мемуарах: «Был в квартире жилец вне иерархии. Вообще. Инопланетянин. Ему даже по телефону никто никогда не звонил. Я с ним чай гонял. Домой он приходил только спать, за час до чего и ставил чайник. Утром уходил. Во МХАТ. Там всю жизнь помощником завлита проработал. Пенсионером ходил в театр просто жить. Булгакова когда-то знал! Звался всеми “Юрич” — по отчеству. Вот Юрич говорил часто, похлопывая меня по коленке или вздымая перст с ухоженным ногтем: “Терпите, Алексей! Господь терпел и нам велел. Теперь в России надо либо терпеть, либо чемоданы собирать. Раньше еще выбирали — стрелять, как французы, как вообще европейцы. Из трех вариантов ‘терпеть’ — самый русский, потому что самый трудный. Но другие два — бессмысленны. Так-то, — дружок мой Алеша!” Еще, помню, философствовал тихим, обмелевшим голосом старого курильщика: “Прошлого нет — оно прошло. Будущего нет — не наступило. Есть настоящее. Но оно почти безлюдно — в нем живут, им живут только те, кто способен любить, а таких очень мало. Остальные живут прошлым и будущим. Остальные — это начальники и преступники. Они живут тем, чего нет. То есть — не живут. И потому это самые страшные люди. Алексей, им не жалко ни жизни своей, ни чужой, ни вообще жизни. Они погубили Россию...” Я молча слушал его речь на суде, который он вершил одиноко у края долгой, кончающейся своей жизни. У меня не было права говорить на этом суде. Юрич свое право оплатил. Глеб Юрьевич имел также право. Кстати, до революции в нашей квартире жила семья его жены. Во всей квартире — одна семья...

В одном из ранних рассказов Булгакова сказано: кто жил в коммуналке, тот видел ад.

Про Булгакова Юрич говорил: “У него Воланд людей наказывает, но и жалеет, и прощает. Это дьявол-то! Этих-то людей! Учитесь жить у Булгакова, Алексей!”».

Главным врагом Алексея Алексеевича был отставной милиционер и пьяница Капусткин:

«Они приехали в Москву по лимиту. Он не пошел на завод, на производство — он пошел туда, где сразу дают ключи от собственной комнаты. Он пошел в милицию.

Через полгода его оттуда, из нашего районного отделения выгнали. Начальник отделения мне потом нехотя откроет, за что — за садизм и пьянку. Но жилье князя за Капусткиным, конечно, оставили. Тетя Лида, — жива еще была, — мрачно шутила: “Из грязи в князи...” И понеслось, говорю...

Сначала, женившись (жену в сберкассе, в окошечке нашел), пытался город этот догнать — купил магнитофон, гитару — заходить ко мне стал, просить, в пол, а не в глаза глядя: “Дай записи переписать...” Заметив, что я к телефону общему выбегаю в кимоно (для дзюдо и каратэ) — накидывал для скорости, — Капусткин стал, выходя из комнаты, надевать домашний халат жены, по цвету и фасону похожий на мой. Даже сходил с супругой на пару моих творческих вечеров, где классные актеры московских театров исполняли мои песни и поэмы. Но... скорость сбавил. На столичных достопримечательностях вскоре поставил крест. Засел дома, запил, на магнитофоне крутил только Пугачеву. А потом стал Москве мстить. За что?

Начал с того, что кулаком разбил витрину старинного мехового магазина на Пушкинской. Он с витрины ничего не взял, только обрушил манекен — стройную печальную блондинку в пышной шубе. Получил пятнадцать суток. Вышел — пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку из нашего подъезда. В лифте. Прокусил ей губу, хорошо старухи, соседки по площадке, ее отняли — любимицу детей двора и пенсионеров, которым по магазинам бегала. Еле сослуживцы бывшие из отделения, братья по классу (лимитчики, из деревни), дело замяли, насилие замяли вскоре и поножовщину...

Придумал Капусткин с женой, видать по совету бывших его коллег, способ от тюрьмы спастись — срочно, как только чего-нибудь, решеткой пахнущее, вытворит, ребенка делать. Два раза тюрьмой пахло — первых двоих родили. За избиения жены (а бил лежачую ногами, да не ее одну, а сестру с племянницей рядом валил, по трем ногами топтал — а я отнимал), за пьянку и прогулы засветило ему ЛТП — третьего штапанули.

Но, видать, с властями бодаться устал. Сначала на подъезд спикировал: как, бывало, станет его от выпитого мутить, сразу на лестничную площадку выбегает, вызывает лифт и в него все из нутра выхлестывает. Чтобы

старухи и дети, не в силах на верхние этажи топать, по щиколотку в его содержимом, носы зажав, ездили до дверей. Но поймали его за этими шалостями мужики, отдубасили. Капусткин сконцентрировался на месте жительства. Бабкам в квартире стал убийством угрожать, ветерана, собутыльника, отлупил».

И, наконец, Капусткин обратил внимание на самого Дидурова:

«На меня, “московскую штучку”, переключился. Род занятий моих просек — в общую ванную комнату, что у меня за некапитальной тонкой стенкой, на удлинителе магнитофон дотянет, и — на полную катушку “Белую панаму” или “Айсберг в океане”, или — лично в полный голос — “Мурку”. Прикинул культурный уровень тех, кто звонит мне, — трубку снимет, когда меня нет, и — матом. А то — протянул в комнату к себе самовольно отвод от телефонной нашей линии и давай в разговоры мои телефонные вступать на своем-то языке, или вообще меня от линии отключать во время моей беседы, когда захочет. И все драться провоцировал. Никак понять не мог, что я ненавижу насилие и, кроме того, что если бы он упал у меня как-нибудь не так, его закадычные собратья по классу и бывшей службе упекли бы меня, как я это смекал, с той же скоростью, с какой возвращали его домой из кутузки, когда он им попадался. А в тот злополучный день, вернее, в ту ночь, он, начав с вечера топором и молотком ладить на кухне, напротив моей комнаты какие-то ящики, в час ночи на мой вынесенный будильник и молча ему показанный, поднял топор... Помню, меня рассмешила нелепая в его устах, трагикомичная, провинциально-балаганная фраза: “Так умри же, собака!” Но не попал он по мне только чудом...»

\* \* \*

В такой же поздней, правда, не настолько экстремальной коммуналке жил лирический герой повести Сергея Довлатова «Заповедник»:

«Мы сели в лифт. На каждом этаже мигала лампочка. Таня разглядывала свои босоножки. Между прочим, дорогие босоножки с фирменным знаком “Роша”...»

За ее спиной я видел написанное мелом ругательство. Хула без адреса. Феномен чистого искусства...

Затем мы тихо, чуть ли не украдкой шли по коридору. Я с шуршанием задевал рукавами обои.

— Какой вы огромный, — шепнула Таня.

— А вы, — говорю, — наблюдательная...

Затем мы оказались в неожиданно просторной комнате. Я увидел гипсовую Нефертити, заграничный календарь с девицей в розовом бюстгальтере, плакат трансатлантической аэролинии. На письменном столе атели клубки вязальной шерсти...

Таня достала бутылку кагора, яблоко, халву, покоровившийся влажный сыр».

И дальше: «Прошел год. Я бывал у Тани все чаще. Соседи вежливо меня приветствовали и звали к телефону.

У меня появились здесь личные вещи. Зубная щетка в керамическом стакане, пепельница и домашние туфли».

К коммуналкам 1970-х приспособиться было значительно проще — если там, конечно, не безумствовали Капусткин и его многочисленные подобия.

Для Сергея Донатовича эта коммуналка не была каким-то новым социальным опытом. Как и практически все представители его поколения, он в детстве и юности вкусил коммунального быта сполна. Правда, в несколько улучшенном варианте. Писал в повести «Наши»:

«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками — удручающая хроника коммунального подсознания.

Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.

Жизнелюбивый инженер Гордой Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.

Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.

Техник Харин — бутылки с рюмками.

Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.

Я рисовал пистолеты и сабли...

Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)

Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная

взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала...

Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.

По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева...

Она совсем не высыпалась. Целыми днями мучительно боролась за тишину.

Однажды не выдержала. Повесила отчаянный лозунг на своих дверях:

“Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!”

И вдруг наступила тишина. Это было неожиданно и странно. Тихомиров бродил по коридору в носках. Хватал всех за руки и шипел:

— Тихо! У Довлатовой ночует политрук!

Полковник радовался, что мама обрела наконец личное счастье. Да еще с идейно выдержанным товарищем. Кроме того, политрук внушал опасения. Мог оказаться старше Тихомирова по воинскому званию...

Тишина продолжалась неделю. Затем обман был раскрыт».

Как-то раз там случилось довольно характерное для коммуналок происшествие: «Квартира была скучная, хоть и многолюдная. События происходили крайне редко.

Однажды к полковнику Тихомирову нагрянул дальний родственник — Сучков. Рослый неуклюжий малый из поселка Дулево.

— Дядя, — сказал он уже на пороге, — окажите материальное содействие в качестве трех рублей. Иначе пойду неверной дорогой...

— Один неверный шаг ты уже сделал, — высказался Тихомиров, — ибо просишь денег. А денег у меня нет. Так что не рассчитывай...

Племянник уселся на коммунальный сундук и заплакал. Так он просидел до обеда.

Наконец мать сказала:

— Заходите. Вы, наверное, проголодались?

— Давно, — подтвердил Сучков.

Он поселился у нас. Без конца ел и гулял по Ленинграду. Вечерами пил чай и смотрел телевизор. Он увидел телевизор впервые.

Полковник Тихомиров держался нейтрально. Только перестал здороваться с мамой.

Наконец мать спросила:

— Володя, каковы твои планы?

Сучков вздохнул:

— Мне бы денег раздобыть на учебники... И на дрова... Учиться хочу, — закончил он с интонацией молодого Ломоносова.

И строго добавил:

— А то, боюсь, пойду неверной дорогой.

Мать заняла для него у соседки пятнадцать рублей. Купила Сучкову билет на поезд.

За сорок минут до отъезда Володя попросил чаю.

Он пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке безграничное количество сахара. Так, словно хотел целиком исчерпать неожиданную благосклонность окружающего мира.

— Смотри, не опоздай, — тревожно говорила мама.

Сучков вытирал лицо газетой, неизменно отвечая:

— Что-то к воде потянуло...

И мать не выдержала:

— Так пойд и утопись! — закричала она.

Чужой родственник нахмурился. Укоризненно посмотрел на мать.

Воцарилась тягостная пауза.

— Какие вы мелочные, Нонна Степановна, — упрекнул будущий Ломоносов, путая разом — имя, отчество, факты...

Он встал. Окинул трагическим взглядом колбасу и сахар, расправил плечи и зашагал неверной дорогой...

Так мы и жили».

Так целые столетия жила вся страна.

\* \* \*

Позднесоветские коммуналки смотрелись контрастом. Если первые коммунальные квартиры, приготовленные из конюшен и дворцов, откровенно гармонировали со всем окружающим укладом, то коммунальные квартиры 1970—1980-х, напротив, страшно диссонировали. Впрочем, взгляд со стороны видел и схожести. Фридрих Горенштейн в романе «Чок-чок» описывал впечатления европейской путешественницы

о брежневской Москве: «Россия тоже красивая, — сказала Каролина, — но она, как это сказать... Неубранная... Неубранная квартира. Я была в коммунальной квартире, где живет Вадим, там в коридоре дорогой дубовый паркет, но разбитый, грязный, заплесанный, мокрый. Такая и Россия — неубранная. Много несчастных животных, много собак возле помоек, грязных, несчастных и злых, недоверчивых. Я хотела одну покормить, она мне показала клыки, зарычала. Злые и обиженные собаки мне русских людей напоминают с улицы. Тех, которые на улицах толкаются и ругаются. Ты, Серьожка, опять обижаешься. Вы, русские, очень обидчивые. Других вы ругаете, особенно евреев, а сами очень обидчивые, и вам нельзя говорить правду. Вот Сильва, она хорошая женщина, но очень обидчивая».

Собеседник ее, впрочем, сам жил в коммуналке: «Сергея жил на Сивцевом Вражке, где дешево, удачно снимал маленькую комнатку с туалетом в конце коридора, но зато с индивидуальным телефоном. Снять ее удалось по протекции Алеши у одной старушки, дальней родственницы Алешиной мамы. Старушка постоянно жила за городом на даче, у женатого сына. В комнатке едва помещались кровать, стул, столик и книжная полочка, окно заслоняла кирпичная стена соседнего дома, так что в комнате даже днем было темновато. И все-таки здесь было лучше, чем в муравейнике студенческого общежития, где Сережа жил раньше. Разве мог бы Сережа там так же безмолвно лежать во тьме, рассматривая счастливыми глазами кирпичный экран, по которому скользила бесплотная жизнь?»

\* \* \*

Поздние коммуналки вообще — отдельное явление, заслуживающее своего места под солнцем академических исследований. Харьковчанин Евгений Кудряц, музыкант и хормейстер, писал в мемуарах:

«Самым большим завоеванием социализма можно назвать коммуналки, в которых постоянно бурлила жизнь, а кухня являлась эпицентром общеквартирного броуновского движения. Кстати, там шепотом обсуждались все насущные проблемы общества, соседи были идеологически подкованы и разбирались во всех



вопросах внутренней и внешней политики, хотя споры возникали совсем по другому поводу — из-за уборки помещения или очередности попадания в ванную комнату. Между прочим, тот, кто был лишен радостей коммунального общения на Родине, почувствовал, что это такое, при переезде в Германию, прожив энное количество времени в общежитии и познав все прелести уборок и разборок по их поводу.

Я тоже — дитя коммуналки, правда, у нас было всего пятеро соседей, так что до классического варианта, объединявшего десять семей под одной крышей, мы недотягивали. Однако нам хватало и одного соседа — большого почитателя тяжелого рока, слушавшего это прогрессивное направление музыки постоянно. Но так как стены были тонкими, а звуки громкими, то наша радость не знала границ, в то время как коллекция музыкальных опусов постоянно пополнялась и росла как на дрожжах за счет поступлений из-за бугра от родственников из Австралии. Следует отметить, что электроаппаратура также находилась на уровне мировых стандартов, поэтому я до сих пор не являюсь поклонником хэви-металл. Вообще сосед — очень колоритная личность и заслуживает отдельного рассказа, но сегодня у нас речь о другом.

8 утра. После продолжительного, но безрезультатного пробуждения и утреннего туалета я отправляюсь на кухню, где сидит соседский сынок и завтракает. Кухня у нас маленькая, в ней стоят два холодильника “Днепр” и два стола, электроплита поделена на две части: половина принадлежит нам, а остальное — соседям. Соседский отпрыск завтракает не один — у него на коленях сидит игрушечный волк Вова в джинсах, который с тоской в глазах взирает на то, как хозяин поглощает яичницу. Меню и обряд с выносом тела волка не меняются, поэтому мне понятна его постоянная печаль.

Одна из основных проблем коммуналки — попасть в ванную, так как кроме купания и стирки она одновременно является и лабораторией, где печатаются фотографии, а эта процедура при повальном фотопомешательстве требует много времени. Поэтому каждый раз, оказавшись в ванной, я испытываю неопишемое счастье. Я провел в коммуналке 15 лет, но до сих пор вспоминаю ее незлым, тихим словом. Кстати, я уверен, что у

многих обитателей коммуналок сохранились более теплые воспоминания о соседях и совместно проведенных днях. Что ж, мне искренне жаль, что я не могу ничем похвастаться в этом плане».

\* \* \*

Да, коммунальные квартиры заката эпохи выглядели совершенно иначе. С «первыми ласточками», о которых мы рассказывали в самом начале этой книги, их было не сравнить. Ясно было: коммунальная эпоха в кризисе, жить ей недолго. Но еще в 1970-е годы коммуналок хватало, особенно в центре.

Владимир Юринский, сотрудник жилищно-эксплуатационной конторы в самом начале Тверской улицы, писал о них:

«Квартиры коммунальные, с коридорами, потолки высокие, до четырех метров, с лепными розетками и крюками для люстр, окна широкие, трехстворчатые, с бронзовыми витиеватыми задвижками, двери громадные, двупольные. Все в толстом слое, вернее, в нескольких слоях краски, накопившейся за годы. В квартирах по пять-семь комнат. Дома днем, в основном, одни старые женщины-пенсионерки. Встречали вежливо, знакомились дружелюбно, иные ворчали, что толку от этих обходов никакого не бывает, больше года здесь ни один техник не задерживается.

— В нашем доме до войны Рихард Зорге жил, — сообщила словоохотливая худенькая старушка-общественница. — Только в какой квартире и комнате — никто не знает...

— А я в молодости с Сергеем Есениным встречалась! — похвасталась другая. — Познакомились с ним здесь в подвале, под магазином “Березка”, в двадцатых годах. Там было кафе поэтов. Он меня привел в свою квартиру в переулке Москвина — здесь недалеко — угощал вином, читал стихи, а потом стал рвать на себе рубашку, и я с испугу убежала».

Эти старушки со своими путаными, совершенно недостоверными воспоминаниями были как бы продолжением своих домов, со столь же запутанным прошлым. Им все обещали, обещали новое жилье. А не делали даже ремонт — смета жэков в центре города постоянно

корректировалась в пользу многочисленных знаменитостей. Сделают какому-нибудь народному артисту шикарный ремонт — десять коммуналок вновь остались с совершенно невозможными местами общего пользования.

Дело, однако, пусть медленно, но все же двигалось. Жители перемещались в отдельное жилье.

Юринский писал: «Я видел этот снос старых домов, плачущих московских старушек, выселяемых на окраину, в Бибирево, против их воли, просивших райисполком и Моссовет дать им квартиры в пределах района. Если не на Бульварном кольце, то хотя бы в пределах Садового... Экскаваторы ломали стены домов чугунными гирями на тросах, солдаты стройбатальона грузили скарб последних сорока семей.

Вокруг сносимых домов, оцепленных веревочными ограждениями до середины проезжей части улицы Горького, толпились люди. Художники делали поспешные зарисовки в блокнотах, щелкали фотоаппаратами наши и зарубежные корреспонденты. Выселяемые жильцы, некоторые известные художники, архитекторы, слали письма генсеку Брежневу. Свободные западные радиоголоса передавали обращения писателей-эмигрантов, возмущенных варварским отношением к историческому прошлому Москвы.

Страсти разгорелись еще больше, когда стало известно, что выселяемым людям предоставили в Бибирево дом с неподключенными коммуникациями: в нем не было ни воды, ни света, ни тепла, ни газа, не работали лифты».

Тем не менее дома снесли. Сейчас на этом месте — сквер перед «Макдоналдсом».

\* \* \*

Коммуналки были редкостью, и отношение к ним было именно как к редкости, то есть к чему-то экзотическому. Помню, как в начале 1990-х приятели любили ездить ко мне в гости именно потому, что я жил в коммуналке. Для них это был аттракцион. Которым, кстати, еще надо было уметь пользоваться. А они, разумеется, не умели.

Никто не воспринимал всерьез очень важную ин-

формацию: звонить в дверной звонок нужно два раза. Звонили, разумеется, один — как и привыкли, как делали всю свою жизнь. Соседи, разумеется, бросали все свои дела, бежали открывать. Потом шипели мне сквозь зубы:

— Сколько можно просить: скажи своим гостям, что к тебе два звонка!

Я честно отвечал, что каждый раз им говорю, только они не слушаются. Не обвыкши.

Гости пользовались соседским полотенцем и мылом — и не усматривали в этом никакого криминала. Выходили покурить на кухню. Подолгу занимали общий телефон. Словом, вели себя совсем не так, как было принято в коммунальных квартирах.

Иной раз оставались ночевать. Утром могли уйти, не заперев за собой дверь — автоматически защелкивающегося треугольника у нас не было принципиально, чтобы случайно не уйти из дома без ключей. Соседи просыпались — видели дверь нараспашку. Как-то раз один нетрезвый гость вышел среди ночи в туалет, а путь назад найти не смог. Вошел в комнату к соседке, лег рядом с ней в кровать.

Случалось всякое.

\* \* \*

Особой формой коммуналок были так называемые коммуны. Их по всей стране появлялось бесчисленное множество. Чаще всего объединялись по профессиональному принципу — коммуна художников, коммуна поэтов. Впрочем, попадались и коммуны, образованные просто приятелями. От коммуналки они в первую очередь отличались тем, что там соседство было добровольным. Хотя и эта добровольность была относительной. У коммун были руководящие органы, которые принимали решение — принять того или иного члена или не принять. Остальным приходилось мириться с решением высокопоставленных коммунаров.

Самой, пожалуй, знаменитой коммуной был так называемый ДИСК — «Дом искусств», основанный самим Максимом Горьким и расположившийся в начале Невского проспекта, по правой стороне. Один из коммунаров писал: «Трехэтажная квартира Елисеевых, которую

предоставили “Дому искусств”, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален; была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях; была баня с роскошным предбанником; была буфетная; была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многолюдных писательских сборищ. Были комнатухи для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели».

Здесь проживали многие знаменитости — Александр Грин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко, Ольга Форш, Владислав Ходасевич. Обитателей «Дома искусств» называли — «обдиски».

Ольга Форш посвятила коммуне роман «Сумасшедший корабль»: «Всем, густо вселенным в комнаты, тупики, коридоры, бывшие ванны и уборные, казалось, что дом этот вовсе не дом, а откуда-то возникший и куда-то несущийся корабль... Кроме писателей здесь жили портные, часовых дел мастера».

Атмосфера была колоритная. Михаил Зощенко писал:

«Этот дом на углу Мойки и Невского.

Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера...

Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.

Вот идет А. М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель “Обезьяньей вольной палаты”.

Вот стоит Е. И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.

Он с кем-то разговаривает по-английски.

Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит — кроме себя и противника.

Я здороваюсь с Замятиным.

Обернувшись ко мне, он говорит:

— Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть...

Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату.

У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.

Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского».

Случались, разумеется, конфликты. Горький, например, воспользовавшись своим абсолютным авторитетом, как-то поселил здесь Александра Грина. Ему выделили комнатку на самом непрестижном, первом этаже. Всеволод Рождественский описывал это жилище: «Как сейчас вижу его невзрачную, узкую и темноватую комнатку с единственным окном во двор. Слева от входа стояла обычная железная кровать с подстилкой из какого-то половичка или вытертого до неузнаваемости коврика, покрытая в качестве одеяла сильно изношенной шинелью. У окна ничем не покрытый кухонный стол, довольно обшарпанное кресло, у противоположной стены обычная для тех времен самодельная “буржуйка” — вот, кажется, и вся обстановка этой комнаты с голыми, холодными стенами».

Грина, однако, все это устраивало. И даже графин, которым он пользовался вместо ночного горшка. Когда завхоз сделала Грину замечание, он его обматерил. История дошла до Горького, который строго отчитал своего протеже. Тот, в результате, на всю жизнь обиделся на Горького. Словом, скандал был масштабный.

Надо ли говорить, что в подобных коммунах царилась свобода любви. Журнал «Смена» воспроизводил в 1926 году призыв одного из строителей нового мира: «Половой вопрос просто разрешить в коммунах молодежи. Мы живем с нашими девушками гораздо лучше, чем идеальные братья и сестры. О женитьбе мы не думаем, потому что слишком заняты и к тому же совместная жизнь с нашими девушками ослабляет наши половые желания. Мы не чувствуем половых различий. В коммуне девушка, вступающая в половую связь, не отвлекается от общественной жизни. Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти удовлетворительное решение вопроса о взаимоотношении полов, стройте коммуны рабочей молодежи».

Встречались и совсем микроскопические жилищные объединения. Тем не менее они имели тот же статус и с точки зрения закона, были равны «кораблям». Одна из самых известных образовалась в Москве. Рюрик Ивнев писал:

«В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль

образовать «писательскую коммуну» и выхлопотать для нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской (ныне ул. Горького). В коммуну вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.

Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.

Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин так умел уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника — невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мною «уплотнялся», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру «писательской коммуны». Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен...

Жизнь в «коммуне» началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю, — других напитков он не признавал...

Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное «дополнение» к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовало. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому, проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого «ледяного дома». Есенин заметил мое «упадническое» настроение и как мог утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы «засядем за работу». При этом он так хитро улыбался, что я понимал, насколько он сам не верит тому, о чем говорит. Я делал вид, что

верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное “свободное место” в пятикомнатной квартире — это моя кровать, на остальных же — застрявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя...

Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось. Я вернулся в свой “ледяной дом”, проклиная его и одновременно радуясь, что не порвал с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в “коммуну”, оставил за собой мою прежнюю комнату, то разразился одобрительным хохотом».

Есенин, впрочем, долго еще увлекался коммунальным проживанием. Даже не регистрируя свои объединения как коммуны, он склонялся к совместному существованию с кем-нибудь из собратьев по писательскому цеху. Некто И. И. Старцев, приехав в Москву в 1921 году, побывал на квартире Сергея Александровича. И что же он там обнаружил?

«Есенин с Мариенгофом жили в Богословском переулке. При посещении в этот раз мне бросилась в глаза записка на дверях квартиры. Было написано приблизительно следующее: “Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить”. И тут же были указаны дни и часы для приема друзей и знакомых. Не относя себя ни к одной из перечисленных категорий, я долго стоял в недоумении перед дверьми, не рискуя позвонить. Все же вошел. Есенин действительно в эту пору много работал. Он заканчивал “Пугачева”.

Когда я пытался обратить внимание Есенина на установленный регламент в его жизни, он мне сказал:

— Знаешь, шлятся все. Пропадают рукописи. Так лучше. А тебя, дурного, это не касается.



Усадил меня обедать и начал рассказывать, как они переименовали в свои имена улицы и раскрасили ночью стены Страстного монастыря».

Сам Мариенгоф писал об этом времени:

«Мы сидим возле буржуйки. От нее пышет уютным жаром. Черные железные щеки зарумянились.

— Ишь, потрескивает. Не дрова, а порох! — говорит Есенин. — Кто покупал? Небось Мартышон?

И подсаживается еще ближе к огню:

— Русская кость тепло любит.

На столе, застеленном свежей накрахмаленной скатертью, стоит глиняный кувшин с ветками молодой сосны.

Есенин мнет в пальцах зеленые иглы.

— Это хорошо, когда в комнате пахнет деревцом.

Подходит к ореховой тумбе. На ней еще совсем недавно стояли наши бритвенные приборы и обломок зеркала, прислоненный к флакону тройного одеколona. Теперь на ней: никритинский трельяжик, духи, круглая пудреница с большой пуховкой и синяя фарфоровая тарелочка с золотыми карандашами губной помады.

— Тумбочка-то наша холостяцкая, — говорит он, — каким туалетом стала!

Рассматривает себя со всех сторон в трельяжик и нюхает духи «Персидская сирень» парфюмерного треста «Жиркость». Так в те годы именовалось «ТЭЖэ».

— Приятные...

И душится. Почему-то за ушами.

— У нас в Рязани сирени мно-о-ого!

Потом большой лебязьей пуховкой пудрит все лицо, а не по-дамски — один нос.

— Мы-то с тобой, два дурака, аптекарской ватой после бритья пудрились.

И расчесывает с наслаждением свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи.

— Красота!.. Только в кармане его носить неудобно.

И кладет гребень на прежнее место».

Сергей Александрович ощущал себя в этих условиях, что называется, как рыба в воде. И только сближение с Айседорой Дункан переместило его из подобных проказливых объединений в особняк на Пречистенке.

Некоторое время проектирование именно домов-

коммун было первоочередной задачей для советских архитекторов. Там, как правило, не были предусмотрены кухни — жители будущего должны были, не отвлекаясь от строительства коммунизма, пользоваться столовой. Общая прачечная, иногда детский сад. Минимум жилых квадратных метров и максимум общественных пространств. То, что удалось все же построить, — например, «Дом Наркомфина» в Москве, на Новинском бульваре, — потом долго и по большому счету безуспешно пытались приспособить под обычное жилье. В первую очередь, ясное дело, коммунальное.

---

## *Кто у аппарата? Общий телефон*

Мы уже неоднократно здесь упоминали один из важнейших камней преткновения жильцов коммунальной квартиры — общий телефон. И все же посвятим ему несколько слов отдельно.

Один из полноправных и глубоко уважаемых участников коммунальной жизни — телефонный аппарат. Он был в общем-то похож на тот, который то и дело показывают в фильме «Покровские ворота». Ему обычно отводилось место в коридоре или же в прихожей — кто чем был богат. Более старые модели подвешивались, что заметно сэкономило коммунальное пространство. Модели поновее ставили либо на тумбочку, либо на комод, либо на специальную, в свою очередь, подвесную, полку. Часто к телефону была очередь.

Телефон был снабжен круглым диском — номеронабирателем. Сегодня это — горестный анахронизм, а меньше сотни лет назад подобный телефон считался символом прогресса. Не надо было крутить ручку вроде той, которыми укомплектовывают мясорубки и шарманки, вызывать загадочную «барышню», что-то ей долго объяснять. Естественно, в первую очередь такие телефоны появились в самых высоких кабинетах — совнаркомовских, партийных и т. д. Именно за круглый номеронабиратель их прозвали «вертушками». Слово сохранилось, правда в извращенном виде — сегодня «вертушкой» называют любой аппарат правительственной связи, даже если на нем вообще

нет никакого номеронабирателя, один только российский герб.

Кнопочные же телефоны появились в СССР только в 1980-е годы, а значит, выходят за временные рамки нашего повествования. Поначалу номер состоял из одной буквы и нескольких цифр. При этом буква «З» отсутствовала — чтобы ее не путали с цифрой «3».

Число цифр постоянно росло, буква со временем отпала за ненадобностью. Кстати, произошло это лишь в 1968 году. Долгое время после этого в квартирах красовались буквенные телефоны, но сами буквы не действовали — можно сказать, что служили элементом декора. По столичным квартирам распространили листовки: «В 1968 году все буквы московских телефонов заменяются цифрами». И далее таблица: «так было» и «так стало». Вместо номера «К5 33 36» теперь следовало набирать «95 33 36». Вместо «Е1 33 36» — «61 33 36». Вместо «АВ2 33 36» — «122-33 36». И вместо «АВ5 33 36» — «135 33 36».

На этом таблица заканчивалась. Видимо, телефонные начальники решили, что четырех примеров достаточно для того, чтобы даже последний дурак понял, что номера набираются точно так же, как и набирались, только записываются по-другому. А если он дурак настолько, что не понял, то такому и по телефону говорить не следует.

А к завершению Большой коммунальной эпохи московские и питерские номера сделались семизначными, номера областных центров — пяти-шестизначными, а номера районных центров — четырех-пятизначными.

Телефон был генератором конфликтов — даже в большей степени, чем кухонные принадлежности. Неудивительно, ведь необходимость готовки, стирки и глажения все, за редким малохольным исключением, признавали, а необходимость рассказывать полчаса кряду подружке, как прошло романтическое свидание, многими почему-то ставилась под сомнение.

Кроме того, многие пользовались телефоном сразу же после посещения кухни или уборной, что делало этот девайс не особо приятным на ощупь, а то и на запах.

Однако терпели. Телефон был выходом за пределы коммуналки, к нему относились с придыханием, его берегли. По крайней мере старались беречь.

Осип Мандельштам писал о коммунальном телефоне:

Плачет телефон в квартире —  
Две минуты, три, четыре.  
Замолчал и очень зол:  
Ах, никто не подошел.

— Значит, я совсем не нужен,  
Я обижен, я простужен:  
Телефоны-старички —  
Те поймут мои звонки!"

И дальше, из того же самого стихотворения:

Рассыпаются горохом  
Телефонные звонки,  
Но на кухне слышат плохо  
Утюги и котелки.  
И кастрюли глуховаты —  
Но они не виноваты:  
Виноват открытый кран —  
Он шумит, как барабан.

Часто рядом с телефоном клали городской телефонный справочник. Кстати, когда я в 1990-е жил в коммунальной квартире, у нас рядом с телефонной полочкой висела карта Москвы. Тоже очень удобно. Еще удобнее было, когда я, с разрешения соседей, провел себе вторую линию прямо в комнату. Увы, счастье быстро закончилось — то ли моя тогдашняя супруга что-то там не поделила насчет распорядка мытья кухонного пола, то ли очередные гости совершили что-то омерзительное — в любом случае, провод пришлось отсоединить.

---

\* О. Э. Мандельштам «Примус» (1924–1925).

---

## *Что в кастрюльках? Кухня*

Геометрическим центром советской коммунальной квартиры был коридор с множеством дверей, ведущий в комнаты и, как правило, заканчивающийся кухней. Но логическим центром была та самая кухня, которая, в геометрическом смысле, пребывала в самой дальней части коммуналки.

Феликс Кандель писал в книге «Житие девятой квартиры»:

«После революции к Гребенщикову подселили соседей, уплотнив до бездыхания, оставив бывшему домовладельцу небольшую комнату, где он и затаился с законной супругой Верой Николаевной и со своими детками, чьи имена канули в Лету. Дом ветшал, ничей теперь дом, безликая жилплощадь, переполненная населением; на ремонт не отпускали денег, и оттого каждый подтек на потолке становился подтеком в сердце Гребенщикова, скол на кирпиче — рубцом на теле. В кабинете Гребенщикова поселился дворник Герасим (Степан, Петр, Николай), который так и остался дворником: с той же метлой, но без белого фартука. Герасим получал малые деньги — не разживешься, а потому сожительница его Агафья варила из костей студень, по многу часов подряд, чтобы посытнее да подешевле: вся кухня пропахла их студнем, стены обметало липучим свиным жиром. В комнате для прислуги обитала лифтерша Липа: воротившись с работы, чай гоняла на кухне, из блюда, с кусковым сахаром, захлеб и вразгрыз. Полотер Мышкин, мужчина одино-

кий, тихий и усталый, занял половину перегороженной гостиной: жарил на примусе картошку с салом, пек оладьи-тошнотки на пахучем растительном масле, а было подозрение — на машинном. Вторую половину гостиной заселили чадолюбивые Фуксы: еврейская женщина Циля Ароновна готовила на кухне диковинную фаршированную рыбу и кнейдлах из мацы с гусиными шкварками. Жили и иные соседи, ныне позабытые, что варили себе немудреную еду, а к ночи развешивали на кухне белье. Сохли на веревках майки с трусами, вместительные лифчики, дамское белье густо-фиолетовых тонов; мужские подштанники провисали донизу, нагло задевая по лицу; тараканы шебуршились всласть вкрут помойного ведра. По утрам соседи наперегонки бежали в ванную, очередь выстраивалась в туалет: знай Гребенщиков, что ему предстоит, соорудил бы в квартире три кухни, четыре ванн, шесть унитазов.

Прелестная некогда Вера Николаевна имела столик на кухне, стиснутый с боков чужими тумбочками, отчего и страдала, не подавая вида. Дворник уже не заносил дрова по черной лестнице, кухарка не готовила на огромной, в полкухни, плите, и Вера Николаевна обучилась разжигать примус, наливая в него вонючий керосин, тыкая иглой в засоренную форсунку, проливая по кромочке ядовитый денатурат, часто-часто накачивая насосик, с содроганием ожидая взрыва, грохота с пламенем, чтобы кастрюлька взлетела к потолку и лапша обвисла на давно не беленных стенах. Но всякий раз беду проносило мимо, и к вечеру она оттирала до блеска чумазую кастрюлю, сальную сковородку, закоптелый чайник, проволочным ершиком очищала молочную бутылку: Вера Николаевна происходила, возможно, из немцев и чистоту блюла неукоснительно».

Как мы можем заметить, этот текст посвящен коммунальной квартире вообще, тем не менее чаще всего в нем упоминается именно кухня. Да и описано это пространство не в пример колоритнее прочих.

Ирина Соя-Серко писала в мемуарах: «Кухня была общей, и на холодной плите стояли примусы, керосинки “герц” — высокие, синие, с закопченным слюдяным окошечком посередине. Потом появилась новинка — “керогаз”, который тоже здорово коптил и издавал противный запах. Если соседи уживались, то над каждым

столиком (по числу жильцов в квартире) на полках стояла и висела хозяйственная утварь, если же соседи были “ненадежные”, все уносилось в комнату, вплоть до спичек и соли. На полу в кухне тайком кололи дровишки для “буржук”, кому не хотелось спускаться вниз во двор, а потому кафель был повсюду выщерблен. В ванной мокло белье, стояли тазы, корыта, оцинкованные ванночки для детей».

А вот Василий Аксенов, «Московская сага»:

— Цецилия Наумовна, вас к телефону! — долетел из коридора голос соседской дочки, семиклассницы Марины, вполне благовоспитанной школьницы. На кухне между тем продолжали полускандално перекликаться, базлать, как они выражались, привычные женщины, квартиросъемщицы. Огромная коммуналка на Фурманном, вместившая двенадцать семей плюс одиночку Цецилию, продолжала жить своей кухонно-туалетно-коридорной возней.

— Эй, Наумовна! — хрипло проорала с кухни главная баба квартиры, тетя Шура Погожина. Она с утра уже была на посту у своей конфорки, все что-то перемешивала и дирижировала оттуда коммунальной жизнью.

— Ты, Маринка, в дверь ей стукни, небось не слышит!»

Поэт Николай Заболоцкий видел советскую коммунальную кухню глазами лестничного беспризорного кота:

Сквозь дверь он чувствует квартиру,  
Где труд дневной едва лишь начат.  
Там от плиты и до сортира  
Лишь бабьи туловища скачут.  
Там примус выстроен, как дыба,  
На нем, от ужаса треща,  
Чахоточная воеет рыба  
В зеленых масляных прыщах.  
Там трупы вымытых животных  
Лежат на противнях холодных  
И чугуны, купели слез,  
Венчают зла апофеоз\*.

Коммунальная кухня была страшным местом. Ильф и Петров писали в «Золотом теленке»: «Вечером пришел

---

\* Н. А. Заболоцкий «На лестницах» (1928).



Птибурдуков. Он долго не решался войти в комнаты Лоханкиных и мыкался по кухне среди длиннопламенных примусов и протянутых накрест веревок, на которых висело сухое гипсовое белье с подтеками синьки. Квартира оживилась. Хлопали двери, проносились тени, светились глаза жильцов, и где-то страстно вздохнули: «Мужчина пришел»».

Не позавидуешь в этот момент Птибурдукову, даже несмотря на комплимент со вздохом.

А вот воспоминания Бориса Маркуса: «Наша квартира была обычной коммунальной, каких в Москве было тысячи, десятки тысяч. Кухня и все бытовое обслуживание, вроде водопровода, отопления и канализации, было общим. И поэтому в кухнях стояло столько кухонных столиков, сколько семей жило в квартире. Иногда имели кухни и плиту, на конфорках которой можно было что-то сварить, разогреть, поджарить. Но это бывало редко. Разве что по праздникам, когда плиту разжигали. А так как это бывало не часто, то плита обычно была занята примусами или керосинками».

Плита, которая способна действовать по назначению, но при этом используемая как подставка для всяких эрзацев полноценной плиты. Страшное зрелище.

\* \* \*

Кухня была своего рода основой бытия. Татьяна Окуневская, будущая актриса, вспоминала свое коммунальное детство:

«Наш дом такой странный, он тянется на целый квартал, в девять этажей, громадина без лифта. Лестница тоже странная, комнатки в доме маленькие, мрачные, а лестничные площадки как большие комнаты, с двумя окнами...

А сама наша квартира — длинный коридор, в конце которого большая ванная комната без ванны, с каменным полом, маленький туалет и маленькая кухня с большой плитой. С кухни и начинаются все скандалы, в ней хватает места, чтобы поставить крохотный столик, на него керосинку или примус, семь семей, шесть столиков, мы новые жильцы, седьмые, наш столик не умещается, и наша керосинка стоит на плите. Все знают, кто

что ест, пьет, на что живет, кто кого любит, кто кого ненавидит! Папа говорит, что никакая гражданская война сравниться с нашей квартирой не может. Здесь битва и национальная, и социальная, и партийная, и политическая...

Один холостяк, интеллигентный человек, какой-то служащий, немолодой, солидный. С него обычно все и начинается: его комната в самом начале коридора у входной двери, приходя с работы, он ставит в кухне что-нибудь разогреть, потом идет за чем-нибудь в комнату и, пока снова доходит до кухни, все у него убегает и заливают столы. Тут я скорее увожу папу на скамейку».

Мандельштам же писал в 1931 году:

Мы с тобой на кухне посидим.  
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...  
Хочешь, примус туто накачай,

А не то веревок собери  
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,  
Где бы нас никто не отыскал.

Кухня была линией фронта, и бои на ней велись нешуточные. Добрые соседи выключали газ под чужой недоваренной едой. Добавляли в чайник соль, в суп — сахар. И туда, и туда крошили так называемый химический карандаш. Добавляли гуталин. Строгали мыло. Не жалели хинин.

Те, кто совсем без фантазии — просто плевали в кастрюли и воровали мясо из борща.

Стоило только выйти на минуту — всё, обед загублен. Да что там выйти — некоторым виртуозам было достаточно того, что жертва на секунду отвернулась.

Словом, во время приготовления пищи кухни лучше было вообще не покидать. И, по возможности, не отворачиваться от плиты.

Михаил Зощенко писал в рассказе под названием «Нервные люди»:

«Приходит, например, одна жиличка, Марья Василь-

евна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, в это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.

Она думает: “С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!”

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, — отвечает, — подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, — говорит, — до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является это Иван Степаныч и говорит:

— Я, — говорит, — ну, словно слон, работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, — говорит, — покупателям и колбасу им отवेशиваю, и из этого, — говорит, — на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум, и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось».

Увы, рассказ пусть и художественный, но правдивый. Именно так и жила коммунальная кухня. Не всегда, разумеется. Но до таких безобразий доходило нередко.

Ежик ежиком, а вот замки и правда на кастрюли вешали. Не огромные, конечно, не амбарные, но и не символические, не щеколды из фанерки. Такие, чтобы сложность вскрытия замков все-таки превышала удовольствие от вторжения в чужую кастрюлю.

Андрей Синявский (он же Абрам Терц) писал в рассказе «Квартиранты», датированном 1959 годом:

«Как въехали они в нашу квартиру — Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: — Коля! — говорю, — Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите, как в отдалении. А я возле вас погреюсь на старости лет.

— Нет! — отвечает Ниночка. — С волками жить — по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной истории с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же — грязные и седые. От них заразиться можно.

И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям висячие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирать, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.

Только это не помогло. Превратности продолжают-ся. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. Отпирает — дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.

Ниночка — в амбицию. Ее тем временем другая соседка — Авдотья Васюткина — на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счеты: Анчуткера никак не поделят. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмячью любовь.

Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят очень отчетливо:

— Ведьма! Потаскуха!

— Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унитазе каталась?

Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся.

Норовят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенькие, с коготками.

И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разматались. Глазки горят, как лампочки от карманного фонаря. В руках — скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячьи так ходуном и ходят, так и ходят».

\* \* \*

Взять что-нибудь у соседей без спроса — как говорится, святое дело. Как-то раз одна из коммунальных жительниц, певица Эдита Пьеха, принимала у себя в гостях поклонника, космонавта Германа Титова. Приготовила миноги. Вроде вкусные. Однако же в последний момент выяснилось, что у певицы нет соли.

Не беда — ведь для этого и существуют соседи. Быстренько сбегала на кухню, быстренько разжила соль, посолила. Космонавт смачно опрокинул рюмку водки — закусил деликатесом — и бегом в туалет. Хозяйка попробовала — и следом за ним.

Оказалось, что в соседской банке была вовсе не соль, а какое-то мощное моющее средство.

Пришлось закусывать обычным хлебом с маслом.

\* \* \*

Грозой коммунальной кухни была поэтесса Марина Цветаева. Незадолго до гибели она проживала в московской коммунальной квартире на Покровском. Соседкой Марина Ивановна была преужасной. Сушила, к примеру, над общей плитой штаны сына Мура. Гостья Марины Ивановны поражалась:

«Кухня большая, светлая, пустая, чистая, деревянные полы. Над газовой плитой протянута веревка — и на ней мокрые синие, из “чертовой” материи брюки Мура. Обе штанины низко свисают над плитой, и с них капает прямо на кастрюли. Соседей никого не было.

Я робко заметила Марине, почему бы ей, чтобы не нервничать и не ссориться с жильцами, не повесить эти штаны к другой стене, где высоко под потолком были протянуты веревки и где брюки явно никому бы не

помешали и не капало бы с них на еду. Ведь плита всем нужна!»

— Да, конечно, — отвечала поэтесса, — плита всем нужна, но ведь брюки над плитой высохнут скорее. Я их никуда не буду перевешивать.

Разумеется, соседи мстили, как могли. Снимали с плиты ее чайник и ставили свой. Насмехались над ней. А Цветаева плакала.

\* \* \*

А вот воспоминание актера Валерия Золотухина о коммунальной кухне писателя Бориса Можаяева, автора некогда популярного романа «Мужики и бабы»:

«Я предполагал после рассказа Глаголина его существование в быту, но то, что я увидел своими зенками, как говорится, превзошло ожидаемое. Комплекс достоинств...»

Мы сидели на коммунальной кухне, среди веревок с пеленками, колясками (у него трое детей). Куча до потолка газет, банок, склянок, ведер с мусором, книг, холодильника, кухонных всяких нужностей. Это же помещение служит ему, когда он бывает дома, и кабинетом. Когда мы вошли, на одном из столиков среди посуды стояла машинка, лежала чистая бумага на газетах и стило писателя.

— Вы извините, ребята, я не могу вас повести в комнаты, там малыши спят, а то разбудим.

Мы прихватили с собой «старку», Б. А. подал грибок собственного запаса, откупорил банку немецких сосисок, и, выпив, стали разговаривать о жизни, в основном о земле, о крестьянстве... Он много говорил о Толстом, а кругом летали мухи коммунальные и от них громадные тени. Вот как живет замечательный русский писатель... Пишет на кухне. А мы... стараемся оборудовать кабинет, устроить жилье, условия т. е. для творчества, удобствами вызываем вдохновение... покупаем чернила, бумагу... машинку, весь подобный инвентарь и только одного не хватает, одного не знаем, где купить талант, страсть».

Время, кстати, описано достаточно позднее — 1967 год.

Впрочем, работать на кухне — не самое страшное. Хуже всего было тем, в чьих домах не было ванной. Им приходилось мыться на кухне. Стоя в корыте, поливая на себя из ковшика. Сначала ковшик опускался в большой бак-кастрюлю — в него набиралась предварительно согретая на газовой плите горячая вода. Затем ковшик подставлялся под струю холодной воды из крана — таким образом горячую воду разбавляли. И уже потом поливали из ковшика себя, а близкие родственники — друг друга.

Естественно, температура воды в ковшике каждый раз оказывалась разной. То холодной перельешь, то горячей черпанешь сверх меры. Пар стоял, особенно зимой, когда окна были закрыты. На плите закипал чей-то суп. Хозяин этого супа пытался пробиться к нему. Его не пускали.

— Клавдия Филипповна, скоро вы там? У меня суп весь выкипет! Или вообще убежит!

— Ириночка Архиповна, душечка, никуда ваш суп не денется.

— Вы его там хотя бы прикрутите, что ли.

— Как я вам его прикручу? Я все в пене.

Пенные пожилые афродиты заполняли кухни коммуналок.

И, конечно, поражали — а точнее говоря, обескураживали — кухонные лайфхаки тех времен. Вот лишь один из них, опубликованный в газете под названием «Московский большевик»: «Вскипяченный чайник в течение двух часов может оставаться горячим. Для этого его нужно плотно завернуть в газету, а затем в одеяло. Можно сделать термос в виде деревянного ящика с двойными стенками, пространство между которыми заполнить опилками, соломой, бумагой, ватой. В таком термосе “доходят” щи, которые обычно варят на керосинке два-три часа. А тут щи закипели, поставил их в термос, а через два-три часа еще раз прокипятил и все — щи готовы».

Как говорится, вуаля.

Иногда, кстати, бывало две кухни. Но редко. Все зависело, естественно, не от каких-либо представлений о целесообразности — об этих вещах никто вообще не задумывался.

мывался, — а от того, как удавалось переделать старое и некогда комфортабельное жилье. В частности, в знаменитом памятнике истории и архитектуры, доме пушкинского друга Павла Воиновича Нащокина в Воротниковском переулке, тоже превращенном в коммуналку, было именно две кухни, притом соединенные небольшим коридором. Конечно, в коридоре не было никакой нужды — просто так выкроилось пространство.

\* \* \*

Внешне кухня напоминала ад. Мебель абсолютно разных стилей, в том числе совершенно не предназначенная для кухни — письменное бюро вместо буфета, остов швейной машины вместо стола. Что нашли, то и поставили. Несколько плит. Не по числу семей — гораздо меньше. Так что приходилось либо делить конфорки — левая передняя — Иванов, правая передняя — Казакова, две задние — Лукьяновы. Иногда вместо этого плиту делили повременно. С 16.00 до 18.00 — Иванов, с 18.00 до 20.00 — Казакова и т. д.

У каждого метода были свои недостатки. В первом случае несколько человек одновременно толпились у плиты, а во втором — житель квартиры был привязан к времени готовки и не мог, к примеру, убежать на некое незапланированное в момент распределения времени свидание.

Особенно смешно смотрелись плиты, эксплуатируемые по первой схеме. Часть конфорок была грязной, а часть — стерильно чистой. У Иванова и Лукьяновых вполне могло быть очень разное представление о чистоте и санитарии.

Так же и со столами — их же тоже было меньше. Ели за ними редко, в крайнем случае завтракали на скорую руку. В основном их использовали при готовке. А более обстоятельный прием пищи (жуткая фраза, порожденная, скорее всего, именно советским коммунальным бытом) происходил в собственных комнатах, где, что называется, и стены помогают. Вдали от чужих завистливых глаз.

И с раковинами. Их число было ограничено количеством водных стояков. Сколько было — столько раковин и ставили. Как говорится, раковин много не бывает.



На кухнях сушилось белье (с распространением любительской фотографии к нему прибавились блеклые снимки формата 10×15 и больше), проводились собрания жильцов, бегали дети, сидели какие-то непонятные старички. Иногда — если коммуналка была более или менее дружной — накрывались столы и совместно справлялись официальные праздники — День Победы, Первомай, День Революции, все с большой буквы. Пели хором, танцевали и влюблялись.

Современник вспоминал:

«А как гуляли в коммуналках за общим столом на большие праздники! Песня просто! Все дети сидели тоже за общим столом, только за своим, детским, который сооружался на той же кухне отдельно от стола взрослого. Поев, они убегали во двор играть, оставляя взрослых с их салатами, пельменями, водкой и песнями про удаłego Хасбулата, одинокую гармонь и милого в защитной гимнастерке. Конечно, было интересно послушать разговоры взрослых. Но еще интереснее было достроить штаб во дворе, сыграть с пацанами из соседнего дома в футбол и покормить вислоухих щенят от Жульки.

Все это, впрочем, не мешало буквально через несколько часов прекратить танцевать и влюбляться, а вместо этого начать предъявлять претензии друг другу по поводу исполнения графика уборки коммунального сортира.

Верующие вешали иконы и распятия (далеко не все боялись гнева коммунистов, а официально это было запрещено), коммунисты — плакаты из партийных иллюстрированных журналов, молодые мужчины — страницы из журнала “Работница” с изображением интересных девиц. Ясное дело, споры разгорались и на эту тему. Юрий Никулин описывал показательный случай. В их коммунальной кухне висело несколько икон. Но до поры до времени. Когда же одного из обитателей квартиры приняли в коммунистическую партию, он первым делом в тот же день иконы снимал. И заявил: “У себя в комнате вешайте их сколько угодно, а здесь общественное место. Люди ко мне придут, стыдно будет”.

Пришлось подчиниться.

Над столами висели ножи — часто самодельные, часто сделанные заключенными в местах не столь отдаленных, а случалось, что одновременно и то и дру-

гое. Бывших сидельцев в коммуналках проживало много.

Ножи были гордостью кухарок. За ними ухаживали, вовремя точили. Кто-то делал это сам, на абразивном бруске, а потом еще правил на кожаном ремне. Кто-то доверял это важное дело точильщику.

Николай Ващилин писал в книге “Истории СССР”: “Иногда во дворы заходили точильщики, выкрикивая истошными голосами свои призывы: ‘Ножи точить!’ ” Я не мог отвести глаз от искр, которые снопом вылетали из-под лезвия затачиваемого ножа. Мне мерещились искры бенгальского огня, новогодняя елка, увешанная мандаринами и грецкими орехами в фольге и папа с ватной бородой, изображающий Деда Мороза. Мне казалось, что точильщик, как Дед Мороз, может исполнить любое желание, и я шептал сквозь слезы: “Верни мне папу”».

\* \* \*

С годами кухни, разумеется, унифицировались. Плита, раковина, стол, он же тумбочка. Полки, подвесные шкафы.

Первое же время кухня поражала избытком всякого рода колоритных девайсов. Помимо традиционной плиты (преимущественно дровяной) здесь находились всяческие печушки, керосинки, керогазы и т. д. Все это сверкало, дымило, завывало, трещало. Пожаров, однако, никто не боялся — человека, проживающего в коммуналке, вообще довольно сложно чем-либо напугать. Хотя пожары были частыми, жестокими и со смертельными исходами. «Известия» даже были вынуждены в 1925 году напечатать правила обращения с примусом — как с наиболее популярным кухонным нагревателем: «Примус рассчитан на применение керосина, поэтому не пользуйтесь бензином и, в особенности, смесью керосина и бензина. Если горелка примуса засорена, то может произойти взрыв, содержите горелки в чистоте и почаще прочищайте их. Не обливайте примус снаружи керосином — последний может вспыхнуть. Не жгите примус слишком долгое время, так как он может сильно разгореться и взорваться».

Сведения, уместные в инструкции по пользованию,

которую, как правило, кладут в коробку вместе с продаваемым изделием, вынуждены были опубликовать в одной из самых высокотиражных газет СССР.

Борис Маркус писал:

«Примус — это небольшой баллон на трех длинных ножках, загнутых наверху крючком. На эти крючки устанавливалось нечто вроде конфорки, только не сплошной, а сквозной. На эту конфорку ставились кастрюли, чайники, а при стирке даже огромные баки. Как только выдерживали тонкие ножки примуса такую тяжесть (баки-то были наполнены водой и бельем!).

В верхней части баллона имелась специальная трубка с форсункой и горелкой. В форсунке имелось тоненькое отверстие, через которое шел вверх распыленный керосин из баллона. Мне иногда казалось, что идет не струйка керосина, а газ. Возможно, что в форсунке жидкость превращалась в нечто газообразное. Для этого создавалось большое давление в баллоне, получаемое накачиванием специальным насосом, укрепленным сбоку. Керосин заливался в баллон через специальное отверстие с плотно закрывающейся крышкой.

Чтобы форсунка не засорялась, ее время от времени надо было прочищать специальными тоненькими иголочками на длинных жестяных ручках. После прочистки примус давал огонь большой температуры, распространявшийся ровно по кругу под посудой. Это обеспечивалось специальным металлическим колпачком горелки, которая распределяла огонь равномерно. И примус весело пел и гудел, на короне огня что-то разогревалось, а то и просто можно было долго смотреть на этот красивый огонь замороженными глазами».

Почему-то эти самые иголочки одновременно и смешили, и вдохновляли Илью Ильфа и Евгения Петрова. Остап Бендер признавался Адаму Козлевичу в романе «Золотой теленок»: «Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть».

И это был не единственный раз, когда иглы для примуса упоминались в произведениях легендарных соавторов.

Вильям Похлебкин так писал о примусе: «На богатых чиновничьих кухнях Санкт-Петербурга примус был известен с начала XX века, а в крупных городах России стал распространяться еще до Первой мировой войны, особенно после 1905 года. Однако в ту пору он был сравнительно редок и считался “предметом роскоши” или “предметом престижа”».

Основное массовое распространение примус как портативный вид очага получил в 1920-е годы, особенно в связи с появлением огромного числа коммунальных квартир в крупных и мелких городах, в многоэтажных домах, где отсутствовали и русские печи и плиты английского (европейского) типа и где каждая семья вынуждена была готовить себе пищу отдельно.

Примус — “личный портативный очаг” — как нельзя лучше подходил именно к этим социально-бытовым условиям. Для него нужно было мало места, его легко и быстро можно было убрать, он помещался в небольшом шкафчике или в тумбочке. Порой в московских или ленинградских коммуналках, где жили по десять и более семейств, на кухне действовали сразу 7–8 примусов, шум от которых был слышен еще с черного хода.

Примусы в Советский Союз поставлялись из Швеции, которая вообще экспортировала примусы во все страны мира, так как это было шведское изобретение. Изобрел его в 1892 году инженер Ф. В. Линдквист, назвав свое детище “примус” (от лат. *primas* — глава, первенствующий среди портативных нагревательных приборов) или “бессажевая горелка”. Уже в 1898 году в пригороде Стокгольма, на фабрике в Лилла Эссинген, началось массовое серийное производство примусов, а к началу XX века они уже заполонили собой пол-Европы.

В России, вернее в Петербурге, который расположен недалеко от Швеции, первые примусы появились в период Русско-японской войны. Они приобретались офицерами, которые отправлялись на Дальний Восток, как удобный автономный нагревательный прибор, используемый в полевых условиях. На примусе можно было кипятить воду и готовить практически всю пищу, требующую варки или жаренья. Однако более нюансированные кулинарные операции вроде ту-

шения, пражения, припускания на примусе производить было невозможно, ибо его огонь практически не поддавался регулированию и был сильным, интенсивным и близко расположенным к дну нагреваемой посуды. Но главное, примус не мог непрерывно работать более полутора часов, ибо тогда он перегревался и становился взрывоопасным... Однако за приготовлением пищи на примусе надо было постоянно наблюдать, то есть стоять все время на кухне, ибо нельзя было допустить, чтобы хотя бы одна капля из кастрюли попала на горелку — в этом случае возникал пожар. А поскольку примус “работал” очень быстро, то жидкая пища могла выплескиваться каждую минуту, чего не бывало у “тихоходных” керосинок, которыми пользовались обычно либо более осторожные, либо менее сообразительные и менее активные люди, да к тому же не предъявляющие особых требований к вкусу и тонкости аромата пищи.

Так вид очага буквально “делил” людей 1920-х — начала 1930-х годов на разные психологические категории, и это было наглядно заметно в условиях коммуналок, особенно больших — московских и ленинградских, или в условиях больших бараков, где также действовали большие коллективные кухни со многими — до двух десятков индивидуальных пользователей — примусами или керосинками».

Вильям Васильевич слегка напутал с датировкой — примусы задержались на советских коммунальных кухнях вплоть до конца 1950-х годов.

\* \* \*

Осип Манделъштам посвятил примусу стихотворение. Он так и назвал его — «Примус»:

Чтобы вылечить и вымыть  
Старый примус золотой,  
У него головку снимут  
И нальют его водой.

Медник, доктор примусиный,  
Примус вылечит больной:  
Кормит свежим керосином,  
Чистит тонкою иглой.

Борис Зайцев писал в заметке «Белый свет»: «Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнью его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему — чистейшим газOLIном». Борис Константинович обращался к своему примусу по имени-отчеству — Михаил Михайлович.

Воспел примус и Даниил Гранин:

«Примус — это эпоха; выносливая, безотказная, маленькая, но могучая машина. Примус выручал городскую рабочую жизнь в самый трудный период нашего коммунального быта. На тесных многолюдных кухнях согласно гудели, трудились примусные дружины. Почти два поколения вскормили они; как выручали наших матерей, с утра до позднего вечера безотказно кипятили они, разогревали, варили немудреную еду: борщи, супы, чаи, каши, жарили яичницы, оладьи. Что бы там ни говорилось, синее их шумное пламя не утихало долгие годы по всем городам, поселкам, в студенческих и рабочих общежитиях, на стройках...

Теперь, выбросив примусы, мы не хотим признавать их заслуг. Скорее всего, из-за того, что в нашей памяти примус связан с теснотой переполненных, бурливых коммуналок, кухонными ссорами, бедностью... Все так, но примус-то чем виноват? Конечно, судя по нынешним меркам, доставлял он немало хлопот. Разжечь его требовалась сноровка: надо было налить в чашечку денатурат, поджечь, спирт нагреет головку, тогда надо накачать, и пары керосина уже образуют шумный венчик пламени. Ниппель головки засорялся. Его прочищали специальной иглой. Портился насос. Перегорала головка».

Не было другого коммунального предмета, которому бы посвящалось столько строк любви и ненависти.

Примус был своего рода королем советской коммунальной кухни. Как мы уже отметили, изобрели его сравнительно недавно, в 1892 году. И, разумеется, только в нашей, бивуачной, по сути, стране этот нагревательный прибор использовали в квартирах в качестве стационарного. Во всем мире, напротив, была по заслугам оценена его мобильность — примусы брали в походы, в экспедиции, на войну. Дома же пользовались чем-нибудь более комфортным. К примеру газовой плитой.

Впрочем, и советский коммунальный квартирант, не будь дурак, нет-нет да и использовал способность примуса к спонтанному перемещению. Вот, к примеру, цитата из рассказа Сергея Сергеевича Заяицкого «Человек без площади»:

«— Спишь? — спросила она, скидывая шубку на цветной подкладке и соблазнительным движением подтягивая розовый чулок. — Спи, спи, я тебе не буду мешать, я только завьюсь... У нас сегодня... впрочем, спи, спи, я тебе потом расскажу.

Семен Петрович со вздохом закрыл глаза.

А супруга его между тем побежала в кухню и через минуту внесла в комнату громко гудящий примус.

— Я только завьюсь, — говорила она, — ты, пожалуйста, спи... Ну чего ты глаза таращишь? А потом будут попреки: не дают ему отдохнуть.

С этими словами она скинула платье, подошла к комоду и взяла щипцы.

Семен Петрович, пожалуй, все-таки бы заснул, ибо гул примуса действовал на него даже усыпляюще, но фраза, начатая и не оконченная супругою, не давала ему покоя: «У нас сегодня», — сказала Анна Яковлевна.

«Неужто гости?» — с ужасом подумал Семен Петрович».

Действительно — готовить удобнее на кухне, модную завивку делать в комнате (в ванной просто не дадут милые коммунальные соседи), примус — один на все случаи, взял да понес. Да еще, на бонус — оказывал усыпляющее действие.

\* \* \*

Примус работает по тому же принципу, что и паяльная лампа. То есть горит не керосин (а примусы по большей части заправлялись именно керосином, хотя, теоретически, подходило любое жидкое горючее), а его пары. Это, с одной стороны, делало девайс относительно безопасным, а с другой — требовало от пользователя множества лишних операций. Сначала примус следовало разогреть, да и потушить его в любой момент не представлялось возможным. Заправка — только в полностью остывшем состоянии. Что называется, мочи да хлопочи.

Зато КПД примуса был очень высок.

Кстати, название «примус» пошло от шведской фирмы «Примус», на которой началось его серийное производство. То есть возникло по аналогии с таким привычным названием, как «ксерокс», где имя компании-производителя распространилось в нарицательной форме на весь тип продукции, в том числе и производимой на других заводах и другими фирмами.

Первое время примусы в Россию и вправду поставляла компания «Примус», а затем было освоено и отечественное производство, причем пионером (или «примусом», что в принципе одно и то же) стал Первый государственный меднообрабатывающий завод, ныне Кольчугинский завод цветных металлов («Кольчугинский мельхиор»). Увы, его продукция надежностью не отличалась, и по всей стране начали открываться мастерские по ремонту примусов.

Кипела жизнь!

\* \* \*

Неудивительно, что примус сделался одним из символов советского коммунального быта. Первое время это слово имело исключительно положительную коннотацию, а затем довольно быстро сменило ее на отрицательную. Ничего тут не поделаешь — растут культурные запросы населения. То, что недавно казалось спасением от бед, со временем воспринимается как омерзительнейший пережиток прошлого.

Перемена, кстати говоря, произошла довольно быстро — уже в 1933 году вышел путеводитель Павла Ивановича Лопатина «От старой к новой Москве», в котором значились такие строки: «Дымную, вонючую плиту, закоптелый примус и проклятое корыто давала старая Москва семье рабочего. В кухне, между чадом плиты и грязным паром корыта, среди развешанных желтых пеленок проводили свои дни его жена, мать и дети. Миллионы рабочих часов, сотни тысяч человеческих жизней тратились в кухне безнадежно, нелепо, бессмысленно. Здесь, в столице, существовала страшная домашняя каторга, которая приковывала сотни тысяч женщин к корыту, плите и примусу. И казалось: нет выхода отсюда, из закоптелой, проклятой кухни».



Краевед Лопатин стоял на передовой борьбы со старым бытом.

Впрочем, бегство от примуса особенной скоростью не поражало. Прошло целых два десятилетия — а воз, что называется, и ныне там. Заселяется очередной «символ нового быта» — на сей раз сталинская высотка на Котельнической набережной, — и сразу же ей посвящается стихотворение:

Жильцы квартирами довольны,  
И весел разговор застольный,  
Про новый дом, про новый быт,  
Где примус навсегда забыт.

Еще бы не быть довольным, получив квартиру в одном из престижнейших домов в центре столицы. Тем более до действительно массового забвения как коммуналок, так и коммунальных кухонных девайсов вроде примуса это стихотворение отделяет еще два десятилетия.

\* \* \*

А еще примус довольно сильно урезал домашние кулинарные технологии. На нем можно было приготовить лишь нечто самое примитивное, притом самым примитивным способом — сварить. В крайнем случае осторожно пожарить, не разбрызгивая масло во избежание пожара. Ни о пассеровании, ни о тушении речь, разумеется, не шла. Не до того было советскому человеку, ему бы хоть чем живот напихать.

Неудивительно, что в книжных магазинах появились книги совершенно нового, немыслимого ранее формата: «Кухня на плите и на примусе», «Спутник домашней хозяйки. 1000 кулинарных рецептов с указанием, как готовить на примусе» и т. д. Сам факт их появления на свет уже свидетельствовал о том, что в новых технологических условиях что-то довольно ощутимо изменилось и притом вряд ли к лучшему.

Автор одной из таких работ писал: «Питание, как известно, предназначено для поддержания нормальной деятельности нашего организма, истощающегося во время работы. Поэтому целью настоящей книги бы-

ло — дать возможность иметь питательный и в то же время разнообразный стол.

Однако ввиду всё возрастающей дороговизны жизни мы, при составлении этой книги, приняли во внимание не только кулинарные, но и экономические соображения. Таким образом в наш сборник вошли рецепты кушаний наиболее дешевых и вместе с тем настолько простых, что большинство из них может быть приготовлено на примусе».

И снова этот примус — во главе коммунального угла.

\* \* \*

Примус сделался излюбленным героем литераторов первых советских десятилетий. Алексей Толстой писал в повести «Гадюка» об одной жительнице коммунальной квартиры:

«Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, — на кухне все замолкали, только хозяйственно, прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

— Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики...

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, “дикими” глазами и уходила к себе в комнату, в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру — в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло стать. Вернее — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это “антипожарное безобразие”, едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом, — хорошо, что он увернулся, — и “покрыла матом”, какого он отродясь не слышал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала».

А вот Даниил Хармс: «Два человека разговорились. Причем один человек заикался на гласных, а другой на гласных и согласных. Когда они кончили говорить, стало очень приятно — будто потушили примус».

Со всей мыслимой жестокостью определили место примуса в советском коммунальном быту Ильф и Петров. В рассказе «Саванарыло» художник, рекламирующий преимущества столовских обедов перед домашними, изображает слоган: «Дома грязь, помой, клоп — здесь борщи и эскалоп. Дома примус, корки, тлен — эскалоп здесь африкен».

Вряд ли эскалоп «африкен» делали из обезьяньего или носорожьего мяса. Скорее всего, из свинины и даже, возможно, «фальшивой». Но сравнить примус с тленом и клопом — это, конечно, приговор.

Ильф и Петров знали о примусе многое. В общежитии имени монаха Бертольда Шварца, описанном ими в романе «Двенадцать стульев», примус фигурирует в одном ряду пусть не с клопом, но с матрасом, поставленным, за неимением кровати, на какие-то кирпичики. И тот и другой символизируют в романе мещанский дух, который следовало всяко истреблять.

Соавторы владели темой — общежитие списано с другого московского общежития, притом абсолютно реального, существовавшего при газете «Гудок»:

«В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались».

Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькино ущелье. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на двух кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом с Колькой сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие создания никогда не бывают деловыми знакомыми — для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или еще хуже — это жены, и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей “ты” и показывал ей рожки.



Коммунальная кухня: вся жизнь на виду



В доме графини Паниной. Такое жилье после 1917 года изымали и уплотняли. 1910-е гг. Санкт-Петербург



Пасьянс — теперь  
уже в коммуналке.  
Фото Владимира  
Лагранжа



В традициях  
старой Москвы.  
Фото Владимира  
Лагранжа



Вход  
в коммунальную  
квартиру.  
*Фото Владимира  
Лагранжа*



Общий коридор  
и личные  
счетчики. 1989 г.  
*Фото Владимира  
Лагранжа*

Печь-буржуйка  
с алюминиевым  
чайником



Холодильник  
коммуналки. 1969 г.  
Фото Владимира  
Лагранжа







Примусы,  
керосинки  
и другая  
кухонная утварь  
прошлых лет



Кухонный  
уголок с газовой  
колонкой.  
1960—1970-е гг.



Кипячение белья. 1960—1970-е гг.

Время обеда. 1970—1980-е гг.. Фото Владимира Лагранжа





Согреть чайку.  
Фото  
Владимира  
Лагранжа

День стирки.  
1989 г. Фото  
Владимира  
Лагранжа





Советские фотоаппараты

Фотолаборатория в ванной

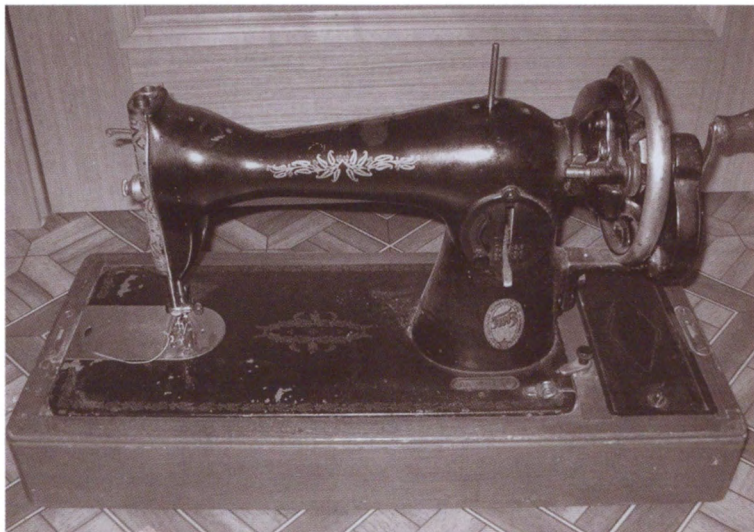




Перед зеркалом

Общее застолье. 1950—1960-е гг.





Швейная машинка Подольского механического завода —  
признак благосостояния семьи

Танцы в квартире. 1950—1960-е гг.





У телевизора «КВН». 1950-е гг.

Перед сном. 1980-е гг. Фото Владимира Лагранжа





Взрослые празднуют...

...детям лучше идти гулять. 1960—1970-е гг.







Футбол. 1950-е гг.

«Резиночка». 1970-е гг.





«Бабуля» на прогулке. 1961 г. Фото Владимира Лагранжа



До свидания,  
коммуналка!  
1960-е гг.

Здравствуй,  
отдельная  
квартира!  
1970-е гг.



Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу.

Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.

— Прекрасное утро, сударыня, — сказал Ипполит Матвеевич, чувствуя себя очень стесненно. Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.

— Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но, вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте.

И создание, постигшее все тайны примуса, громко сказало:

— Зверевы дураки!

За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.

— Видите?.. Они ничего не слышат... Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите?

— Да, — сказал Ипполит Матвеевич.

— А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле».

Примус одухотворялся. Михаил Пришвин писал: «Странно, что вот ведь самовар тоже работает на меня, но, когда он стоит у меня на столе и кипит, я могу писать, думать, как будто так и должно: самовар не раб мой, а друг по вольной воле, на удовольствие к своему делу кипит. Когда же я для скорости развожу примус, курю и пишу между двумя чашками чаю, то хоть примус и в другой комнате, за дверью и на самом тихом ходу, только чтобы не остыл чайник, — я все-таки не могу думать и писать, мне кажется, там, за дверью, из-за моей пустяковой жизни кто-то из последних сил старается».

Одухотворял это приспособление и поэт Николай Яковлевич Агнивцев — в детском стихотворении «Триолеты в бензине» (1928):

Сказал мне примус по секрету,  
Что в зажигалку он влюблен.  
И, рассказавши новость эту,  
Впервые выданную свету,  
Вздыхнул и был весьма смущен.

Но зажигалке и милее  
И симпатичнее был «форд».  
И без любовного трофея  
Из этой повести в три шеи  
Был примус выброшен за борт!

Тогда, нажав на регулятор,  
Взорвался примус от любви.  
Так, не дождавшись результатов,  
Хоть стильно, но и глуповато  
Свел с «Фордом» счета он свои!

Но, к счастью, для его хозяйки  
Был не опасен этот взрыв!  
Взревев, как негр из Танганайки,  
Он растерял лишь только гайки,  
Свою горелку сохранив.

Пусть пахнет песенка бензином.  
Довольно нам любовных роз!  
И примус с очень грустной миной  
По всем посудным магазинам  
В починку сам себя понес!

А вот стихотворение того же автора «Как примус хотел “Фордом” сделаться» (1925):

1

Примус очень  
Озабочен,  
Чем-то болен,  
Недоволен,  
Хоть он — Примус — первый сорт.  
— Ах, я, с горя, в печку кинусь,  
Ринусь,  
Кинусь,  
Опрокинусь..  
Отчего я только Примус,  
А не «Форд?»

2

— Эх, вот, если б я был «Фордом»,

Был бы я ужасно гордым.  
И помчался бы козулей –  
Пулей! Пулей! Пулей! Пулей!  
По московской мостовой.  
И меня б не запихнули  
Снова в кухню вот такой –  
Рядом с этою кастрюлей  
И вот с той –  
Сковородой.  
– Шутки!  
– Дудки!  
Я б со всей бензинной прыти  
Перед ахнувшим народом  
Разогнался б полным ходом,  
Обгоняя  
Все трамваи,  
Автобусы,  
Омнибусы,  
– Эй, сворачивай с пути!  
– Осади!  
Впереди!  
Обогнал бы я же  
Даже  
Босоногих всех парнишек,  
Мишек,  
Гришек  
И Епишек,  
И вот этих! И вот тех!  
Всех!  
Эх!

3

Справедливо разве это:  
Чтобы «Форд» гонял по свету,  
Я же жарил бы котлеты?  
По каким  
Таким  
Причинам  
Должен я страдать безвинно?!  
Он — машина,  
Я — машина!  
Он — с бензином  
Я — с бензином!  
В чем же дело здесь тогда?  
— А?!

4

Думал, думал  
И придумал:

— Дай, к Калинину пойду, мол!  
Если ты над всеми староста,  
Разберись и тут, пожалуйста!  
— Где тут староста?  
— Пожалуйста.  
— Он какой?  
— Вон тот, седой.  
— С бородой?  
— Да, с бородой.  
Ишь какой!  
Совсем простой.  
А на должности большой.  
А я думал, что он — важный,  
Очень страшный,  
Двухэтажный,  
Золоченый,  
Расфранченный,  
С галунами,  
С орденами  
И с такими вот боками!..  
Тут сосед пожал плечами  
И промолвил тихо так:  
— Хоть ты Примус, а дурак!  
— Как?  
— Так!

5

Наконец, дошел черед  
И до Примуса!.. И вот:  
Примус жалобно захныкал,  
Поднапыжился, как пыж,  
И запшикал:  
Пш! Пш! Пш!  
— Разъяснить всем все повинен, —  
Отвечал ему Калинин  
Под конец:  
— Ты, товарищ,  
Жаришь,  
Варишь,  
В этом деле ты и спец!  
И еще запомни твердо:  
Что для всяческой страны —  
Не одни нужны лишь «Форды»,  
Но и Примусы нужны.  
Правда, с виду «Форды» краше  
И у них достоинств куча,  
Но хоть жить им и легко,  
Без твоих же щей и каши

На моторе самом лучшем  
Не уедешь далеко!  
— Понял?  
— Понял!  
И с кряхтеньем  
Тарахтеньем —  
Разъясненьем  
Тем смущен,  
Почесал горелку он!..  
И пропшикал на прощанье:  
— До свиданья!  
— До свиданья!

И — тем не менее: «Можно себе вообразить тот ад, который творится на кухне в момент, когда восемнадцать семейств, населяющих этот тихий особнячок, готовит на восемнадцати примусах восемнадцать обедов».

Это уже Сергей Прокофьев.

\* \* \*

Да, примус, как ты его ни крути — герой отрицательный. Этот факт признавали практически все современники примуса. Если не напрямую, то подспудно точно признавали. Не зря Сергей Сергеевич Заяицкий, работая над детской повестью «60 братьев», назвал главного негодяя этой повести не как-нибудь, а Примусом Газолиновичем Чортовым.

— Примус — нешто имя? — переспросил главный герой в момент знакомства.

— Теперь новые имена, — обтекаемо ответил Чортов. Который, простите за спойлер, в действительности оказался не Чортовым и уж, тем паче, не Примусом, а всего-навсего Семеном Куровым, личностью, впрочем, темной.

Впрочем, о какой действительности можно говорить применительно к детскому произведению одного из ведущих придумщиков послереволюционной России?

Примус фигурировал в последних сценах романа «Мастер и Маргарита» признанного певца советских коммуналок Михаила Булгакова:

«По всем комнатам мгновенно рассыпались люди и



нигде никого не нашли, но зато... в гостиной на каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус.

В полном молчании вошедшие в гостиную созерцали этого кота в течение довольно долгого времени.

— М-да... действительно здорово, — шепнул один из пришедших.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот, — и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

— Исключительно чистая работа, — шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо:

— Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйста сюда.

Развернулась и взвилась шелковая сеть, но бросавший ее, к полному удивлению всех, промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же и разбился.

— Ремиз, — заорал кот, — ура! — и тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближайшего к нему стоящего, но у того раньше, чем кот успел выстрелить, в руке полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом из маузера кот шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив браунинг и бросив примус.

— Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азazelло! — простонал кот, истекая кровью. — Где ты? — кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую, — ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан — правда, очень хорошего — коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг...

— Сеть, сеть, сеть, — беспокойно зашептали вокруг кота. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу.

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, — проговорил кот, — это глоток бензина... — И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился

бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним обратно на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через секунды две оказался высоко над вошедшими, сидящим на металлическом карнизе».

Фраза же «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус» давно сделалась мемом. Как, впрочем, и другая фраза из того же самого романа — «Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу». (Надо ли говорить, что следующей была фраза «Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире»?)

Первый мем, что в целом понятно, означает «занимаюсь совершенно безобидным делом, не представляю опасности ни для кого», а второй — «жить в привилегированных условиях, не сталкиваться с бытовыми проблемами».

\* \* \*

Смех смехом, а примус действительно был причиной множества настоящих трагедий. В мемуарах то и дело упоминаются несчастные случаи, связанные с эксплуатацией этих девайсов. Исход — самый непредсказуемый.

Вот, в частности, воспоминания художника Александра Бенуа: «Мотя — инвалид; третьего дня она себе обожгла руки, туша вспыхнувший благодаря ее неосторожности примус».

А бывало и хуже.

И все равно гораздо большей трагедией считалось в силу каких-либо причин лишиться этого девайса. Историк Алексей Орешников писал: «Около 11 часов поехал поздравить Адель Шмидт с днем рождения, застал ее в слезах: украли примус. Подарил ей 10 рублей и 50 папирос. Несчастливая, как мне ее жаль! До большевиков она была сыта, одета... у нее все взяли, обоих сыновей на днях выгнали из университета, старший сын поступил в банк... нужду терпят большую, младший ищет службу».

Как нетрудно догадаться из контекста, речь все же идет о первом послереволюционном десятилетии.

Примус был королем советских коммунальных кухонь вплоть до конца 1950-х годов. Некоторое время он существовал наряду с керогазами, которые поначалу казались гораздо более продвинутыми гаджетами, пусть и не слишком широким, но все-таки шагом вперед.

Во-первых, керогаз был более изящен. Емкость с керосином была вынесена за пределы основного объема — керогаз словно держал ее на отлете, как пушкинский Онегин свою шляпу боливара. Вместе с тем керогаз выглядел более основательно. Словом, мечта коммунальной советской хозяйки.

Керогаз был дорог и являлся символом достатка. Конечно, не таким, как собственный автомобиль, но всё же, всё же. Места он требовал больше и, соответственно, практиковался в менее заселенных квартирах с более просторными кухнями. Главное же заключалось в том, что керогазы были эффективнее. На том же количестве керосина можно было вскипятить в два раза больше воды. Красота.

И еще — керогаз не вонял. Вообще не вонял.

Впрочем, керогазы оказались тупиковым путем развития кулинарной техники и уже в 1960-е годы рука об руку сдавали позиции перед газовыми плитами. Дело в том, что керогазы требовали постоянной сборки и разборки. При этом пальцы напрямую контактировали с керосином и продуктами его распада, а также полураспада. Одноразовые резиновые перчатки если и существовали, то исключительно в операционных блоках ведомственных больниц. Да и не приучен был советский человек к такому барству.

В результате после каждой перезаправки керогаза, прежде чем прикоснуться к продуктам, руки приходилось мыть. На коммунальной кухне, ледяной водой, не-вкусным мылом. Тщательно и долго.

В эксплуатации керогаз был капризен. Литературный критик Игорь Дедков писал:

«Мы мучились с керогазом, он явно не хотел гореть, а мы спешили: маленькому Володе было самое время есть рисовую кашу. Мы не могли понять, почему старый, послушный керогаз вдруг взбунтовался, и заспорили меж-

ду собой. Сгорел ли фитиль, или кто-то по слабости глаз вместо керосина налил в бачок воду?..

Мне хотелось поговорить, рассказать про свои невидимые слезы, но пришлось садиться на корточки и тыкать спичкой в проклятый черный фитиль, не желавший загораться. Керагаз выжимал из меня пот, он насмехался надо мной, он не хотел слушать про мои слезы, он скрипел креслом и чихал, будто ему в носу щекотали травинкой. Я разозлился и керагаз наконец загорелся синим пламенем».

Примус такой подлый фортель не выкинул бы.

Вильям Похлебкин писал:

«Примитивность, малый КПД и чисто эстетические недостатки керосинок побуждали к их усовершенствованию, то есть к выпуску разных модификаций, по сути дела, одной и той же конструкции, а также к некоторому видоизменению конструктивного решения этого нагревательного прибора. В числе таких “новых” решений было создание керагаза, уже внешне отличавшегося от керосинки своей солидностью и массивностью.

Керагаз предназначался для людей зажиточных, а главное, располагавших не коммунальной, а собственной кухней в отдельной квартире. Керагазы появились в самом конце 1930-х годов и действовали вплоть до середины 1950-х годов, а кое-где и в 1960-е. Главным преимуществом керагаза был его гораздо больший КПД. Он расходовал 80 граммов керосина в час — чуть больше примуса, но меньше керосинки. Во-вторых, он нагревал 4 литра воды за 55 минут, в то время как керосинка максимум могла кипятить только по 2 литра воды. Наконец, керагаз меньше вонял и был более устойчивым, чем керосинка. Но на этом скромные преимущества керагаза и кончались. Ведь сам по себе он был “дорогим удовольствием”, ибо стоил втрое дороже керосинки. Но, главное, он был сложнее в управлении. Для разжигания керагаза надо было наполовину разобрать его, то есть снять конфорку и газосмеситель, затем зажечь аккуратно фитиль по всей окружности, ибо сам он не так-то легко вспыхивал, и после этого вновь водрузить газосмеситель и конфорку на место. Подождав не менее пяти минут, пока газосмеситель разогреется, надо было вручную, поворотом фитиля, отрегулировать пламя, и только после этого можно было поставить на керо-

газ то, что надо было готовить: варить, кипятить или жарить.

Но и тут нельзя было спешить. Ведь возня с запачканными керосином и копотью частями конструкции керогаза, их съём и постановка диктовали необходимость после всех этих операций обязательно крайне тщательно вымыть руки, прежде чем приступать к чисто кулинарным действиям. А об этом не только частенько забывали, но и, главное, производили операцию мытья кое-как, чего при пользовании керогазом делать было нельзя. Необходимо было мыть руки по-хирургически, то есть теплой водой с мылом, тщательно, и притом каждый пальчик отдельно. Только в таком случае придание керосинового “аромата” кушаньям исключалось.

Но какая же хозяйка будет мыть пальчики по-хирургически. Она и слыхом о таком мытье не слыхивала! А особенно если керогазом “управляла” не сама хозяйка, а прислуга. Вот почему керогазы, вначале быстро раскупленные обнадеженными потребителями, позднее быстро вышли из употребления и не приобрели популярности в народе, не смогли конкурировать даже с “вонючей консервной банкой”, как презрительно называли иногда керосинку».

Насчет «собственной кухни в отдельной квартире» Вильям Васильевич выдал желаемое за действительное — просто коммуналки в большинстве своем уже не представляли собой того ада, каковым являлись в начале пути к коммунизму. И керогазу на более или менее просторной кухне, рассчитанной на три-четыре семейства, место все же находилось.

В остальном же — точнее не скажешь.

\* \* \*

В конце концов новые примусы и керогазы покупать перестали, а старые отправили в почетную ссылку, на дачу. Этот формат летнего проживания вдруг снова обрел популярность.

Неудивительно — страну пусть медленно, но верно завоевывало новое и безусловно, прогрессивное явление — газификация. Первый природный газ пришел в Москву по трубам из Саратова в 1947 году, и это было лишь начало.

Впрочем, газовое оборудование — сначала, разумеется, для газовых баллонов — стали выпускать гораздо раньше. На время войны производство, конечно же, было фактически свернуто. Но потом возобновилось с новой силой.

Один высокопоставленный московский чиновник докладывал в ноябре 1945 года на совещании директоров московских предприятий:

«Прежде всего факт остается фактом, что газовая аппаратура в Москве возобновлена производством. Если взять год тому назад, то надо сказать, что газовую аппаратуру никто не делал. Было маленькое производство на заводе “Газоаппарат”, и то делали по существу таганчики, а плит, счетчиков, колонок не делали. Какой можно отметить положительный факт? Это то, что наша промышленность взялась за производство газовой аппаратуры серьезно. И, как полагается, в каждом большом деле в начале производства встречаются серьезные трудности, и, я бы сказал, трудности есть, и технического характера, и те, что связаны с отсутствием надлежащего внимания к вопросу производства газовой аппаратуры... То, что здесь представлено, образцы аппаратуры — это решение одной части задачи, той части, которая касается введения газа в быт, и все это связано с приготовлением пищи и подогреванием воды. Другая часть задачи, я бы сказал, самая сложная, она у нас не решена, и мы должны найти такое решение, чтобы нам приступить к вытеснению дров, не угля, не нефти, а дров. Для этого потребуются организовать производство топливной аппаратуры, не только аппаратуры для приготовления пищи, подогревания воды, счетчиков, а топливной аппаратуры, которую мы никогда не производили...

Первый вывод надо сделать такой — качество. В основу всего, что мы делаем, должно быть положено качество, чтобы оно было безупречным. И потом вопрос качества — это не только вопрос культуры, но и вопрос безопасности, потому что, если будет малейшая неточность в соединении деталей, газ будет проникать в квартиры. А ведь вы знаете, что от скопления, например, саратовского газа возможен взрыв. Поэтому все соединения должны быть проверены тщательно, всякие гайки, нарезки — все это должно быть абсолютно точным, потому что это не только красота и признак культуры,

но это безопасность, чтобы не произошли никакие неприятности для тех людей, кто будет пользоваться этой аппаратурой. Качество в изготовлении аппаратуры — это должна быть основа основ, и мы, конечно, имеем полную возможность все сделать качественно.

В отношении колонок. Тип колонок вполне приемлем, а отделка слаба, и представленные здесь колонки не могут быть утверждены как качественные эталоны. Это потому, что одни колонки неэмалированные, другие колонки имеют эмаль кастрюльного типа. Я считаю, что колонки должны быть цвета слоновой кости. Надо, чтобы к этому делу люди относились с любовью, чтобы отделка была хорошая. Ни один из представленных образцов нельзя послать на рассмотрение правительства потому, что будут сделаны справедливые замечания в адрес отделки. Поэтому надо сейчас поработать некоторое время, чтобы в этом году мы могли бы показать правительству, что вот, мол, московская промышленность, союзная, республиканская, местная промышленность, все виды отраслей промышленности, которые только могут принимать участие в этом деле, могут делать вещи не хуже, чем в Америке, а отделка должна быть лучше потому, что отделку для москвичей правительство будет требовать очень крепко».

\* \* \*

А ведь мы еще упоминали керосинки, и притом неоднократно. Это что был за зверь? Актриса Елена Владимировна Юнгер писала: «Два широких, плоских фитиля, опущенные в резервуар с керосином, зажигались и закрывались чем-то вроде сплющенного металлического цилиндра со слюдяным окошечком. Сверху помещалась чугунная решетка, на которую и ставились чайник или кастрюля. Глядя через слюду, можно было регулировать огонь специальным винтиком, чтобы не коптило».

Точную и емкую характеристику этого коммунального девайса дал Даниил Гранин: «А были еще тихие керосинки. Они горели, как керосиновые лампы, но пламя их шло не столько на свет, сколько на подогрев. Керосинки вели себя смиренно. Примус, тот мог взорваться, керосинка только виновато коптила и пахла керосином».

Борис Маркус писал:

«Некоторые хозяйки заменяли примус керосинками. Правда, она работала медленнее, чем примус, но была более безопасной. Керосинки были двух типов: высокие плоские одно- или двухфитильные и низкие круглые трехфитильные. Какие из них были лучше, не знаю. Мне больше нравились пузатенькие низкие. Какой-то у них был более надежный вид. Однако ровный и спокойный огонь керосинки совсем не вдохновлял. Ничего похожего на бурное и веселое пламя примуса. Высота пламени регулируется специальными колесиками на тонких спицах, выдвинутых своими концами наружу и снабженных круглыми ручками. Чтобы отрегулировать огонь, надо было поворотом ручки выдвигать или задвигать фитили. А зажигать их можно было лишь тогда, когда с баллона снимался основной цилиндр, на котором устанавливались кастрюли или чайники и сковородки. Когда фитили чересчур обгорали, их надо было подрезать, для чего тоже надо было снимать цилиндр... В длинных керосинках ничего не снималось, а просто весь ее короб, имеющий сбоку специальную ось, откидывался на бок и после зажигания фитилей возвращался на свое место, закрепляясь специальной удерживающей корпус пружиной. Через слюдяные окошки можно было рассматривать пламя и регулировать его, выдвигая или задвигая фитили, делая огонь сильнее или слабее. Гасить керосинку можно было поворотом ручки, полностью задвигая фитиль вовнутрь, лишая его доступа воздуха. Задувать ее ни в коем случае нельзя.

Все это удовольствие — и керосин для заправки, и иголки, и фитили, и сами примусы или керосинки покупались в керосиновых лавках. Вроде той, что была на нашей Кудринской площади».

Если примус технологически был аналогом паяльной лампы, то керосинка — керосиновой лампы. Отсюда и разница — как в безопасности, так и в эксплуатации. Керосинка отличалась меньшей пожароопасностью, чем примус и керогаз, зато готовила медленно и сильно коптила. Многие доморощенные психологи судили по кухонным девайсам о личности их владельцев. Как нетрудно догадаться, керосинка была уделом трусливых и занудливых перестраховщиков, не способных ни пороха непромокаемого выдумать, ни королеву полюбить.



Так что не будем надолго задерживаться возле этого жалкого недоразумения. Лишь процитируем — на прощание — Вильяма Похлебкина, куда ж без него:

«Керосинки появились раньше примусов, но исчезли гораздо позже, активно просуществовав половину или чуть больше половины XX века. Так, керосинки были известны в России в крупных городах еще до Русско-японской войны. В 1900 году автор поваренной книги для армии М. Б. Плешкова как потрясающую “новинку” рекомендовала для офицеров “керосиновые кухни”, то есть керосинки, называемые “Триумф”.

На них можно было готовить пищу в походных условиях. На другой, более дорогой керосинке “Чемпион” — можно было готовить одновременно два блюда, так как она имела соответствующее оборудование в виде двухъярусного таганчика. Как сенсация сообщалось, что литр воды закипает на этих керосинках аж через 20 минут, то есть по меркам того времени — сверхбыстро!

Как известно, керосинки из быта советских людей исчезли лишь после Второй мировой войны, дожив в небольших провинциальных городах, отстоящих далеко от линий газопроводов, почти до 1960 года. Их “смерть” была обусловлена прежде всего тем, что из продажи исчез керосин и были вообще ликвидированы столь распространенные в нашей стране в период между двумя мировыми войнами так называемые нефтелавки.

Время наибольшего “расцвета” керосинок — 1930-е годы. Керосинка была примитивным “техническим прибором”, но зато простым в обращении, доступным самому примитивному пониманию. Она представляла собой настольное, а иногда и напольное “сооружение”, состоящее из резервуара для керосина и горелки, над которым возвышалась конфорка для установки посуды. Горелка представляла собой фитиль (он мог быть асбестовым или хлопчатобумажным), а иногда — два, три фитиля в ряд, опущенных в резервуар с керосином, которые вывинчивались вверх и вниз и служили для всасывания керосина. Достаточно было поджечь спичкой выступивший над поверхностью горелки фитиль, и керосинка начинала “действовать”, причем силу огня, то есть высоту пламени, можно было легко регулировать при помощи выдвигания или опускания фитиля.

На практике, однако, керосинки всегда “капризничали”, фитили плохо двигались, коптили, их надо было часто обрезать, особенно по углам, а кроме того, от керосинки всегда несло керосином, что непосредственным образом отражалось на вкусе и запахе пищи. Керосинки были “тихоходны”, то есть варили и кипятили медленно. Требовалось, например, более получаса, чтобы вскипятить на керосинке полтора-два литра воды, в то время как на примусе двухлитровый чайник закипал за четверть часа.

При этом керосинка “жрала” почти вдвое больше керосина, чем примус. Но простота приведения ее в действие привлекала к ней симпатии людей простоватых, невзыскательных или осторожных.

В то время как примусы на коммунальных кухнях агрессивно шумели, керосинки тихо, исподтишка чадили, коптили и воняли».

И, уж конечно, тут нельзя не вспомнить отрывок из главы «Конец “Вороньей слободки”» романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»:

«В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, первым звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился.

— Сожжет, старая, всю квартиру, — бормотал он, — ей что, а у меня один рояль, может быть, две тысячи стоит.

Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую, мутную бутылку с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал:

— Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает!

И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил “Воронью слободку”. Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.

— Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться! Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.

На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал “Родину” и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.

— Это выходит, значит, государство навстречу идет? — сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!

И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в “Вороньей слободке” никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подоженный сразу с шести концов».

Так что зря укоряли старую добрую керосинку. Человеческий фактор был гораздо опаснее.

\* \* \*

Для обслуживания всех трех девайсов — примуса, керогаза и керосинки — по всей стране была развернута сеть керосинных лавок. Даниил Гранин писал: «Имелись керосиновые лавки. Там, в цинковых чанах, плескался желтоватый керосин. В бутылках продавали лиловый ядовитый денатурат. У поэта примус золотой потому, что он делался из латуни и, начищенный, сиял во всю мочь. Существовала целая сеть услуги примусного хозяйства: ремонтные мастерские, медники, запчасти... Примусов-то пылало в стране сотни тысяч. После появления газовых плит, электроплит они отсту-

пали, отдавая город за городом, и сейчас примусы остались лишь для походной жизни туристов».

Поход в керосинную лавку (ее еще именовали нефтелавкой) — целый ритуал, притом не всегда безобидный. Виктор Гопман писал в мемуарах: «В числе прочих льгот пацаны с нашего двора пользовались практически неограниченной свободой передвижения по окрестностям. Допустим, мать посылала кого-то из нас за керосином... Да, сегодня этот вид топлива используется преимущественно для нужд реактивной авиации, и царящий на летном поле запах жженого керосина ассоциируется с ветрами дальних странствий и романтикой большой — в положительном смысле этого слова — дороги. А в те времена керосинки и керогазы были доминирующими бытовыми приборами, используемыми для приготовления пищи — от печей народ уже отошел, а к поголовной газификации еще не приблизился. Значит, давала мать бидончик емкостью 3 литра, а литр керосина стоил 1 рубль 40 копеек (цены, разумеется, до денежной реформы 1961 года). Таким образом, задача на два действия: сначала умножить рубль сорок на три, а потом полученную сумму вычесть из пяти (потому что проще всего было дать ребенку пятерку, в естественном расчете на сдачу) — 80, стало быть, копеек. Но эта нехитрая арифметика была яснее ясного и для пацанвы из домов, расположенных рядом с керосинной лавкой (именно так! потому что “керосиновыми” были лампа или, скажем, двигатель, а торговое учреждение и царивший там запах — “керосинными”). И вот пацаны из двора, считавшего, что лавка входит в сферу их юрисдикции (и праваы они были, в чисто формальном плане, потому что жили, что называется, дверь в дверь, а до нашего дома было минут пятнадцать ходьбы — другое дело, что это была единственная лавка на весь район, но тут уже не их вина, а наша беда) — так вот, из стратегически благоприятно расположенного двора выходила ватага и окружала чужака, требуя выдачи, скажем, двадцати копеек из числа означенных восьмидесяти. Иначе — сами понимаете... Потому-то мы старались ходить за керосином в компании с соседскими ребятами, минимум по двое — для пущей уверенности. И если нас не признавали в лицо, хотя должны были признавать — ведь учились-то все в одной школе, то приходилось са-

мим уточняют: “Да вы чего! Мы — с Деминского двора”. Эта волшебная фраза означала, что трогать нас без особой нужды или без повода не рекомендуется. “Деминские” — был не просто пароль, но охранная грамота, диппаспорт. Тем же, кто задастся вопросом “а как же которые не-Деминские?”, в качестве ответа могу только предложить цитату из классического еврейского анекдота: “Таки плохо”».

Еще одна современница керосинных лавок, скрывающаяся в социальных сетях под псевдонимом *Lana*, вспоминала, как ходила в подобную лавку за синькой: «Я выросла на Самотеке, в тихом зеленом переулке. Ближайшая керосиновая лавка была на Селезневке, но иногда мы с бабушкой за чем-то ходили в керосиновую на Тихвинскую. Да, синька продавалась килограммами, а еще отпускали керосин, бензин, хозяйственное мыло, свечи, гвозди и всякую химию и скобянку. Очень интересно было наблюдать, как шла торговля. Лавку на Селезневке давно снесли, а на Тихвинской она каким-то чудом уцелела»

А вот мемуары другого пользователя социальных сетей, господина *Shchipok*: «Немного воспоминаний о керосиновых лавках 1940—1950-х: в их ассортименте были также свечи, фитили для керосинок и керосиновых ламп (из этих толстых, широких и прочных текстильных полос хорошо было делать простейшие самодельные крепления для лыж), оконная замазка (тогдашний дежурный прикол мальчишек — забежать в такую лавку и спросить у продавца: “Дядь, почем халва?”), нафталиновые шарики против моли, стиральная сода, фонари модели “летучая мышь” (под стеклянным колпаком горел керосинкообразный фитиль) для ношения на открытом воздухе в ночное время и т. н. керосиновые лампы (горение по тому же принципу, причем яркость горения можно было регулировать перемещением фитиля вверх или вниз), гвозди, шурупы и тому подобные скобяные изделия (в этом было некоторое дублирование ассортимента тогдашних магазинов под общим брендом “хозяйственный”); продавались также керосинки (для самого экономного и безумно долгого приготовления пищи), примусы (на них готовка шла гораздо быстрее по причине принудительного нагнетания керосина в горелку) и керогазы (работали они с гром-

ким ревом мощного пламени и температуру развивали, сопоставимую с газовыми плитами). И многое другое прочее продавалось в керосиновых лавках, просто сейчас вспомнить все невозможно. А вот керосин продавался по такой технологии: в прилавок был вделан небольшой бассейн из нержавеющей стали (площадью примерно полтора на полтора метра и глубиной не менее полуметра), над которым высился кран, из коего продавец регулярно пополнял этот микробассейн, а потом брал в руки черпак дозированной емкости, зачерпывал им керосин и наливал его в посуду клиента через воронку. После того как большинство московских домов были газифицированы после войны, еще долгие годы во многих подъездах сохранялся специфический запах сгоревшего керосина (похожий на тот, который иногда бывает ощутим сегодня при посадке в самолет на поле аэропортов), и этот особый запах очень часто, увы, “сдабривался” запахом кошачьей мочи».

Нечто подобное было и в других городах, а не только в Москве. Вот, например, Кишинев: «Характерные деревянные ворота и такой же покосившийся забор долго напоминали мне о ее [лавки] существовании и после, когда надобность в керосине в быту кишиневских хозяек отошла в прошлое.

Таких керосиновых лавок было много в городе. Вот сейчас, кроме нее, навскидку помню две — тоже отдельно и за заборчиком... Наличие двора, трава во дворе, отдельный доступ вовнутрь, незабываемый запах керосина, а в целом что-то милое сельское или провинциально-кишиневское. Это, можно сказать, сердце той необъятной системы, которая охватывает весь город или даже страну. И которая с шумом бодро и зло горящего примуса или керогаза активно проявлялась с самого утра и до вечернего чаепития в каждом дворе. Когда жителям, чтобы не задохнуться в маленьких квартирках, приходилось выносить яростно шумящие приспособления во дворик или даже на улицу перед входной дверью».

А полярник Игорь Зотиков в книге «Зимние солдаты» подробно описывал технологию этой торговли:

«Бабуся, отстояв небольшую очередь, подавала керосинщику большие стеклянные бутылки-четверти — другой посуды для керосина тогда почти ни у кого не

было. И керосинщик наливал в них мерным литровым черпаком золотистую жидкость из большой железной бочки без верха.

Запах керосина очень нравился мне тогда. Он нравится мне и сейчас, несмотря на то, что половина моей жизни впоследствии была связана с реактивными двигателями, работающими на керосине, и он мог бы мне надоесть.

Иногда бочка керосинщика оказывалась полупустой. Тогда, перед тем как разливать керосин, он открывал кран над бочкой. Мощная струя выбегала из крана, и можно было, подойдя к бочке, смотреть в окруженное светлой пеной место падения струи, наблюдая ее борьбу со стоячей жидкостью».

Неудивительно, что керосинные лавки больше всех нравились детям.

\* \* \*

Исполнив свою благородную функцию, практически все керосинные лавки стали превращаться в хозяйственные магазины. Других вариантов использования этих помещений практически не было. Хотя исключения, конечно, бывали. В частности, в Коломне, там, где с 1940-х по 1980-е годы торговали керосином, сейчас — часовня Святой мученицы Параскевы Пятницы. Но это потому, что в середине прошлого столетия керосиновую лавку оборудовали в помещении этой часовни, построенной еще до революции.

А так по всей стране вдруг появилось множество маленьких, неудобных «хозяйственных». В них в принципе было невозможно ни развесить шторы для ванной, ни расставить горшки для цветов, ни с комфортом разместить садовый инвентарь. Зато там пахло керосином. Окрестные жители удивленно покачивали головой — дескать, надо же, вот что значит — память. Керосина давно уже нет, а его запах все мерещится.

Им даже в голову не приходило, что на самом деле никакого морока здесь нет, что керосином действительно пахнет, что его запах вьелся в стены на невысшимую глубину, гораздо больше, чем толщина стен. И в пол тоже вьелся, хотя песок, которым этот пол засыпа-

ли — из огнеборческих соображений — давно вывезли. И в потолок. И теперь пахнуть керосином будет вечно.

Кстати, в Московской области, рядом с аэропортом Быково до сих пор действует автобусная остановка под названием «Керосиновая лавка». Хотя самой лавки, естественно, давно уже нет.

Самой же известной была керосиновая лавка в Москве, на давно уже не существующей Собачьей площадке. Один из старожилов, Александр Левинтов, вспоминал: «В пятидесятые годы прошлого века в доме на углу Борисоглебского и Собачки рядом с керосиновой лавкой (потом магазинчик “Хозтовары”) располагался продовольственный магазин, хорошо знакомый окрестному арбатскому миру неиссякаемыми запасами водочки».

А вот воспоминания другого жителя Арбата, Владимира Потресова: «Питейный дом, или, как называл его Соболевский попросту, кабак, существовал тут с последней четверти века, а позже, до революции 1917 года, — “Казенная винная лавка”. Потом — керосиновая. В 1941 году немецкая бомба уничтожила угловую часть дома. В пятидесятые годы в оставшейся устроили магазин “Хозтовары”, но его называли по-старому керосиновой лавкой, а на месте, куда попала бомба, — возвели “Продовольственные товары”. Помню, меня по малости лет поражало обилие тускло блестящих в глубине полутемного магазина бутылок водки с красными головками».

И в сознании советских жителей, и в географии советских городов водка и керосин шли рука об руку.

Но не только в лавках продавался керосин. В 1988 году был снят фильм Андрея Кайдановского, посвященный послевоенному Калининграду. Главный герой — собственно, керосинщик — ездил по разрушенному городу на трофейном мотоцикле с коляской. Только вместо коляски у него была прицеплена огромная круглая бочка с керосином. Он останавливался на перекрестках и кричал: «Керосин развожу! Керосин развожу!» К керосинщику сразу выстраивалась очередь — жидкое топливо было необходимо каждому. Керосин из бочки по трубе стекал в ведро, а уже из ведра литровой мерной медной кружкой продавец переливал свой керосин в канистру покупателя.

Впрочем, причиной выгорания квартир, а иногда



целых домов бывали не только устройства для приготовления пищи, а еще и старая, вечно искрящая электропроводка, плохо затушенный окурок. Иногда взрывались телевизоры — у тех, у кого они были. Даже репродукторы — круглые черные тарелки, мы поговорим о них несколько позже — иногда воспламенялись.

Надо ли говорить, что никаких огнетушителей в советских коммуналках не было.

\* \* \*

Еще один великолепный обитатель коммунальной кухни — утюг для глажения белья. Сегодня, когда утюги легки, изящны и, кажется, сами, без участия хозяев, гладят все, что нужно, — настолько далеко проник прогресс и в этом направлении — многие вообще пренебрегают столь необременительным ритуалом. Покупают одежду из немнущихся (или красиво мнущихся) тканей и позволяют себе вовсе утюга не содержать. А в середине прошлого столетия, когда процесс глажения был суров и труден, он почему-то почитался обязательным для каждого. Даже у самого опустившегося алкоголика с фиолетовым носом и вечно дрожащими руками, у тупикового создания, который, выпивая, привязывал к руке полотенце, перекидывал его через шею и натягивал другой рукой, чтобы посредством этого нехитрого блока хоть чуть-чуть уменьшить тремор и чтобы хотя бы какая-то часть вожденной водки не расплескалась, а отправилась по месту назначения — так вот, даже у такого получеловека на брюках были острые, тщательно отглаженные стрелки. И шляпа у него была. Но стрелки все-таки важнее. Шляпу можно безвозвратно потерять, а стрелки утром все равно отглаживать по новой.

Борис Маркус вспоминал:

«А вы задумывались когда-нибудь над проблемой глажения белья? Это же просто мучение — в домашних условиях, на тесной кухне или в маленькой комнате разворачивать огромные простыни, покрывала. О мелочах разных я не говорю. Их гладить было просто. Некоторые хозяйки имели гладильные доски, а большинство же женщин просто раскладывали на столе подстилку из какого-нибудь старенького одеяла и гладили.

Самым примитивным был цельнометаллический

чугунный утюг с крученой металлической ручкой, за которую братья, когда он раскален, было крайне опасно. Приходилось пользоваться прихватками, тряпками. Утюг этот был относительно не очень тяжелым и даже удобным, но, к сожалению, сравнительно быстро остывал. Ведь дополнительного собственного разогрева в нем не было. Приходилось время от времени снова ставить его на примус или керосинку.

И еще мне очень нравилось смотреть, как такой утюг используют в виде тяжести или “гнета” при квашении капусты или каких-либо других солений.

Был еще и угольный большой утюг. Иногда его почему-то называли паровым. Почему, не знаю. Это была пустотелая кораблеобразная чугунная коробочка с острым носом и откидывающейся назад крышечкой. Ручка была деревянной, что все-таки было лучше, чем в простом утюге. Правда, и дерево иногда так нагревалось и жгло, что и тут приходилось пользоваться тряпками. В коробку засыпался древесный уголь, который долго мог оставаться горячим, пока не выгорали угли, но разгорался он не скоро. Приходилось ставить его в топку плиты, чтобы создавалась тяга. Но не всюду же были печи. Приходилось выдумывать иные способы, вплоть до дырявых сапог, как своеобразных мехов.

Этот утюг был значительно крупнее и тяжелее простого и дольше удерживал тепло. По-моему, он пользовался большим успехом у хозяек.

Однако со временем, как и примусы с керосинками и керогазами, простой и угольный утюги уступили место более совершенным. Появились электрические, с каждым годом все более совершенствующиеся. Удобные и сравнительно безопасные».

В Америке электрический утюг изобрели уже в 1882 году. Но, как говорится, есть, да не про нашу честь. Наши домашние хозяйки оперировали угольными агрегатами, часто сразу двумя. Одним гладят, а второй греется. На коммунальной кухне часто можно было видеть странную картину: молодая советская женщина, строительница коммунизма, стоит и размахивает двумя утюгами, притом из каждого, будто из преисподней, летят дым и искры.

На самом деле никаких сатанистских ритуалов тут нет. Просто таким образом хозяйка раздувает угли.

А историк и академик Милица Нечкина в своих вос-

поминаниях писала: «Продолжение истории с Варей, мне чуть не проломила голову утюгом, разрешила мне руку и пр.».

Нам не важно сейчас, что там была за история с Варей. История с утюгом в данном случае гораздо интереснее. Действительно, такой, фактически чугунной гирей ничего не стоит и голову проломить, и прочие серьезные увечья нанести.

Вот еще один случай, невысказанный в мире современных утюгов: «Верочка возилась с куклой. Я гладила белье. Угли погасли, утюг остыл. Мне надоело перебирать белье, и я уткнулась в книгу Фейхтвангера “Лже-Нерон”. И по обыкновению так углубилась в чтение, что все забыла, ничего не вижу и не слышу. Случайно оторвалась, и — о ужас! — картина: Верочка сидит на полу, рядом утюг и она с наслаждением ест уголь! Вся мордашка черная — только глазенки блестят. Я невольно (от страха!) закричала, и Верочка от меня убежала... А уголь во рту!»

А еще утюгами в то время грели постель перед сном. Во время болезни или просто для того, чтобы согреться, клали в ноги горячие утюги. И прожаривали утюгами одежду, в швах которой прятались коварные насекомые. Школьный преподаватель Владимир Гельфанд сокрушался: «Вши опять закусили. Оказывается, я их вчера не всех выжарил утюгом. Сейчас опять грею утюг — буду жарить».

И в другой раз: «У меня тепло. Днем я прожарил утюгом вшей на одежде. Они лопались... в складочках рубашки. Ох, и сколько же их было! Стало невтерпеж бороться с ними. Я бросил на середине, оделся — стало немного легче».

По многофункциональности элементарный утюг не уступал современным смартфонам.

А для того, чтобы проверить, готов утюг или же нет, на его рабочую поверхность смачно плевали. Если плевков с шипением испарялся, значит, все хорошо, можно гладить. Если же оставался на месте, значит, надо еще подогреть.

\* \* \*

Вся страна, подражая всеобщему кумиру Леониду Утесову, распевала песню о любви из фильма Григория Александрова «Веселые ребята»:

Тюх, тюх, тюх, тюх...  
Разгорелся наш уютюг.  
Ты влюбился, промахнулся.  
Встретил дамочку не ту —  
Огорчился, оглянулся  
И увидел красоту.

Тюх, тюх, тюх, тюх...  
Разгорелся наш уютюг.  
Каждый может ошибиться,  
От любви мы мучимся,  
Ведь недаром говорится:  
На ошибках учимся.

Тюх, тюх, тюх, тюх...  
Разгорелся наш уютюг.  
Не ревную я к другой,  
Это переменится.  
Все равно он будет мой —  
Никуда не денется.

Наш современник здесь услышит просто некий образ. Ну да, ну уютюг, разгорелся, бывает. А на самом деле это «тюх-тюх-тюх» — звуковое подражание угольному уютюгу. Именно с таким тюханьем этот девайс и разгорался, словно большое и жаркое сердечное чувство.

Правда, иной домашний рационализатор приспособивал вместо раскаленных углей раскаленную же чугунную болванку. С ней было проще, но, конечно же, не так эффективно.

\* \* \*

Осип Мандельштам писал об уютюге — о том, который еще грели на плите:

— Очень люблю я белье,  
С белой рубашкой дружу,  
Как погляжу на нее —  
Глажу, уютюжу, скольжу.  
Если б вы знали, как мне  
Больно стоять на огне!

Кстати, детские стихотворения, а по сути, крохот-

ные стихотворные циклы «Примус» и «Кухня» (1926) Осип Эмильевич сочинял действительно играючи. Его супруга вспоминала в третьей книге мемуаров: «Детские стихи сочинялись, как шуточные — вдруг, и со смехом: “А так годится?..” Из своих книг он любил именно так сочинявшиеся: “Примус” и “Кухню”... Там коротенькие стишки, вроде поговорочек, присказок. Жарится яичница — стишок. Забыл закрыть кран на кухне — стишок... Сварили кисель — опять событие и повод для стишка. Они и получились живые и смешные. Любят ли их дети? Кто их знает... Ведь детям тоже надо привыкнуть к стишку, чтобы его полюбить».

\* \* \*

Прежде чем прогладить, вещи следовало выстирать. Как нетрудно догадаться, стиральные машины стали появляться уже после массового расселения коммуналок, все приходилось делать вручную и, как правило, тоже на кухне. Главный стиральный девайс — так называемая выварка, огромная кастрюля для кипячения белья. Иногда вместо кастрюли использовалось нечто наподобие ведра. В любом случае выварка была большая и страшная, местами блестящая, местами белесая, со следами накипи и с мятыми краями. Она вмещала не меньше десятка литров, ее заполняли бельем, ставили на плиту или на то, что использовалось вместо плиты, после чего коммунальная кухня на несколько часов заполнялась вонючим (к запахам собственно грязной одежды присоединялись ароматы мыльной стружки и питьевой соды) паром и превращалась в сущий ад. Разумеется, процедура кипячения была одним из поводов для доброй коммунальной ссоры. Ситуация усугублялась тем, что редкая домохозяйка была в состоянии таскать эту выварку самостоятельно — требовалась помощь тех самых соседей, которые в этот момент отнюдь не испытывали добрых чувств в адрес хозяйки, затеявшей постирушку.

Кипятилось белье минут сорок — считалось, что за это время все дезинфицируется. После чего одежду специальными гигантскими деревянными щипцами вытаскивали из выварки, отжимали над раковиной и приступали к полосканию сначала в теплой, а затем

и в холодной воде. Некоторые эстеты добавляли в воду так называемую синьку — с ней почему-то белье получалось не синее, а, напротив, белоснежное.

Впрочем, вещи помельче стирали не столь обстоятельно — просто терли в корыте на ребристой стиральной доске. Корыта продавались в магазинах, но особенным шиком считалось иметь самодельное. Первое время, когда мои габариты еще позволяли, меня мыли именно в самодельном стиральном корыте. И, вероятно, не только меня.

Прекрасно помню эту вещь. Какой-то серый, в светлое пятнышко алюминиевый сплав, форма скорее грушевидная в сечении, кверху расширяется, а сбоку ручки. Корыто служило нам на протяжении нескольких десятилетий и было кому-то подарено во время очередного переезда.

\* \* \*

Одним из самых почитаемых предметов коммунальной кухни была мясорубка. При этом обитатели коммунальной квартиры постоянно норовили воспользоваться соседской. Те, в свою очередь, азартно выслеживали нарушителей, однако же и сами были при случае не прочь на время увести чужой девайс. Смысл в этом был какой-то космически непостижимый. Вряд ли мотивация состояла лишь в том, что пользование чужим агрегатом позволяло дольше не затачивать ножи у собственного. Здесь, видимо, присутствовало нечто более фундаментальное.

Отчасти это объяснялось тем, что мясорубки были в дефиците, притом в каком-то катастрофическом дефиците. Московский нумизмат и музейщик Алексей Орешников писал 3 ноября 1924 года в дневнике: «Заходил с Л. В. к “Мюру”, хотел купить мясорубку, но все были распроданы». И только 18 ноября (к счастью, того же года) появилась надпись: «Я поехал к Страстному монастырю, где купил мясорубку (6 р. 50 к.)».

Может быть, домохозяйки боялись, что, когда их мясорубка сломается, им придется снаряжать за новой своих мужей — таких же робких и непробивных интеллигентов — и совершенно неизвестно, сколько времени продлится эта экспедиция.

Кстати, отечественная мясорубка — почти сверстница отечественной коммуналки. Ее производство было начато в 1929 году в городе Касли на знаменитом литейном заводе. Что, в общем, логично — практически все детали мясорубки были отлиты из высококачественного чугуна и покрыты так называемым пищевым оловом — практически полностью очищенным от мышьяка, увы, присущего этому материалу. Для этого были призваны шведские специалисты — инженер Лаурен и его помощник по имени Альф Альфович, которые и наладили производство.

Несмотря на внешнюю простоту и даже примитивность означенного девайса, для изготовления каждого экземпляра требовалось около 130 операций. Примерно столько человек и было задействовано на конвейере. В год выпускалось около ста тысяч штук. Впоследствии объемы производства колебались между 200 тысячами и 1,2 миллиона штук в год. Примерно десятая часть отправлялась на экспорт.

Со временем мясорубочное производство освоили 63 завода по всей территории СССР.

Каслинская мясорубка стоила в магазине три с половиной рубля. Импортные — они тоже были в продаже — шли по пять с половиной и семь с половиной рублей. Разумеется, советский обыватель предпочитал отечественный образец. Ведь качество было практически равноценно, там просто нечему было сильно различаться и, соответственно, не за что было переплачивать.

Конечно же, пытались что-нибудь упростить и рационализировать. В связи с этим как-то раз произошел курьез. Одну из модификаций выполнили без «лишней», как подумалось инженерам, детали — крепежного винта ручки. Тогда же директора и главного конструктора завода вызвали «наверх» — на совещание к министру. Министр долго расхваливал каслинцев прочим присутствующим, а в конце своей речи взял привезенный ими образец мясорубки и со словами «учитесь, как надо делать» схватил мясорубку за ручку и потряс ею над головой. В этот момент мясорубка соскочила с ручки и с грохотом упала на пол. Министр не покалечился лишь чудом.

Крепежный винт, естественно, вернули. Но потом все же опять убрали — уже навсегда. Ручка у нашей мя-

сорубки уже просто надевалась на червячный нож, ничем к нему не прикрепляясь.

А в скором времени советская мясорубка была признана лучшей в мире. Неудивительно — ведь основной специализацией каслинского завода было изготовление художественных изделий. Поначалу это были, разумеется, ограды, надгробия, решетки, половые плиты, лестничные ступени и перила. Но в скором времени завод освоил новую нишу — чугунные украшения. Всевозможные подсвечники, тарелки, скульптурные фигурки, пресс-папье, настольные часы, чернильные приборы, каминные щипцы — всего не перечислить.

Каслинские изделия получали золотые и серебряные медали на столичных выставках 1860 и 1861 годов соответственно, а также награды на популярных в прошлом Всемирных выставках в Париже, Вене, Филадельфии, Копенгагене и Стокгольме. Выставки в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Милане, Мальме. И везде — триумф. Неудивительно, что в редком российском доме не найдется какая-нибудь симпатичная каслинская безделушка.

Павел Бажов посвятил каслинскому литью зарисовку «Чугунная бабушка»:

«Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь... Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.

Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал — уродец родится.

Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыплит, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.

Бронзировка да покраска проще кажутся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей многонько.



А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь».

После революции профиль завода по большому счету не менялся. Разве что несколько подкорректировалась идеология. Ангелы, царские бюсты и распятия уступили место новым героям — спортсменам и буденновцам. И мясорубкам.

Таким образом практически каждый житель советской коммуналки обладал произведением искусства высшего разряда. Правда, немногие об этом знали. Вертели мясо, прочий фарш. Чертыхались, если он не вылезал из круглых дырочек рядом с ножом, начинали вертеть ручку обратно. Фарш поднимался вверх, его прокручивали еще раз — и так, пока все не уйдет из мясорубки. Подобное случалось либо когда мясо было слишком жилистым, либо при тупых ножах, либо когда в раструб мясорубки пытались запихнуть очень много крупных кусков мяса.

В каслинских мясорубках терли ягоды на заготовки, отжимали облепиху, делали тесто для домашнего печенья, крутили начинки к пирогам, хлеб на котлеты, селедку для паштета, овощи. Гурманы пропускали раковые шейки, благо раки в коммунальную эпоху были вполне доступны — иди да лови.

Архангельская мемуаристка Т. Смирнова, будучи в Великую Отечественную войну маленькой девочкой, писала о тех непростых годах: «Ели мы в войну морскую капусту. Это водоросли, из которых добывают йод. Капусту эту надо было молотить на мясорубке — противные скользкие зеленые и желтые плети втягивались в мясорубку, извиваясь. Потом из них надо было как-то вымочить йод. Я есть их не смогла».

Дырочки же, из которых шла «готовая продукция», время от времени прочищали простой серной спичкой — она идеально подходила к этому диаметру.

Прекращение же производства этого девайса произошло из-за резкого роста цен на пищевое олово. Новые расценки делали каслинскую мясорубку сопоставимой по розничному чеку с электрической мясорубкой китайского производства. То есть полностью неконкурентоспособной.

Но перед этим мясорубка подарила стране своего рода прощальный аккорд. В 1981 году, когда СССР, уже практически избавившийся от коммуналок, дружно распевал песню Аллы Пугачевой «Старинные часы», именно этот девайс послужил музой для народной пародии на припев этой песни:

Фарш невозможно повернуть назад,  
И мясо из котлет не восстановишь.

Если кто забыл, в оригинале было так:

Жизнь невозможно повернуть назад,  
И время ни на миг не остановишь.

\* \* \*

И, разумеется, не обходилось без авоськи. В ней приносили продукты домой, она была символом одновременно и достатка, и недоступности еды. Эти дырчатые сумочки, сплетенные по большей части на многочисленных заводах Всесоюзного общества слепых, были самой популярной тарой для доставки продуктов питания на коммунальную кухню. Стандартная авоська состояла из 336 клеток (14 рядов, в каждом по 24 ячейки) и была способна выдерживать груз весом 70 килограммов.

Принято считать, что это слово «авоська» впервые озвучил Аркадий Райкин, а придумал писатель Владимир Поляков, автор сценария к таким культовым фильмам, как «Карнавальная ночь», «Мы с вами где-то встречались» и «Девушка с гитарой». Именно он сочинил для Аркадия Исааковича монолог, в котором скромный советский дядечка с авоськой, явно коммунальный житель, показывал зрителям сумочку и говорил: «А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу...»

Шел 1935 год.

Миф о сталинском изобилии, естественно, не более чем миф. Дефицит существовал и в то время. Поэт Вадим Шефнер писал: «В те годы вползло в быт словечко “блат”, появились “блатмейстеры”, то есть ловкачи, которые по знакомству добывали себе все, чего хотели. А продуктовая сумка была переименована в “авоську” — авось удастся принести в ней домой что-нибудь такое, чего по карточкам не выдают».

Справедливости ради заметим, что карточная система, введенная в 1928 году, в 1935-м была отменена. Что, разумеется, вовсе не означало одномоментного перехода к вещевому и гастрономическому раю.

Этот забавный домашний добытчик был мил советскому зрителю. Прижилось и нелепое слово — авоська.

Кстати, однажды Аркадий Исаакович исполнял этот номер перед самим Сталиным. Это произошло в 1939 году. Райкин вспоминал:

«Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Зажег свет, взглянул на часы — пять. Сняв трубку, слышу короткий приказ: “Быстро одевайтесь, едем в Кремль”. Я решил, что меня кто-то разыгрывает. Не иначе как Никита Богословский, большой мастер на подобные шутки. Иду снова к дежурной и прошу у нее телефонную книгу: бумажку с номером телефона дежурного Комитета по делам искусств я куда-то засунул. Одной рукой листаю книгу, другой на всякий случай одеваюсь. Снова звонок. Нетерпеливый голос: “Ну где же вы?” — “А кто это?” — “Я из Комитета по делам искусств. Жду вас внизу с машиной. Со мной Шпиллер. Тоже ждет вас”.

В середине Георгиевского зала стояли четыре стола. За ними сидели, как я потом убедился, шестьдесят человек — по числу лет Сталина. Встретил нас Михаил Борисович Храпченко. Я понял, он-то и дал распоряжение привезти меня на этот второй, уже не запланированный концерт. Первый давно закончился, а гости не расходились — их надо было чем-то занять. Храпченко берет стул, на который я, войдя в зал, положил свои “носы” и прочие аксессуары, и ставит его прямо перед столом Сталина, примерно в двух метрах от него. То есть выступать я должен не на эстраде, которая где-то в конце зала, а прямо на паркете, возле центрального стола.

Я смотрю на всех и продолжаю думать о чае. На столах, однако, все что угодно, кроме чая. Но надо начинать... В моем “человеке с авоськой” неожиданно увидели сходство с кем-то из присутствующих. Раздались веселые возгласы.

Слышу, как Сталин спрашивает у кого-то, что это у моего персонажа за сетка; ему объяснили — для продуктов.

Когда я закончил, Сталин усадил меня перед собой. До восьми, то есть около трех часов, я так и сидел. По одну сторону от него был Молотов, по другую — Микоян и Каганович».

Кстати, авоська удачно отыгрывалась не только на эстрадной, но и на цирковой арене. Имеется в виду известный клоун Карандаш, по паспорту Михаил Николаевич Румянцев. Кстати, он сам ужасно не любил, когда его так называли. Говорил: «Румянцев — это для домоуправления». Он хотел быть именно Карандашом.

И у Карандаша был номер — он выходил на манеж с большой авоськой, набитой немислимыми деликатесами. Черная и красная икра, коньяк, шампанское, коробки конфет и плитки шоколада, сырокопченая колбаса и ананасы. Просто выходил и молча стоял под светом прожекторов. Зрители, разумеется, тоже молчали. И когда пауза совсем затягивалась, клоун произносил одну из своих коронных фраз: «Я молчу, потому что у меня все есть. А вы почему?»

В сталинское время он не смог бы выйти с этим номером больше одного раза. Но к тому моменту Сталин умер, время наступило более или менее вегетарианское, и Карандашу такие вольности сходили с рук.

Кстати, авоську в своих выступлениях использовал еще один клоун — Олег Попов. У него была миниатюра под названием «Солнце в авоське» — такая же светлая и добрая, как сам «солнечный клоун».

Кроме фантастической грузоподъемности (которую, кстати, достаточно сложно проверить, разве что положив туда две двухпудовые гири и пару гантелей по три килограмма), авоська обладала массой прочих достоинств. Будучи пустой, она практически не занимала места и ничего не весила. Соответственно, авоську было необременительно всегда носить с собой, что, собственно, почти все и делали. Крупные ячейки позволяли помещать в авоську вещи с острыми углами — эти углы просто-напросто вылезали наружу, не дырявя саму сумочку. Авоська была незаменима для стирки в стиральной машине всяческих уязвимых вещей. Разумеется, в коммунальных квартирах того времени никаких стиральных машин не было, но как раз тогда начала развиваться сеть прачечных самообслуживания, оборудованных такими агрегатами. С помощью авоськи

стерилизовали банки для популярного в те времена домашнего консервирования — так их проще было вытащить по окончании стерилизации из кипятка.

Многие использовали этот поистине многофункциональный девайс для ловли раков. Авоська могла служить домашним вместилищем для овощей — в нее можно было складывать яблоки, свеклу, лук, морковь и прочие овощи-фрукты и, экономя ценное коммунальное пространство, хранить, подвесив на гвоздик. Главное, чтобы размер наименьшей единицы хранения превышал размер авосечной ячейки.

Кажущийся недостаток — то, что все продукты были на виду, — в действительности недостатком вовсе не был. Ну чем в то время можно было удивить? Бутылкой водки? Нарезным батоном? Пачкой грузинского третьесортного чая?

Набор продуктов был стандартный, всем известный.

Стоимость авоськи, разумеется, была довольно низкой, а служила она долго.

А вот еще одна функция — холодильная — как раз оборачивалась для владельцев серьезнейшими неприятностями. Холодильники, ясное дело, были не у всех, а если у кого и были, то довольно маленькие (и к тому же толстостенные, то есть их вместимость была еще меньше, чем казалось снаружи). Зато приемлемый для длительного хранения температурный режим поддерживался на протяжении семи месяцев в году буквально за окном. За окно эти авоськи, набитые копченой колбасой, сыром «Рокфор» (его в СССР производили, и притом весьма неплохо), соленой корюшкой и прочими деликатесами, и вывешивали. После чего их успешно срезали особыми длинными ножницами специально обученные городские воришки.

Гораздо надежнее были защищены продукты, помещенные между двумя рамами — стены домов были довольно толстыми, рамы открывались отдельно друг от друга, расстояние между ними было приличным, напихать можно много.

Еще один весьма досадный недостаток авоськи — тонкие ручки, впивающиеся в ладонь, — решался с помощью резиновых трубок. Да, таким образом габариты авоськи несколько, совсем незаметно, увеличивались, но груженная авоська переставала резать ладонь и мож-

но было перетаскивать большие грузы на значительные расстояния, не испытывая особого дискомфорта.

Практически каждый считал, что авоська — сугубо советское изобретение. Однако первенство практически официально закреплено за чешским предпринимателем Вавржином Крчилом. В 1920-е годы он стал выпускать сеточки для волос, которые почему-то не пользовались спросом. Тогда ушлый чех придумал к ним ручки и начал продавать уже как сумки. А тут коммерческий успех ему сопутствовал.

Хотя нечто подобное существовало и до революции. Антон Павлович Чехов писал своей сестре в 1898 году из Ниццы: «Получила ли мешок из сетки? Это для овощей. Тут кухарки на базар ходят с такими саками».

В СССР с авоськой ходили все. Мира Мендельсон-Прокофьева, последняя жена композитора Сергея Прокофьева, писала: «Маша Книппер рассказывала мне, что ее мама, увидев меня с Сережей на улице, спросила Машу: “Кто это? Я часто вижу их. Это такие влюбленные, такие влюбленные”. А, оказывается, тбилисские приятельницы Маши обратились к ней: “Какая замечательная вещь ‘Ромео и Джульетта’ Прокофьева! Как же он может ходить с авоськой?!” Маша заметила, что Прокофьеву тоже надо кушать, на что они возразили: “Пусть лучше не кушает — и не ходит с авоськой”. Я понимаю, что не идеал — хождение Сережи за покупками, — он свободно может не ходить, но мы так привыкли делить все — и трудное, и поэтическое, что все переживаемое вместе становится дорогим для нас».

«Засветился» с этой сумочкой и Шостакович, правда, несколько иначе — когда он вышел из поезда на железнодорожном вокзале города Куйбышева, в одной руке у него был чемодан, в другой авоська, а в авоське сидел маленький сын Максим.

Случалось, что в авоське везли магнитофон — и она, разумеется, выдерживала.

Александр Твардовский писал в дневнике: «Вчера образовался выходной. Встав в 5 ч., пошел искать грибы, уверившись в их реальности по тем белым, которые увидел на прогулке за оградой у парня в авоське и принял было их за булки».

Вот дневник драматурга Александра Гладкова: «Встретил днем известного писателя Ф. Искандера с

авоськой, полной картошки и овощей, идущим с рынка. Это сразу сделало его мне симпатичным. Терпеть не могу важничающих ничтожеств из нашей среды, гнушающихся делать такие покупки».

Авоська как будто уравнивала жителей коммуналок с советской элитой.

А вот откровения Юлии Нельской-Сидур, супруги известного скульптора Вадима Сидура: «Сегодня я прошла по магазинам по Комсомольскому проспекту. Как истая советская гражданка, которая живет по принципу “Хватай, что дают, а то потом не будет”, я наткнулась на клюкву в пластмассовой упаковке, уже некоторое время исчезнувшую. Дима очень страдает без этой клюквы. За свою жадность — я схватила десять штук — я тут же поплатилась. У меня были авоськи, и я еще купила какао, так как оно тоже становится дефицитом, хлеб, что-то еще. Три пластмассовых банки клюквы не выдержали, прорвались и потекли. Я как угорелая неслась к мастерской, истекая клюквой, сердобольные граждане кричали мне вслед, что у меня что-то течет. В итоге пришлось мне остановиться, выкинуть три банки (о ужас!) и с липкими авоськами продолжать свой путь, даже не страдая, оттого что я не стою в совершенно безумной очереди за хреном в майонезных баночках. Господи, неужели у нас всегда будут очереди!»

С годами репутация авоськи несколько менялась, она становилась сначала символом простоты, демократичности, а потом и символом нужды, если не бедности.

Известна история, как в одном городе к выборам была заказана политическая реклама с изображением явно нуждающегося избирателя — и автобусные остановки украсила фотография известного математика Григория Перельмана, возвращающегося из магазина с авоськой. Ему только что присудили миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, какой-то папарацци подловил его на улице, исполнители заказа обнаружили эту картинку в Интернете, не узнали Григория Яковлевича — и в результате оконфузили своего заказчика.

Впрочем, не исключено, что это фейк и фотешоп, я лично автобусные остановки не видел. Но в любом случае эта история очень четко указывает место авоськи в сознании современного человека.

И, разумеется, авоська — один из популярнейших героев советского кинематографа. Семен Семеныч из «Бриллиантовой руки» пытается носить в авоське пистолет. В фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» некий Федя возит в авоське пустые бутылки из-под вина. Даже в «Жандарме из Сен-Тропе» дочь жандарма Крюшо пользуется этой сеточкой.

А в телевизионном сериале «Гостья из будущего» некто Коля Герасиков оказывается в том самом будущем и всячески там куролесит, не расставаясь при этом с авоськой, в которой лежат всего-навсего три жалкие дорожные бутылки. Притом авоську Коля носит на плече, как аксельбант.

Но это уже 1985 год, закат коммунальной эпохи.

\* \* \*

Кстати, иногда авоську называли сеткой. Это, как правило, практиковала столичная интеллигенция, не желающая портить свою высоколубую карму столь простонародным словом. Но суть от того не менялась — что у рабочего, что у профессора в этой дырчатой сумке лежали бутылка простой «Русской» водки, батон, поллитровка кефира, кусок сыра и кусок колбасы, завернутые в серую бумагу, сделанную из вторсырья.



---

## *Кто на чем? Санузел*

На протяжении долгого времени санузел в коммуналке почитался за большое счастье. Неудивительно — ведь еще в 1940 году канализацией в Москве было охвачено около 65 процентов населения. В других городах этот процент был значительно ниже. Впрочем, там и коммуналок было меньше — в силу деловой, культурной и образовательной непривлекательности советской провинции. В сравнении со столицей, естественно.

Прочие 35 процентов пользовались выгребными ямами и были счастливы. Да, на одно так называемое очко нередко приходилось несколько десятков человек. Да, и зимой тоже. Да, в мороз. Да, очереди на морозе, особенно утром. Но главное, что эти люди были москвичами! Ради подобной привилегии можно было не такое вытерпеть.

И тем не менее санузел — там, где он существовал — был самым проблемным местом в коммуналке. Особенно в первые послереволюционные годы, когда рушилось все и в первую очередь именно в городах. Анатолий Мариенгоф писал в «Циниках»:

«Ольга смотрит в мутное стекло.

— В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции.

— Можно распахнуть окно?

Небо огромно, ветвисто, высокопарно.

— Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как

раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация.

Круторогий месяц болтается где-то в устремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшеньице».

Но потом все более или менее наладилось. Если, конечно, так можно назвать необходимость множества чужих друг для друга людей пользоваться одним отхожим местом.

Естественно, проблема чистоты стояла остро. «Правила внутреннего распорядка в квартирах» от 1929 года строжайше предписывали: «При пользовании ванными жильцы обязаны после мытья вымывать последнюю начисто. Стирка и полоскание белья в ваннах категорически запрещаются... Уборка мест общего пользования должна производиться всеми жильцами поочередно на равных началах».

Требование, конечно, замечательное, только как измеришь это «начисто»? Ни в метрах, ни в часах, ни в килограммах «начисто» не подсчитаешь. Для подслеповатого необразованного дедушки одно «начисто», для молодой флейтистки из консерватории другое «начисто», а ванной они пользуются одной. И не только они, а еще двадцать человек соседей.

Как тут быть?

Никак. Ругаться. Или не ругаться. От характера зависело. Кто молчал, кто орал, кто строчил жалобы в милицию. А у милиции свои заботы — убийства, насильничество, кража дров из сарая, срезание сумок с продуктами с окон нижних этажей. Особо назойливых жалобщиков могли и в кутузку запечь. Конечно, ненадолго — просто чтобы пыл немножко охладить.

А в одной из коммуналок города Ростова-на-Дону санузел был и вовсе отведен под так называемую «коммуну», состоявшую из четырех шалопаев. Вера Панова писала:

«Все четверо ушли от своих отцов буквально на улицу, не имея никакой специальности.

Яша Фалькнер... исхлопотал для них ордер на жилплощадь. По этому ордеру они поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна».

Кстати, сам унитаз вызывал уважение. Он так же от-

личался от своих современных собратьев, как отличается старинный мельхиоровый подстаканник от пластиковой кружки с принтом хрюшки. Это были огромнейшие, широченные вазы, стоявшие на небольшом возвышении и напоминавшие императорский трон. Сливной бачок маячил где-то там, под потолком. Он приводился в движение цепочкой (заправские сантехники говорили «цёпочка», с ударением на первый слог, такое у них было профессиональное аргю) с фаянсовой грушей на конце. Так делалось, чтобы достичь эффекта водонапорной башни. Дернешь за грушу — и извергнется истинная Ниагара, с грохотом и воем обрушится в недра царского трона вода, снося всей своей очистительной мощью содержимое вазы.

Если кто-то пользовался туалетом ночью, коммуналка просыпалась, но спустя минуту привычно засыпала вновь.

\* \* \*

Забавную и вместе с тем трагичную историю описывал Сергей Довлатов в повести «Наши»:

«Прошло несколько лет. Опустился железный занавес. Известия от Леопольда доходить перестали.

Затем приехал некий Мونها. Жил у деда с бабкой неделю. Сказал, что Леопольд идет по торговой части.

Мونها восхищался размахом пятилеток. Распевал: «Наш паровоз, вперед лети!..» При этом был явно невоспитанным человеком. Из уборной орал на всю квартиру:

— Папир! Папир!

И бабка совала ему в щель газету.

Затем Мونها уехал. Вскоре деда расстреляли как бельгийского шпиона».

По всей видимости, это была месть кого-то из соседей за «папир».

Тем не менее проблема чистоты не всегда решалась даже в поздних коммуналках. Наоборот, она стояла еще острее — потому что у соседей не было возможности пожаловаться домоуправу, чтобы тот, используя данную государством власть, приструнил мерзких нерях.

Ника Энкин вспоминала об одесской коммуналке начала 1970-х годов:

«Туалет — один на всех. О нем стоит упомянуть отдельно. Длинное, как вагончик, помещение с белым другом, маячащим вдаль. Естественно, с допотопным бачком и цепочкой, свисающей с него. Огромная лужа являлась постоянным спутником унитаза. Может, мужчины не попадали, а может, женщины залезали с ногами... Кто знает? Но я, ребенком, глядя на очертания, всегда фантазировала: а на что это похоже? Правда, больше чем на голову Бабы Яги или ведьмы очертания лужи не “тянули”. Засиживаться было противопоказано: сразу же в дверь раздавался стук и недовольный окрик:

— Как пойдет семейство!

Душевой не было вовсе. Честно говоря, плохо помню, как мы купались. Поход в баню всплывает в моей памяти очень смутно. Единственное, что запомнилось: каждую неделю мама мыла мои длинные густые волосы в большом тазу, а затем ополаскивала уксусом (чтобы блестели). Следующий этап я ждала с ужасом — мама принималась расчесывать шевелюру. Слезы лились ручьем!»

\* \* \*

Умение жить в коммуналке — целое искусство. Журналист Лев Штерн писал: «Уборка мест общего пользования производилась жильцами по очереди: поквартирно или подушно, как где договаривались. Порядок пользования ванной комнатой, если такая была в квартире, встречался разный: любой жилец в любое время мог зайти туда, либо по графику, когда каждая квартира имела определенные дни пользования с количеством дней, соответствующим количеству душ. Второй метод применялся в квартирах, где соседи, мягко говоря, не очень дружили».

Кроме проблем, связанных с уборкой (а проблемы были далеко не шуточные: кто-то просто игнорировал свой график, кто-то считал, что все должны вылизывать унитаз до зеркального блеска, кто-то полагал, что достаточно чуть пройтись тряпочкой, кто-то вообще плохо видел), существовали проблемы имущественные. Практически у каждого был свой стульчак. Их прислоняли к стенке или же подвешивали, они были самых

разных цветов и конфигураций и делали уборную похожей на небольшой зал художественной галереи.

Впрочем, площадь стен в уборной была ограничена, и иногда там физически не могли поместиться все стульчаки. Те, кому не хватало места, гордо несли их из комнаты на плече. Так же поступали и особенно брезгливые: мало ли кто по рассеянности, а то и нарочно сядет своим пролетарским задом на чей-нибудь благородный дворянский хомут.

То же было и с бумагой — у каждого своя. У кого пожестче, у кого помягче, у кого газеты, у кого финансовый отчет. Ведь привычную нынешнему обывателю бумагу в рулонах начали выпускать лишь в 1968 году, а до этого в ход шли, так сказать, отходы интеллектуальной деятельности.

В ванной у каждого — свой кусок мыла и своя мочалка. В редких случаях — своя коробка с зубным порошком (зубная паста вошла в обиход несколько позже) и вафельное полотенце. Но чаще эти принадлежности приносились и уносились с собой — в ванной перенаселенных квартир для них просто не было места. Иногда, впрочем, и мыло уносили — но больше из-за опасения, что им будут пользоваться соседи.

Ходил анекдот: «Коммуналка — единственное место, где мужчина подглядывает за женщиной, моющейся в ванной, не для того, чтобы насладиться прелестями ее тела, а для того, чтобы проверить, не моется ли она его мылом».

Анекдот, в общем, скорее печальный.

\* \* \*

Иногда над ванной гордо возвышалось сложное и дорогое устройство — так называемый дровяной водонагреватель, он же титан. Он работал на дровах и угле, которые, в лучшем случае, хранились во дворе, в специально приспособленном для этих целей дровяном сарае, а в худшем — прямо в жилой комнате, бывало и такое. Состоял он из топки, огромного бака (медного или из нержавеющей стали) с водой и хитроумного смесителя, отвечающего за циркуляцию как холодной, так и уже подогретой воды. Впрочем, «подогретой» — мягко сказано. Температуру воды поднимали до максимума, чтобы

потом разводить холодной — когда с помощью штатного смесителя, а когда с помощью ковшика или другой какой внешней хреновины.

Емкость титана достигала 200 литров, а мощность его начиналась от тысячи киловатт. Соответственно, просто воткнуть титан в розетку было никак не возможно.

А про коммунальную уборную Иосиф Бродский писал: «По тому, кто как пернул, ты можешь опознать засевшего в клозете, тебе известно, что у него было на ужин, завтрак и обед».

Иногда на вход в уборную навешивали бумажку с надписью «занято», а на вход в ванную — либо «занято», либо «моются». К счастью, не было обычая обозначать характер жизнедеятельности в первом случае — только во втором.

Зато внутри в уборной мог висеть плакат с такой примерно надписью: «Граждане! Помните, что вы здесь не одни!»

В коммуналке вообще было много различных плакатов, как правило, собственного, кустарного изготовления.

\* \* \*

Со временем, после начала газификации, титан уступил свое место так называемой газовой колонке. Ее до сих пор многие помнят. Да что там помнят — в иных коммунальных и даже отдельных квартирах колонки висят по сей день — к сожалению, не все дома подключены к центральному горячему водоснабжению, особенно в провинции.

В СССР газификация началась лишь в 50-е годы прошлого столетия. А в Германии первые газовые колонки появились уже в 1895 году. У нас же первый проточный газовый водонагреватель (более «научное» название колонки) был выпущен в 1956 году на московском заводе «Искра». Прекрасно помню этот агрегат. Нечто белое, огромное, нависающее над ванной и, очевидно, опасное. В центре — черная пасть с оскаленными зубами — газовыми трубками. Под пастью — два довольно больших рычага, заканчивающихся черными шишками. Порядок действий был регламентирован вплоть до секунды, если ошибешься — дом должен

взлететь на воздух вместе со мной, мамой, бабушкой и любимой игрушкой — ярким металлическим снегирем. Сначала нужно пустить воду. Затем повернуть один рычаг. Потом засунуть в пасть устройства горящую спичку, да не просто засунуть, а подержать ее перед большим прокопченным отростком. Когда из отростка покажется язык синего пламени, нужно повернуть другой рычаг. Колонка грозно загудит, и языки синего пламени вырвутся уже из всех оскаленных зубов — но мир, вопреки ожиданию, не перевернется, и даже дом не взорвется. Просто из кранов через некоторое время потечет горячая вода. И в ванной, и на кухне.

В некоторых квартирах спички почему-то было недостаточно — сворачивали из газеты жгут, жгут поджигали спичкой, и уже его совали в пасть колонки.

Детские воспоминания всегда чересчур яркие, однако же не думаю, что, будь я там во взрослом состоянии, мои воспоминания сильно отличались бы от детских. Это и впрямь было страшное приспособление. Страшное и опасное — пожар от газовой колонки не был чем-то из ряда вон выходящим.

Потом, правда, появились более цивилизованные нагреватели — ленинградского завода «Газаппарат», с обыкновенной ручкой. Но тех, кто хотя бы раз в жизни видел газовую колонку производства «Искры», эта ручка не вводила в заблуждение. Они-то знали жизнь, они прекрасно представляли, что за ужасы могут скрываться за внешне благополучным фасадом колонки. И боялись. И боялись не зря.

Марк Алданов писал Вере Буниной, что его теща Анна Григорьевна как-то неаккуратно запалила газовую колонку, в результате в квартире произошел взрыв газа, на мелкие осколки разбилось стекло, и несчастная Анна Григорьевна получила травмы обоих глаз.

Вера Марковна Ландау, жена Марка Алданова, сделала к этому посланию приписку: «Дорогая Вера Николаевна, большое спасибо за все, что Вы пишете о маме. Я ей это передам, и она тоже очень тронута и просит Вас горячо поблагодарить. Доктор надеется, что зрение вернется, но поправка будет во всяком случае очень медленной. Конечно, глаза очень болят, и она почти все время лежит в темноте. Хуже всего, что она не может чи-

тать, она раньше только это и делала. Конечно, у нас теперь очень тоскливо».

А в наилучшем положении, естественно, оказывались дети. Александр Каплун вспоминал о коммунальной уборной: «Это, понятно, была самая горячая точка, особенно по утрам. Меня, слава богу, это не касалось — я имел личный горшок».

\* \* \*

Не менее конфликтной была также тема расхода и оплаты электричества в местах общего пользования. В «Правилах внутреннего распорядка в квартирах» от 1929 года значилось: «Рекомендуется счета за электрическую энергию раскладывать между пользователями последней пропорционально количеству свечей. Счета за газ — пропорционально количеству часов горения газа».

Поясню на всякий случай: на советском жилищно-коммунальном аргументе слово «свечей» означало «ватт». Якобы лампа 40 ватт светит так же, как 40 свечей, 60 ватт — как 60 свечей и т. д. Тот очевидный факт, что свечи могут быть разных размеров и даже одна свеча на разных этапах своего горения производит пламя разной яркости, в расчет почему-то не брался. Лампочки, кстати, тоже разные бывают.

Подсчитать все это было сложно. Но подсчитывали. Ошибались. Но терпели. Наиболее бесконфликтным (и одновременно наиболее сложным технически) был весьма распространенный способ, когда у каждой семьи были своя лампочка и свой выключатель. В первую очередь, конечно, в кухне. Реже — в санузле. В коридорах и прихожих до такого все-таки не доходило.

Увильнуть от почетной обязанности — принимать участие в оплате коммуналки — было проблематично. В том числе и потому, что в соответствии все с теми же «Правилами» от 1929 года все проживающие в коммуналке должны были «своевременно представлять ответственному по квартире уполномоченному сведения о своем положении и заработке, а равно и об изменениях в этом отношении».

Должность «ответственный по квартире» была нешуточной. Этих достойных людей утверждали на уровне



домоуправления. Он должен был следить за тем, чтобы жилье не портили, содействовать в сборе квартплаты (этим на протяжении нескольких десятилетий занималось упомянутое домоуправление), следить за соблюдением правил прописки, а также сообщать о всевозможных нарушениях «наверх» — все в то же домоуправление. Надо ли говорить, что «ответственные» могли всерьез испортить жизнь своим соседям и, соответственно, пользовались всеобщей подобострастной любовью. Эти люди могли, например, лишить жильцов талонов на дрова — за какое-нибудь незначительное прегрешение. И тогда нечем будет растопить свою буржуйку, а без нее — вообще погибель. А могли не лишать — в этом случае жизнь продолжается, под радостное потрескивание полешек в печурке.

Впрочем, не в таком уж густом масле катался этот сыр. Ответственные по квартире, несмотря на всю их власть, жили в тех же поганных условиях, что и все остальные участники этого торжества. Иосиф Бродский писал в некрологе Надежде Мандельштам: «Жила она в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимала квартуполномоченная, чья фамилия по иронии судьбы была — Нецветаева, а другую — Н. Я. Мандельштам. Комната была размером со среднюю американскую ванную — восемь квадратных метров. Большую часть площади занимала железная полуторная кровать; еще там были два венских стула, комод с небольшим зеркалом и тумбочка, служившая также и столом: на ней находились тарелки с остатками ужина, а рядом — английская книжка в бумажной обложке — “Еж и лисица” Исаяи Берлина. Присутствие этой красной книжки в каморке, и самый факт, что она не была спрятана под подушку, когда в дверь позвонили, как раз и означало, что передышка началась».

Полагаю, обе эти женщины были друг другом крайне недовольны.

\* \* \*

Надо ли говорить, что еще большей властью был домоуправ, а также приравненный к нему председатель жилтоварищества или домкома, начальник жилищно-коммунального товарищества и т. д. То есть примерно

то же самое, что ответственный по квартире, но уже в масштабах целого дома. А дом — весьма ресурсоемкое произведение. То есть взятки, взятки и еще раз взятки. Многие особо предприимчивые домоуправы плавно перемещались в тюрьмы и лагеря. Но такая перспектива мало кого останавливала. Каждый верил, что именно его не коснется печальная участь, милостиво обойдет стороной, что он сам вовремя остановится, почувствует, когда пора.

Словом, заигрывались.

Впрочем, и здесь случались исключения. Сергей Заяицкий в рассказе «Человек без площади» описывал редкостного в этой пусть общественной, но все же должности, милашку: «Управдом Агатов относился к жильцам мягко и как-то даже по-отечески, ворчал, шумел, но, в общем, никого зря не обижал и плату брал нормально. И жильцы правильно рассуждали: пусть ругает, лишь бы не обкладывал.

А в особенности любили и ценили его дамы... любили именно потому, что он поистине был их покровителем и при разводах, и при других зависящих от него обстоятельствах. Был управдом джентльмен.

Теперь он сидел у себя в квартире перед только что раскупоренной бутылкою русского хлебного вина и размышлял, выпить ли всю бутылку сразу или половину выпить, а половину оставить на завтра.

Поэтому, услышав стук в дверь, он недовольно крикнул: «Ну» — и, увидав Слизина, сказал: «Какого черта, граждане, вы ко мне на квартиру ломитесь, еще и в воскресенье... Есть для этого контора».

Но при этом, случайно взглядевшись в лицо Семена Петровича, прибавил он несколько мягче:

— Ну, что там? Налоги, что ли, все отменили?

Семен Петрович действительно имел вид до крайности ошалелый.

— Я бы не решился, если бы не такое дело... Просто такое дело...

— Ну, что?

— Вы себе вообразить не можете... только я очень попрошу, чтобы все это между нами... щекотливое дело.

Как ни силился управдом, а лицо его так и распухло от любопытства. «Наверное, с бабами что-нибудь», — подумал он.

— Да вы говорите, тут никто не подслушает. Эти — в церкви, а те — на собрании.

И он кивнул сначала на одну стену, потом — на другую.

— Видите ли, — начал Семен Петрович тихим и взволнованным голосом, — вчера вечером собрались у меня гостишки и стали баловаться.

— Канализацию, что ли, повредили?»

Интересно описал домовое начальство Феликс Кандель в книге «Житие девятой квартиры»: «Командовал в доме Кузьма Николаевич, ответственный управдом Зиновьев: крохотные усики под носом, кепка, рубаха навыпуск под пиджаком (не из купцов ли Зиновьевых, с Николо-Ямской? Торговля овсом — тоже не исключено). Работал при домоуправлении дружный совет содействия: общественница Таманцева со следами утерянной красоты, общественник Карт — кубик в петлице и сапоги со скрипом, тощенькая, бездетная, вне возраста и пола заеда-общественница со значком на груди “Отличный административный работник”. Томился за кумачовым столом и застенчивый интеллигент... нервно теребил замусоленный галстук, с содроганием ожидая неминуемой резолюции. Не дай Бог, поставят на одобрение, и придется повторять эту гадость, эту мерзость, написанную на невозможном языке, причмокивая за компанию, прихлебывая с видом знатока, изображая на лице райское блаженство: страшно выйти из ряда, боязно и неловко. Шебуршились и прочие энтузиасты, неисчислимы и бурливые, вечера проводившие в домоуправлении, что объяснялось высоким уровнем сознательности, невозможной квартирной теснотой да упразднением казенной винной лавки на углу Мерзляковского и Хлебного переулка».

Это, разумеется, художественный текст, но взятый, как говорится, не с бухты-барахты.

Еще один образ управляющего домом — а точнее, сразу несколькими домами — вывел сатирик Виктор Ардов в фельетоне «Вот что наделали твои справки»:

«Картина первая.

Домоуправление. Под вывеской, гласящей “Управдомами”, сидит величественный управдомами. Входит жилец.

Ж и л е ц (*скрамно*). Здравствуйте.

Управдомами (*величественно*). Привет!

Жилец. Вот какая штука... Мне бы надо справочку о том, что я проживаю у вас в доме.

Управдомами. Это еще зачем?

Жилец. Понимаете, не выдают мне иначе книгу, которая...

Управдомами (*перебивает*). Ну тогда пусть они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете.

Жилец. Да, но мне кажется...

Управдомами (*строго*). Вам кажется, а мы точно знаем. Принесете справку от них — получите справку от нас. Ясно?

*Жилец хочет что-то сказать, но, махнув рукой, уходит.*

Фельетон заканчивается назидательной сценой. Управдомами вызывает своему жильцу психиатрическую, но доктор, разобравшись, в чем тут дело, дает знак санитарам взять вовсе не жильца, а самого управдома. После чего вместе с жильцом отправляется на поиски таких же вредин: «Пошли. У нас есть указание всех подобных субъектов срочно изолировать».

Увы, в жизни все было не так. Недаром Остап Бендер на исходе романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» решает переквалифицироваться именно в управдомы. Этот персонаж всегда знал, с какой стороны намазан маслом хлеб.

\* \* \*

Разумеется, со временем обязанности ответственного по коммунальной квартире сделались неактуальными, да и ответственные постепенно утрачивали свои реальные очертания, оставаясь только на бумаге, а затем исчезли и оттуда. Я, во всяком случае, не помню никаких таких уполномоченных. Другое дело, что я и со «старшими по подъезду» не сталкивался никогда, однако же бумажки, извещающие о существовании подобных монстров, до сих пор встречаются на лестничных площадках.

А проблема с оплатой «за свет» была актуальной всегда. В электросчетчики вставляли спички, тянули себе в комнату контрабандные провода, подключенные

к общим жилам, а то и к соседской электрокормушке. Кто поумнее как-то перепрограммировал счетчики, заставляя их вращаться в противоположную сторону. Здесь важно было вовремя переключить их в правильный режим — ситуация, когда не жилец должен был государству за электричество, а, наоборот, государство — жильцу, вызывала вполне обоснованные подозрения.

\* \* \*

Кстати, не меньшим камнем преткновения был шум, создаваемый соседями. Существовал в свое время такой анекдот:

«Жили в советской коммуналке интеллигент и рабочий. Вероятно, не только они, но именно им посчастливилось жить через стену. Интеллигент после работы приходил домой, ужинал и ложился спать. А рабочий заходил в кабак и лишь потом возвращался домой. Сразу садился на кровать, швырял один сапог в стену напротив — как раз в ту, за которой жил интеллигент, — потом швырял второй, после чего ложился и засыпал сном идеологического праведника. Интеллигент же просыпался и потом долго не мог заснуть. Ясное дело, просил рабочего вести себя потише, но слишком уж интеллигентно просил — на соседа не действовало.

А тут вдруг раз — и подействовало. Швырнул один сапог и подумал: “А действительно, что это я? Он же тоже человек, тоже советский труженик, рано встает, на службу ездит на трамвае”. Снял аккуратно сапог и лег спать.

Через два часа к нему в комнату врывается интеллигент: “Ах ты сука, гад вонючий, жаба гнойная, когда же ты, козел безрогий, второй сапог бросишь?!”»

Проблема тишины в советских коммуналках стояла более чем остро. В одной квартире проживали люди слишком уж разные. Разных профессий, разного воспитания, с разным распорядком дня, по-разному эмоциональных и, в общем, не имеющие совершенно никаких мотиваций учитывать интересы друг друга. Чужие же люди.

Составители «Правил внутреннего распорядка в квартирах», принятых в 1929 году, пытались, естественно, регламентировать и этот вопрос. Ввели там особую строчку: «Ночной покой с двенадцати часов ночи».

Но все равно народ предпочитал жить так, как было проще и удобнее. То есть полностью игнорируя интересы соседей.

Михаил Кольцов писал в одном из фельетонов:

«Если вы член жилтоварищества, а стенки в квартире тонкие и над ухом у вас соседи круглые сутки жарят на граммофоне, да еще одну и ту же надоевшую, допотопную пластинку “Гайда, тройка, снег пушистый”, — садитесь и пишите жалобу.

А если уж пишете, — пишите с умом. Пишите по моде. Мода вся в начальных строчках:

“В правление жилтоварищества дома № 742 по Мелиоративно-Благовещенскому переулку. Копия граммофонной фабрике ‘Трудовой фокстрот’. Копия 96-му отделению милиции. Копия бюро секции здравоохранения при райсовете. Копия редакции газет: ‘Правда’, ‘Известия ЦИК’, ‘Рабочая Москва’, ‘Комсомольская правда’ и ‘Тудок’. Копия сектору контроля НК РКК СССР, товарищу Ройзенману. Копия международному кооперативному альянсу. Копия председателю ЦИК СССР тт. Калинину, Петровскому. Настоящим категорически протестую против незаконной и нарушающей правила общественного порядка игры на музыкальных инструментах, происходящих...”

— Откуда, — спросите вы, — такая мода?

Мода пошла сверху. От начальства. Из учреждений».

Но, несмотря на это, конфликт на почве соблюдения тишины был для коммуналок нормой.

---

## *Кто об кого? Дети в коммуналке*

Острее всего коммунальную жизнь воспринимали, естественно, дети. Клоун Юрий Никулин писал в книге воспоминаний:

«Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер пятнадцать по Токмакову переулку, показали на новенькую кроватку с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев кроватку, потрогав на ней блестящие шишечки, поглядев в выходящее во двор окно, я сказал родителям:

— Ну а теперь поедем обратно к бабушке в Демидов.

Когда же выяснилось, что мы никуда не поедем, а останемся здесь навсегда, я горько заплакал».

Так произошло его знакомство со своей первой в жизни коммуналкой. Впрочем, довольно скоро он освоился и даже начал получать некое удовольствие от новых жизненных форматов.

Жизнь, впрочем, была не сахар. Никулин вспоминал:

«В коммунальной квартире под номером один на первом и единственном этаже деревянного, с облупившейся зеленой краской дома мы занимали девятиметровую комнату. Окно с занавесочкой, зеленые обои, небольшой квадратный обеденный стол в углу, за ним же занимался отец, а я умудрялся делать уроки. Рядом — кровать родителей, здесь же сундук, на котором спали часто гостившие у нас родственники. По всем углам комнаты лежали кипы газет и журналов (отец запрещал их выбрасывать). На ночь из коридора для меня прино-

сили раскладушку. Это была деревянная походная кровать, проданная нам старушкой соседкой по двору. На ней во время Русско-японской войны спал в походах ее покойный муж, полковник Русской армии. Кроватью я гордился. Мне даже казалось, что она до сих пор пахнет порохом. Правда, в первую же ночь я провалился на пол: гвоздики, державшие мешковину, проржавели, да и сам материал прогнил. Раскладушку полковника на другой день отремонтировали, прибавив новый материал, и я спал на ней до окончания школы.

Остальные шесть комнат в квартире занимала семья Холмогоровых. Старики Холмогоровы — в прошлом домовладельцы — жили вместе со своими взрослыми сыновьями Гавриилом Михайловичем и Виктором Михайловичем, с их женами (я их называл тетей Галей и тетей Калей) и их дочерьми Ниной и Таней. Всего в квартире жило одиннадцать человек.

С девочками, двоюродными сестрами Таней и Ниной, мы учились в школе в одном классе. Часто вместе играли.

К счастью, наша квартира не представляла собой типично коммунальную. Двери во всех комнатах не имели замков. На кухне, где с утра до вечера жужжали примусы и звякала посуда, никто никогда не ругался: наоборот, кухня в нашей квартире стала своеобразным клубом, где шли душевные беседы женщин, обсуждались прочитанные нами книги или новый кинобоевик с Мэри Пикфорд в главной роли.

Наши семьи сближало то, что мой отец учился вместе с дядей Витей и дядей Ганей в одной гимназии.

Часто взрослые собирались в большой комнате — мы ее звали залой — послушать радио. Из Большого театра постоянно транслировались оперы. Наши мамы сидели с вышиванием в руках и, буквально млея, слушали Нежданову, Барсову, Лемешева, Козловского, Норцова. А мы, дети, любили проводить вечера в холмогоровской столовой. Усядемся за столом и, каждый занимаясь своим делом (я рисовал, выстраивал солдатиков, девочки шили платья для кукол), слушаем чтение Юлии Михайловны. Баба Юля, попыхивая папироской “Бокс”, читала вслух Майн Рида, Жюль Верна, Луи Жаколио.

В маленьком узком коридорчике, напротив нашей двери, стоял огромный, окованный железом старин-



ный сундук Холмогоровых. Это из его недр извлекались для домашних спектаклей пропахшие нафталином бабушкины салопы, кринолины, шляпы, котелки, цилиндры, кружевные пелеринки. Замок у сундука особый — с боем: повернешь в нем ключ, и слышится мелодичное — блим-бом... блим-бом... Однажды я сделал открытие: оказывается, если сильно ударить каблуком по стенке сундука, то тоже раздавалось блим-бом. Когда приходили ребята со двора, мы с Таней и Ниной демонстрировали музыкальность сундука.

В столовой у Холмогоровых висела в старинной позолоченной раме картина: портрет какого-то мужчины в парике, как у Ломоносова, с круглыми водянистыми глазами. Край холста у картины был прорван, лицо засижено мухами. Кто писал портрет и кто на нем изображен, об этом в семье никто не знал. Он достался по наследству от прабабушки бабы Юли.

Помню, подростком, запоем прочитав повесть Гоголя “Портрет”, я в тот же день выбрал момент, когда все разошлись по своим комнатам, прокрался в столовую и долго смотрел в глаза изображенному человеку, надеясь уловить в его взгляде что-нибудь мистическо-демоническое, но, сколько ни простоял, ничего не уловил. Потом, взяв столовый нож, я с трепетом исследовал все щели массивной рамы, ожидая, что вот-вот нож звякнет о спрятанное там золото. Конечно, никакого золота не звякнуло, лишь из щелей выползло несколько клопов».

\* \* \*

Публика в коммуналках была самая разношерстная. Соответственно, и детям приходилось общаться и даже приятьствовать с самыми неожиданными юными согражданами. Краевед Юрий Федосюк писал: «Много в нашем подъезде было детей бедных, полуголодных. Ходили они по-нищенски одетые: мальчишки — в драных, полудлинных штанах, девочки — в вылинявших, застиранных ситцевых платицах. Дети рабочих, выходцев из подмосковных деревень, многие на лето исчезали: “Я к бабушке в деревню поеду”. Но многие оставались на все лето в городе: пионерские лагеря в 1920-х — начале 1930-х годов были редкостью. С началом коллективизации все меньше детей уезжали к бабушкам и дедушкам в деревню — не до

них там было. Напротив, стали появляться ребята из деревни, которых сельские родители подкидывали на прокорм городским родственникам. Так появился однажды летом в нашем дворе Коля — хороший, порядочный парень, одетый в какие-то страшные лохмотья и вечно босой. Выяснив, что он послан на лето родителями-колхозниками, весь двор стал называть его Колхозник. Так звали его повседневно и вовсе не со зла — просто по месту происхождения. Он охотно откликнулся и играл вместе с нами. Только потом я понял, какой скверной пропагандой колхозов звучала эта кличка в применении к тощему, оборванному подростку, внешне выделявшемуся среди городских ребят. А ведь и городские были одеты не бог весть как, так сейчас никто детей не одевает».

\* \* \*

Исследователь городского быта Георгий Васильевич Андреевский об одной из них писал: «До сих пор мне вспоминается коммунальная квартира на Петровских линиях, напротив ресторана “Аврора”, потом “Пекина”, потом “Будапешта”, кошка Машка, обжора и распутница, девочка Ляля (ей было девять лет, а мне семь), с которой мы напились, когда на восьмисотлетие Москвы в квартире погас свет, а мы продолжали сидеть за столом и под покровом темноты что-то пить и чем-то закусывать, мальчишка Борька, который, прячась от своей бабки Дуняши, говорил мне: “Давай схоронимси!”, его старшая сестра Настька, горькая пьяница, которую однажды нашли спящую голой и пьяной на Центральном рынке, три сестры: Роза, Марьяна и Антонина Агранян, чудесные, добрые женщины, родной брат которых, Сергей Иванович Агранян, был автором слов песни “Я по свету немало хаживал”, ставшей теперь гимном Москвы, и другие милые сердцу люди».

Но сейчас и это в прошлом. Элитное жилье опять стало элитным.

\* \* \*

Если взрослых коммунальный быт хотя и в разной степени, но все же угнетал, то дети его воспринимали как данное. И даже находили удовольствие в том,

что живут такой большой коммуной. Александр Каплун вспоминал: «У дяди Яши был сын — Мишка... Мишку воспитывали наиболее сурово. Это можно было регулярно слышать через перегородку. Воспитывала мать. В их комнате прыгали мы со шкафа на кровать с тремя подушками пирамидой, как бы с парашютом. Это также почти всегда кончалось воспитанием».

Взрослые могли конфликтовать со всей жесткостью двуногих, а дети при этом самозабвенно носились наперегонки по бесконечному коммунальному коридору или, напротив, спокойно играли в различные тихие игры. К примеру в лото. Или же в незаслуженно забытую игру под названием «бирюльки». То есть эта игра в наши дни знаменита, но, так сказать, опосредованно. Бирюльки стали символом бессмысленного времяпровождения. «Мы здесь не в бирюльки играем!» — крикнет иной чиновник, чтобы подчеркнуть серьезность и значительность своей чиновничьей конторы. Между тем эта игра и увлекательная, и полезная. Как сейчас говорят, развивающая.

Правила элементарны. На столе в кучку сваливаются маленькие предметы. Чем меньше, тем лучше. Желательно, чтобы они были разными. Задача играющего — с помощью крючка или же просто пальцами вытащить из кучки очередную фигурку, не потревожив остальные. Если какая-нибудь из оставшихся изменит свое положение — ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто соберет больше трофеев.

В качестве фигурок могут быть случайные предметы — пуговицы, запонки, булавки, гайки — что угодно. В крайнем случае сойдут обыкновенные соломинки. Однако же в дореволюционной России существовала целая культура изготовления бирюлек. Чего там только не было! Миниатюрные предметы мебели, столовые приборы, лошадиные оглобли, башмаки, велосипеды, лодки, флейты, пистолеты, домики. Материал — тоже самый разнообразный, от простого дерева до ценного поделочного камня и слоновой кости. Как правило, эти бирюльки сохранялись с дореволюционных времен. Размеры позволяли перетаскивать их из квартиры в квартиру, а невысокая цена делала кражу бирюлек практически невозможной. Единственно, как можно было лишиться бирюлек — это их потерять.

Разумеется, во время игры развивался и глазомер, и

аналитическое мышление, и мелкая моторика — пользу игры в бирюльки трудно переоценить.

Кстати, само название «бирюльки» произошло от восточнославянского слова «бирать», то есть «брать».

\* \* \*

И, конечно же, традиционное для коммуналки кухонное воровство в детском исполнении приобретало совершенно иное содержание. Вот, например, воспоминания протоиерея Бориса Куликовского:

«Я дождался, когда и внизу, в подъезде, тоже хлопнула дверь, только тогда откинул крючок, слез со стула и высунулся в коридор. Затем, избегая ступать на скрипучие паркетины, прокрался на кухню — так и есть! В широкой плоской сковородке — я уже хорошо изучил эту черную их чугунную сковородку с такими же черными, никогда не счищаемыми, солоноватыми на вкус пригарками снаружи по ободку, — в этой сковородке тихо шипела, поджариваясь на медленном огне, сырая картошка, порезанная мелкими ломтиками, видневшимися из-под неплотно прилегающей крышки...

Не притрагиваясь к крышке, чтобы случайно не звякнула, я двумя пальцами осторожно вытянул из-под нее свисавший через край тоненький подрумяненный ломтик, в виде лодочки, с загнутыми в дужку коричневыми концами. «Все равно он почти сам уже опрокинулся и все равно, что упал», — подумал я, отправив его в рот, надкусил, но дальше ломтик вдруг с хрустом рассыпался во рту и растаял, я даже вкуса его не распробовал, так что волей-неволей пришлось потянуть со сковороды еще такую же лодочку».

Впрочем, в этот раз последовало наказание. Правда, символическое: «Вечером я во дворе гулял, мы с ребятами в колдунчики играли, и я водил, когда мама позвала меня. Она под аркой стояла в воротах. Подхожу — мама каким-то долгим незнакомым взглядом посмотрела на меня, молча повела домой.

В передней, когда мы вошли, Елена Владимировна перебирала вещи в тумбочке, у себя за шкафом.

— По головке, по головке его погладь, — сказала она, поворачиваясь к нам, — ворье проклятое! Один жулик, и этот такой же. Семейка!

Мы вошли в комнату. Мама первым делом зачем-то заперла дверь на крючок, скинула пальто. Затем, все еще ни слова не говоря, достала из шкафа широкий кожаный ремень, тот самый, на котором папа всегда, как бриться, накинув пряжку на оконный шпингалет, правил бритву, а я еще держался за болтавшийся внизу свободный конец, сложила ремень вдвое и что есть духу — как хлопнет им о стол!

— А ты будешь?.. Ты будешь еще?.. — вскрикивала мама страшным голосом, гоняясь за мною вокруг квадратного стола, стоявшего посреди комнаты, но почему-то никак не догоняя, несмотря на то, что я сам несколько раз врзался в маму и тотчас с воем кидался в обратную сторону, прочь от маминого топота и оглушающих, разрывающихся, как снаряды, совсем где-то рядом за моей спиной, слышных, наверно, на улице, хлопков толстого кожаного ремня по столу».

\* \* \*

А впрочем, дети детям рознь. Юрий Нагибин писал в мемуарах:

«Видимо, революция не смогла уничтожить вместе с сотнями тысяч бар неизъяснимого очарования барства.

Холуями — мама не вкладывала презрительного, уничижительного смысла в это слово, просто констатировала социальную принадлежность — были: и хранительница моих детских лет, добрый гений дома, любимейшая из любимых Вероня, и ее сестра, чудесная Катя, недолгое время состоявшая в моих няньках, и те огромные семьи, что вселялись в освобождающиеся со смертью или по другим причинам убывания моих родных комнаты некогда принадлежавшей нам целиком квартиры, любая обслуга, будь то дворник, истопник, монтер, продавец в магазине, парикмахер, зеленщик из деревни, привозивший на розвальнях квашеную капусту и соленые огурцы, молочница с жестяными бидонами, пахнущими антоновским яблоком, холуем был и управдом, первый представитель советской власти в моей жизни, которого я почитал, боялся и ненавидел.

Меня удивило сунувшееся под перо слово “почитать”. Неужели я “почитал” мрачного, молчаливого, с ножевым выблиском утрюмого взгляда исподлобья холуя

Дедкова? Да, таково было предписанное дедом, главой семьи, отношение всех, кроме матери, позволявшей себе взбрыкивать, к молодой, смертельно опасной власти. Этот урок рабства остался со мной на всю жизнь. К любому начальству, встречавшемуся мне на моем пути: руководителям Союза писателей, партийным секретарям разного ранга, вызывавшим меня на правож, директорам издательств, главным редакторам журналов и газет, армейским командирам в дни войны, — я относился с ненавистью, презрением и почтением, благодарный им за все то зло, которое они могли мне сделать, но делали не до конца».

И продолжал свою мысль: «Вернемся к холуям. Они делились на тех, кто зависел от нас: Вероня, ее многочисленная родня, соседи, бесплатно лечившиеся у моего деда, — как во всех холуйских семьях, у них беспрерывно болели дети всеми подряд инфекционными болезнями (дыша этим пропитанным микробами воздухом, я ни разу ничем не заразился), и на холуев, которые от нас не зависели, — их мы побаивались, опять же все, кроме мамы. Таким образом, первое различие людей, открывшееся мне, лежало в области социальной, хотя я не уверен, что это слово подходит, ведь интеллигенция — не класс, а прослойка, холуи же вообще понятие аморфное. Но читатель поймет, что я имею в виду».

\* \* \*

Кстати, дети в коммуналках были потрясающим источником всякого рода информации для взрослых. Не всегда, впрочем, благоприятной.

На заре своей жизни я обретался в густонаселенной коммуналке. Во избежание всякого рода аварий меня старались лишний раз из комнаты не выпускать. При этом разговоры велись откровенные. В том числе обсуждались соседи.

Как-то раз, однако же, не усмотрели. Я болтался в общем коридоре, когда открылась входная дверь и вошла миловидная женщина. Я ее раньше не видел. Женщина же не видела меня. Стала говорить всякие полагающиеся к этому случаю ласковые слова, угостила конфетой. Я вполне серьезно доложил, что, в принципе, мне запре-

щают брать что-либо у чужих, но на такую замечательную тетю этот запрет, видимо, не распространяется.

Слово за слово, я очаровывался «тетей» все больше и больше, а она, по всей видимости, мною. Но всему наступает конец — и нашему милому общению тоже. Тетя достала еще один ключ и принялась открывать соседнюю дверь.

— Не ходите туда! — закричал я. — Там змеи живут! Они очень плохие! Мне бабушка рассказывала!

Я схватил женщину за руку и принялся оттаскивать ее от двери. Женщина медленно сползала с лица — до нее начал доходить смысл сказанного мною.

Неудивительно, что в случае коммунального конфликта милиционер, прибыв «на адрес», первым делом принимался разговаривать с детьми. Присаживался на корточки, широко улыбался, вручал пресловутую конфету, давал потрогать кобуру — этаким добрым дядя Степа. И дети взахлеб выбалтывали тайны коммунального жилья.

---

## *Кто про что? Общий досуг*

Хочешь не хочешь, а люди, даже помимо своей воли оказавшиеся вместе в одном сильно ограниченном пространстве, постепенно притирались друг к другу, начинали общаться и даже проводить вместе свободное время. Одним из популярнейших героев коммунального совместного досуга на протяжении практически всей коммунальной эпохи был патефон. Правда, поначалу этот незамысловатый девайс был редкостью. Но его проникновение в советский быт с каждым годом делалось все ощутимее.

Патефоны продавали на Мясницкой. Газетная реклама сообщала: «Грампластрест открывает музыкальный магазин на Мясницкой, 20. Кроме различных музыкальных инструментов, будут продаваться и портативные граммофоны (патефоны). Фабрики пока не могут удовлетворить выросший спрос на патефоны полностью, поэтому патефоны будут отпускаться в первую очередь ударникам по ордерам, распространяемым через организации».

Там же продавались и пластинки.

Вот все собираются — вымытые, принаряженные. Женщины с праздничными прическами, для которых волосы накручивали на бигуди. Мужчины при галстуках, набриолиненные. В просторный коммунальный коридор выносятся табуретка — толстоногая, устойчивая, покрытая густым слоем коричневой масляной краски. На нее торжественно водружается патефон. От-



крывается крышка. Вставляется игла в звукосниматель. Тщательно выбирается пластинка. Например Петр Лещенко. Протирается мягкой фланелью. Ставится на патефон. Вращается ручка — закручивается пружина.

Наконец-то пластинка начинает вращаться — 78 оборотов в минуту. Долгожданное потрескивание. Первые аккорды. И — завораживающий голос всенародного кумира:

Ах, эти черные глаза-а-а-а  
Меня плени-и-и-или...

Непередаваемый восторг.

Разве что приходилось следить за патефонными иглами — они могли просыпаться, к примеру, на диван и причинить кому-нибудь из веселящихся довольно ощутимый дискомфорт. (В скобках отметим обилие всяческих игл: игла для примуса, швейная игла, игла для патефона — просто не коммуналка, а какой-то дикобраз.)

«У Зубковых патефон, слышится шарканье подошв — значит, фокстротируют», — писала одна из современниц.

Патефон был символом достатка. Писатель Александр Рекемчук вспоминал о своем детстве:

«У нас, как и у всех достаточных советских людей, конечно, был патефон. Не граммофон — деревянный ящик с жестяным раструбом, а патефон, чемоданчик с откидной крышкой, диском, мембраной и заводной ручкой. Вот к нему-то из своих дальних странствий Рекемчук и привозил новые пластинки. На этих пластинках — мне их давали в руки, подержать — была наклейка: белая собака, слушающая музыку с граммофона, того самого, старинного, с раструбом. Это была этикетка фирмы Пате, то есть пластинки были привезены из-за границы — из Берлина, из Парижа, из Праги, — в доме не делалось особого секрета из того, что отец бывал именно там, а не в ближайшей загранице, Кишиневе.

Вот эти-то пластинки и собирались послушать гости. Под них же танцевали — фокстрот, танго, чарльстон.

Эти мелодии и ритмы мне приходилось слышать и позже, когда я уже подросток и сам стал посещать танцаль-

ки, приглашал, еще стесняясь и волнуясь, первых девочек. “Маненька Манон”, “Риорита”, “Инесс”...

Но главным впечатлением моего детства — и, как я догадываюсь, главным сюрпризом для гостей, — были песни Александра Вертинского».

Неудивительно, что многие воспринимали патефон как средство для вложения денег. Один из наших соотечественников записывал в 1937 году в дневник: «Сегодня вот купили патефон и штук 20 пластинок. Вечером уже патефон гремит... Весело и хорошо. Патефон стоит 175 рублей и каждая пластинка по 2-90. В случае какой нужды — продадим. Возьмут нарасхват, а пока пусть будет наш».

Мало кто знает, — впрочем, и тогда мало кто знал, — что патефон — изделие военное. Первоначально он был предназначен для развлечения английских солдат на позициях. Первый экземпляр был снят с конвейера в 1913 году.

Название происходит от фирмы «Пате». Именно она — одна из многих — начала поставлять свою продукцию в Россию, еще до революции.

«Патефоны и пластинки “Пате” к ним», — завлекала реклама дореволюционных торговых домов.

Слово «патефон» было в ходу только в нашей стране — в других государствах его называли иначе. Граффон, фонограф или просто «говорящая машина».

Правда, в советское время производство этой штуки освоили более десяти отечественных заводов, в том числе шесть специализированных. Они так и назывались — Владимирский патефонный завод, Коломенский патефонный завод, Ленинградский патефонный завод.

Патефон — гениальное изобретение. В первую очередь из-за того, что он, имея сравнительно небольшие размеры и совершенно не нуждаясь в электричестве, мог выдавать звук громкостью 80—100 децибел. А что еще нужно обычным обитателям советских коммуналок? Правда, засада состояла в том, что этот звук вообще никак не регулировался. 80 децибел — значит, 80 децибел, и никак по-другому. Впрочем, коммунальный обыватель и в этом тоже мог увидеть определенный кайф. Как минимум он полностью был застрахован от требований соседей сделать звук патефона потише.

Зато в теплый летний вечер эту громогласную машину можно было выставить на подоконник — и тогда под хриплый звук заезженных пластинок мог танцевать весь двор.

Правда, еще существовали и патефоны «Малютка», они же «пляжные». Этот девайс был размером со школьный учебник, пластинка сильно выступала за его габариты, звучал он тише и притом противнее и особой популярностью не пользовался. Если что, на тот же пляж можно было взять и настоящий патефон.

Юрий Трифонов писал в романе «Дом на набережной»: «Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона».

Кстати, за определенную сумму можно было изготовить патефонную пластинку собственного исполнения. Интересно, что, как правило, это были не песни, а нечто гораздо более романтическое, например признания в любви. Психологически было гораздо проще подарить пластинку в нарядном конверте, чем произнести заветные слова глаза в глаза. У поэта Дмитрия Кедрина даже есть стихотворение «Пластинка» (1939):

Когда я уйду, —  
Я оставлю мой голос  
На черном кружке.  
Заведи патефон,  
И вот,  
Под иголочкой,  
Тонкой, как волос,  
От гибкой пластинки  
Отделится он.

Немножко глухой  
И немножко картавый,  
Мой голос тебе  
Прочитает стихи,  
Окликнет по имени,  
Спросит:  
«Устала?»,  
Наскажет  
Немало смешной чепухи.

И сколько бы ни было  
Злого, дурного,

Печалей,  
Обид, —  
Ты забудешь о них.  
Тебе померещится,  
Будто бы снова  
Мы ходим в кино,  
Разбиваем цветник.

Лицо твое  
Тронет волненья румянец.  
Забывшись,  
Ты тихо шепнешь:  
«Покажись!»

Пластинка хрипнет  
И окончит свой танец —  
Короткий,  
Такой же недолгий,  
Как жизнь.

Это стихотворение было написано в 1939 году, можно сказать, на пике увлечения патефонами. Пик продолжался и после войны. Музыкант Алексей Козлов вспоминал:

«В послевоенной жизни в быту советских людей огромное значение имел патефон. Он скрашивал жизнь в самые трудные ее периоды. Его заводили дома, во дворах, на пикниках, на всех сборищах, свадьбах, именинах, праздничных вечеринках. Распространившийся уже в 50-е годы электрофон отнюдь не сразу вытеснил своего предшественника. Патефон, не требовавший подключения к электророзетке, можно было носить с собой куда угодно, во двор, за город, в гости... Где-то в конце 40-х наша промышленность выпустила новую модель портативного мини-патефона с выдвигающейся трубой. Я уговорил отца купить его и стал собирать пластинки, постоянно посещая магазин культтоваров около Савеловского вокзала. После войны стали появляться замечательные лирические песни, сменившие суровые военные. Многие из них были посвящены колхозной тематике. Очевидно, это было результатом какой-то целенаправленной политики. Песни были одна мелодичнее другой, весь народ дружно пел их тогда, проявив массовые музыкальные способности. Это были “И кто его знает”, “Одинокая гармонь”, “За дальнею око-

лицей”, “Сирень-черемуха”, “Влюбленный бригадир”, “Каким ты был” и многие другие. Все эти песни сыграли неоценимую роль, поднимая настроение и работоспособность в немыслимом процессе восстановления жизни разрушенной страны. К привычным голосам Утесова, Бернеса, Козина и Руслановой стали добавляться более сладкие тембры Бунчикова и Нечаева, Виноградова, Розы Баглановой...

С наступлением полового созревания подошло к концу дворовое детство с его играми, пионерско-блатными песнями и романтикой всеобщей бесполой дружбы. Повзросление привело к распаду прежних компаний, к полной смене интересов и неожиданно обнаружило большие различия между вчерашними друзьями, различия, на которые еще вчера никто из ребят не обращал внимания. У одних родители были интеллигентами, у других — рабочими или служащими, а то и просто ворами и алкоголиками. У некоторых ребят просто не было родителей, а жили они у каких-то родственников, теток, бабок, а родители либо их бросили, либо пропали во время войны. В детской дружбе это не имело значения, но когда начали появляться новые интересы и запросы, связанные с тягой к женскому полу, когда бывшие девочки стали превращаться в привлекательных девушек, различия стали ощутимыми. Если раньше я выходил во двор исключительно либо с футбольным мячом, либо с хоккейной клюшкой, либо с мелочью и биткой для игры в расшибалку, то теперь я появлялся не иначе как с патефоном и пластинками. Танцы во дворе были первыми попытками научиться как-то по-новому общаться с девушками, так как выяснилось, что прежние равноправные взаимоотношения с ними окончились, что теперь они имеют какую-то власть над нами, и мы должны научиться играть в некую новую, увлекательную игру с ними, соблюдая пока неосвоенные правила».

\* \* \*

Главный риск в эксплуатации патефона — сорвать пружину во время завода. А заводить его приходилось постоянно — одного цикла хватало на несколько песен. Крутишь, крутишь рукоятку, чуть отвлекся — щелк, и всё, кончились танцы.

Впрочем, я в своем далеком детстве сломал наш коммунальный патефон иначе — выгнул какую-то пластину и она стала скрежетать о край вращающегося диска. Скрежет, усиленный до обещанных 80 децибел, слух явно не ублажал, а согнуть пластину обратно никак не получалось — мешал корпус патефона. Также не было возможности и отвинтить погнутую деталь, выгнуть обратно и установить на место — она была намертво прикреплена заклепками и не отвинчивалась.

Впрочем, к тому времени у нас уже существовал магнитофон «Комета-2», патефон воспринимался скорее как технологический курьез, а в этом качестве он был пригоден даже со скрежетом.

Словом, не велика потеря.

\* \* \*

Действительно, уже в 1960-е годы в советских коммуналках стали появляться первые катушечные магнитофоны. Поначалу они мирно сосуществовали с патефонами, ничем не угрожая последним. Неудивительно — ведь патефон не имел электрических коммуникаций, переписать пластинку на магнитофон можно было лишь с помощью микрофона. Многие, кстати, так и поступали. Но несложно представить себе, каким было качество записи, вобравшей в себе весь букет недостатков — от самой пластинки, от несовершенства патефонной конструкции, от примитивного микрофона, примитивного лампового магнитофона, многократно зажеванной ленты и сипатых электродинамиков, встроенных в деревянный магнитофонный корпус. И, разумеется, на качество сильно влияли посторонние шумы, от которых в коммуналке деться было некуда.

Словом, конкурентами эти девайсы не были.

С первыми так называемыми «бытовыми» магнитофонами — как и первыми патефонами — все обстояло не так просто. Они входили в быт со скрипом, обусловленным тремя серьезнейшими факторами — дороговизна и дефицит магнитофонов, дороговизна и дефицит пленки, а также низкое качество того и другого. То есть, даже затратив огромную сумму и пройдя все круги ада, счастливый владелец магнитофона вместе с тяжелым деревянным ящиком получал множество проблем,

связанных с обслуживанием этой техники. Головки (а их было три — записывающая, стирающая и воспроизводящая) приходилось все время подкручивать и протирать ваткой со спиртом так называемые пассики (черные, сильно пачкающиеся резиновые кольца) — постоянно подтягивать, время от времени менять на новые. Лента рвалась, ее склеивали. В комнате стоял противный запах ацетона. Деньги продолжали уходить и уходить.

А звук все равно оставлял желать лучшего.

Но все равно магнитофон притягивал — в первую очередь возможностью обмениваться контентом. Особенно это касалось диссидентов — они помимо музыки распространяли всяческие запрещенные лекции, свободолобивые стихи, особенно смелые монологи Аркадия Райкина, концерты Высоцкого (целиком, не только песни), а также духовные проповеди. В частности, пользовались особой популярностью проповеди духовника Александра Солженицына, протоиерея Всеволода Шпиллера, служившего в московском храме Святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе (в Вишняковском переулке).

По аналогии с гораздо более известным самиздатом это явление называли «магнитиздат».

И неудивительно, что магнитофон часто использовался в отечественном кинематографе как показатель высокого социального статуса героя. В частности, в «Служебном романе» в автомобиле Самохвалова установлен кассетный стереопроигрыватель «Philips N2607», а в фильме «Джентльмены удачи» бандит Косой делится своими планами: «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту».

Галич же пел в одной из своих песен:

Вы такие нестерпимо ражие  
И такие, в сущности, примерные.  
Все томят вас бури вернисажные,  
Все шатают паводки премьерные.  
Ходите, тишайшие, в неистовых,  
Феями цензурными заняньканы!..  
Ну а если — ни премьер, ни выставок?  
Десять метров комната в Останкино,  
Где улыбкой стражники-наставники

Не сияют благостно и святочно,  
Но стоит картина на подрамнике, —  
Вот и все!  
...А этого достаточно...

Время сеет ветры, мечет молнии,  
Создает советы и комиссии,  
Что ни день — фанфарное безмолвие  
Славит многодумное безмыслие.  
Бродит Кривда с полосы на полосу,  
Делится с соседской Кривдой опытом!  
Но гремит — напетое вполголоса,  
Но гудит — прочитанное шепотом.  
Ни партера нет, ни лож, ни яруса,  
Клака не безумствует припадочно, —  
Есть магнитофон системы «Яуза»,  
Вот и все!  
...А этого достаточно.

Шел 1966 год.

\* \* \*

Катушечные магнитофоны, постоянно совершенствуясь, существовали примерно до 1980-х годов, после чего их сменили кассетные. К тому времени патефоны давно уже вытеснились стереофоническими электропроигрывателями, а жители коммуналок по большей части разъехались по отдельным квартирам.

\* \* \*

Переход от патефона к магнитофону проходил на фоне царствования еще одного звуковоспроизводящего девайса — радиолы. Первая радиола была сделана в 1922 году в Америке и получила свое яркое название не в честь радио, как полагало подавляющее большинство жителей коммуналок, а в честь суккулентного растения родиолы розовой (*Rhodiola rosea*), активно произрастающей на территории Северной Америки, а также в России. Родиола розовая, или золотой корень, активно продается в аптеках и, как утверждают производители, способствует адаптации организма и к внешним, и к внутренним неисправностям.

Производители «Радиолы» ничего вообще не утвер-



ждали. Новшество американской компании «RCA» ворвалось в мир и сразу же завоевало его. Смысл радиолы заключался в том, что в одном корпусе объединялось сразу несколько устройств. Чаще всего радиоприемник и проигрыватель.

Первая отечественная радиола была выпущена в 1938 году на Александровском радиозаводе и называлась на редкость уныло: «Супергетеродин всеволновой с граммофонным электропроигрывающим устройством, консольный». Сокращенно — СВГ-К, что, впрочем, нисколько не лучше.

Существовало несколько функциональных разновидностей радиолы. Магнитола — радиоприемник и магнитофон. Магниторадиола — радиоприемник, магнитофон и проигрыватель. Телерадиола — радиоприемник, телевизор и проигрыватель. Телемагнитола — радиоприемник, телевизор и магнитофон. Во всех этих чудо-изделиях, разумеется, присутствовали усилитель и колонки.

А теперь немного Окуджавы, «Песенка о Лёньке Королёве»:

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,  
Где пары танцевали, пыля,  
Все ребята уважали очень Лёньку Королёва,  
И присвоили ему званье Короля...

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,  
Разорвали на рассвете тишину,  
Наш Король, как король — он кепчонку,  
как корону —  
Набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,  
Но некому оплакать его жизнь.  
Потому что тот король был один, уж извините,  
Королевой не успел обзавестись.

Разумеется, из этой песни нельзя сделать вывод, что радиолы были широко распространены в СССР до Великой Отечественной. Но в арбатских элитных дворах, воспеваемых Булатом Шалвовичем, они явно не были в диковинку. Как до войны, так и после.

Вопреки устойчивому мнению о неспособности СССР произвести качественное серийное высокотех-

нологическое изделие для массового потребления, радиолы отличались и надежностью, и чистым звуком. Говорили, что советские радиолы — единственное, что переживет ядерную войну (была такая фобия в эпоху «железного занавеса»). А концерты классической музыки слушали на радиолах даже самые заправские меломаны.

Покупка радиолы была знаковым событием. Вот воспоминания одного из обывателей, относящиеся к 1955 году:

«Наконец-то мы купили себе приемник “Урал-53” — радиолу. Хотя я заплатил за нее очень дорого — 1400 рублей, да пропили еще 100 рублей, зато уже купили то, что хотели. Это было в воскресенье. Я зашел с работы к Батуеву, потом зашли к его знакомому и хотели ехать смотреть “Мир”, но я увидел у него “Урал-53” и стал просить, чтобы он лучше мне его продал. Тот согласия не давал, потом мы все сели в машину и поехали к его жене в магазин на Бахаревку. Там ее уговорили, и он согласился мне продать приемник. Цену я такую дал им сам. Потом заехали к нам, оставили ребятишек Георгия у нас и поехали за приемником. Когда мы вернулись, Зина уже кое-что приготовила. Посидели у нас, выпили, послушали пластинки, которые брал с собой этот паренек. Они очень хорошие и до сих пор лежат у нас. Слушаем помаленьку.

На другой день я купил комнатную антенну и уже сделал ее. Сейчас ловится много станций, но какие, я еще не знаю».

Радиолы выпускало множество заводов. Но наибольшей популярностью пользовались изделия рижского завода «Radiotehnika». Он был основан еще в 1927 году Абрамом Лейбовицем. Он покупал всяческую радиоаппаратуру за границей, в Германии, разбирал ее на отдельные детали, перевозил эти детали — под видом деталей, естественно, — через границу, у себя в Риге снова собирал и продавал. Так было выгоднее всего в смысле налогов.

Так продолжалось до прихода к власти Гитлера. При фюрере выходит запрет на сотрудничество с иностранными партнерами еврейской национальности, и Лейбовицу наконец-то пришлось заняться производством собственных девайсов. Он пригласил к себе в штат инженера Александра Аписитиса — и преуспел еще больше.

Самой же популярной была радиола «Фестиваль», выпущенная Рижским заводом к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, проходившему в 1957 году в Москве. Это было, пожалуй, ярчайшее событие хрущевской «оттепели».

Помимо всего прочего, к фестивалю выпустили и одноименную радиолу. По тем временам она была техническим совершенством. Достаточно сказать, что у «Фестиваля» был пульт дистанционного управления. Конечно, проводной, страшненький и ужасно тяжелый — вес его вместе с шестиметровым кабелем составлял 1,75 килограмма (сама радиола весила 24,5 килограмма). Но все-таки пульт. Дистанционного. Управления.

Радиолу представили лично Никите Сергеевичу. Он пришел в детский восторг — как известно, генсек был способен на выброс эмоций. «Фестиваль» поставили на конвейер, и в результате эта радиола вышла каким-то совершенно немыслимым тиражом.

Тем не менее предметом роскоши радиола перестала быть уже в 1960-е. Достаточно громоздкую для коммуналки, ее все-таки охотнее приобретали в новые, отдельные хрущевки. Впрочем, на то была еще одна причина. Именно на радиолах лучше всего ловились так называемые «вражьи голоса» — радиостанции «Свобода», «Би-би-си», «Немецкая волна», «Голос Америки», «Свободная Европа» и т. д. А слушать эти станции в перенаселенных коммуналках, среди которых обязательно найдется чрезмерно бдительный товарищ, было, мягко говоря, небезопасно.

Еще в 1973 году корреспондент Ижевского телевидения выступал перед зрителями: «Новинка Сарапульского завода имени Орджоникидзе может украсить любую квартиру. От своих предшественниц радиола отличается улучшенной акустикой и повышенной чувствительностью настройки, в ее клавишах применена алмазная расточка. Изменена шкала, изящнее стал внешний вид, корпус покрыт полиэфирным лаком».

Но по большому счету уже было ясно: если не дни, то годы радиолы сочтены. Даже невзирая на алмазную расточку в клавишах.

А в 1949 году во Владимирской области на Александровском радиозаводе началось производство первого общедоступного телевизора. Он назывался «КВН-49». Буквы обозначали фамилии авторов этого изобретения — Кенигсон, Варшавский и Николаевский. А число 49, как нетрудно догадаться, год начала выпуска. В 1961-м, сразу же после снятия этого телевизора с производства, в честь него назвали популярную телеигру. Ведь «Клуб веселых и находчивых» — это тоже КВН, и авторы сначала взяли аббревиатуру — от телевизора, а уже затем подставили под нее подходящие слова. Можно предположить, что если бы тогдашний телевизор изобрели бы, например, Савельев, Жуков и Ульянов, то и программа тоже называлась бы «СЖУ» — «Союз жизнелюбов и умников». И так далее.

Популярность этого девайса росла лавинообразно. Следом за Александровским радиозаводом к производству «КВН-49» приступили Бакинский радиозавод, воронежский завод «Электросила», киевский завод «Маяк», ленинградский завод «Россия», ленинградский же НИИ телевидения, нижегородский завод «Квант», Московский радиозавод. Кажется, что везде, где только было можно собрать телевизор, этим весело и активно занимались.

К моменту выпуска «КВН-49» в СССР уже существовало телевизионное вещание — несколькими годами раньше были созданы телевизоры, предназначенные для общественного просмотра передач. Новое устройство было в состоянии принять целых три телеканала. Правда, на большее он не был способен, но это «большее» от него и не требовалось, в стране первое время вообще существовал всего один канал. Второй возник лишь в 1960 году.

Можно было настроить контрастность и яркость — в минимальных пределах, естественно. Да и вообще — какие при такой картинке яркость и контрастность! Но тогда люди радовались и азартно вращали крутилки.

Экран у телевизора был очень маленьким — его диаметр составлял всего 18 сантиметров. Вес телеприемника при этом был под 30 килограммов. И то и другое составляло нештучные неудобства. Особенно пер-

вое — если учесть, что поначалу телевизоры были в диковинку, и на просмотр чудо-ящика сходились все обитатели коммунальной квартиры.

Этим, кстати, часто пользовались воры-домушники. Сверившись с телевизионной программой, они в нужный момент — когда шло что-нибудь особенно интересное — тихонько входили в квартиру, моментально определяли, из-за какой двери доносятся громкие звуки, и быстро обчищали остальные помещения.

Для компенсации размеров экрана к телевизору прилагалась пустотелая линза, которую заполняли либо водой, либо глицерином. У линзы внизу были лапки — их подсовывали под корпус телевизора. Что мешало сразу же предусмотреть в конструкции подобную деталь, история умалчивает. Зато дети были счастливы — будучи от природы шкодливыми, они выпускали в линзу аквариумных рыб. Но это не так уж и страшно — все равно воду в линзе следовало регулярно менять на свежую.

Судя по документации, линза увеличивала изображение в четыре раза. Судя по сохранившимся фотографиям и музейным экспонатам — значительно меньше. Зато угол обзора — и без того очень маленький — она ограничивала ощутимо.

Кроме того, первые «кавээны» отличались крайней ненадежностью. Барахлил и отправлялся в ремонт каждый второй телевизор. В результате в народе появилось еще два варианта расшифровки второй по популярности (после СССР) в те времена аббревиатуры: «купил — включил — не работает» и «крутанул — вертанул — не работает». Кроме того, у телевизора был очень скверный звук.

Но ради чудо-ящика народ готов был хоть еженедельно отстаивать очередь в ремонтную мастерскую и улаживать свой слух скрипом и шорохами. А в промежутках между этими визитами с силой похлопывать ладонью по корпусу — эта нехитрая манипуляция помогала улучшить качество изображения.

\* \* \*

Историк телевидения Владимир Саппак описывал первый советский телевизор:

«Мое впечатление от первой телевизионной передачи тоже было по-своему сильным.

Когда это было? Когда в Москве, в московских квартирах появились первые телевизоры (этот был одним из первых). Словом, лет двенадцать назад, по ощущению — недавно, я пришел к своим старым друзьям и увидел новинку, почти сенсацию — телевизор. Советский телевизор первого выпуска, с огромным вынесенным вперед выпуклым стеклом-линзой, про которую почему-то с большим уважением говорили, что она наполнена водой. Линза увеличивала изображение, но на малюсенький экранчик можно было заглядывать и сбоку, совсем сбоку, минуя линзу. Говорили, так проигрываешь в размере, но выигрываешь в четкости изображения.

А выиграть в четкости изображения, скажу положу руку на сердце, ох как хотелось!

Показывали какой-то концерт. Помню фигуру скрипача, которая на наших глазах начинала вдруг катастрофически худеть, удлиняться, тянуться вверх и тянуться вниз, словно бы ее специально растягивали, и, казалось, вот-вот уже должна была перерваться где-то в районе талии, но именно в этот момент нашего скрипача, видимо, прихлопывали сверху и снизу, он стремительно сплющивался, охотно уподобляясь тыкве.

Все это разительно напоминало зеркала комнаты смеха, с той лишь разницей, что изображение, возникающее на зыбком экране, к тому же беспрерывно путало позитив и негатив. Бледнолицый концертант в черном фраке упорно оборачивался негром в белом фраке (видимо, из джаз-банда)...

Но нам все это почти не мешало! На экран мы смотрели с благоговением».

Он же выдвигал весьма любопытную версию об историческом значении прихода телевидения в простые коммунальные квартиры: «Искусство пришло в комнату, оно ворвалось сюда, и это не снизило его эмоциональный градус (как полагаем теперь), но, напротив, во многом усилило, обострило. Искусство заставило воспринимать себя в конфликтном сопоставлении с бытом, со всем, что вокруг. Никогда еще оно не подступало так близко к этим людям. Не захватывало врасплох среди обжитых вещей, в домашней, незащищенной настройке души. Но эта “интимность” вовсе не принуждала искусство звучать приглушенно, переходить на ше-

пот (как полагаем теперь), а лишь захватывала целиком, заставляя принимать трагедию, что неслась на экране, прямо “на себя”. Если бы все это происходило в чужом, набитом людьми зрительном зале, в регламенте дневных и вечерних сеансов, по билету за полтора и два рубля — сохранили бы мы тогда эту непосредственность восприятия, эту полную веру в подлинность того, что произошло на наших глазах?»

Вернемся, впрочем, к «кавээнну». Он довольно быстро сделался настоящим народным девайсом. Этот телевизор был и у обычного рабочего с завода «Серп и молот», и у самого товарища Сталина, хотя тот и не жил в коммуналке вообще никогда.

Как мы уже писали, мощностей Александровского завода не хватало. Производство осваивали предприятия по всей стране. Появлялись новые модификации — не слишком, впрочем, отличавшиеся от предыдущих. Ну разве что какую-нибудь лишнюю рукоятку уберут за ненужностью — все равно она не регулирует то, что должна бы регулировать.

Газеты то и дело радовали советских обывателей духоподъемными сообщениями: «Коллектив воронежского завода “Электросигнал” освоил производство телевизоров “КВН-49-4”. Уже изготовлено сто аппаратов. В ближайшее время завод приступает к серийному выпуску. Аппараты будут отправляться в Москву, Ленинград, Киев».

Прекратили выпускать этого монстра только в 1960 году, создав более двух миллионов экземпляров, каждый из которых был по-своему ужасен. А в 1957 году количество телевизоров, находящихся в собственности советских граждан, перевалило за миллион. Тогда же был запущен в производство еще один легендарный советский телевизор — «Рубин-102». Линза для него не требовалась, он был способен принимать целых 12 каналов (опять-таки, не существующих в стране) и имел некий намек на сервисные функции — в частности, был оборудован гнездом для подключения магнитофона, с помощью которого жители коммуналок записывали и потом прослушивали телевизионные концерты.

Он тоже выпускался десять лет, и за это время было собрано и продано более 1,3 миллиона «Рубинов».

И на протяжении всего этого времени на коммунальной стене висела так называемая абонентская радиоточка, она же репродуктор, она же абонентский громкоговоритель. Ее часто называли словом «радио», что в принципе не верно — сигнал доставлялся не с помощью радиоволн, а по проводу. В каждой квартире было несколько специальных радиорозеток, в которую вставлялся шнур, заканчивающийся где-то в недрах этого устройства.

И сама радиорозетка, и штепсельная радиовилка лишь внешне и притом не сильно отличались от вилки и розетки системы электроснабжения, рассчитанной на ток напряжением 127 вольт, а затем и на 220. А размещались радиорозетка и электророзетка рядом, без преувеличения, бок о бок.

Неудивительно, что розетки постоянно путали. Если, например, магнитофон включали в радиорозетку, то он просто не включался. А если вилка от репродуктора случайно попадала в электророзетку, то из него раздавался треск, шел дым, а во всей квартире вырубались пробки.

Впрочем, пример с магнитофоном не совсем удачный — у первых советских магнитофонов как раз были предусмотрены специальные разъемы для соединения с радиорозеткой — чтобы записывать транслируемые программы (например, концерты или радиоспектакли, существовал в то время такой популярный жанр) на магнитную ленту. Так что, при особом везении, можно было с помощью электрической розетки сжечь не только репродуктор, но и магнитофон.

Но пытливый читатель, конечно же, понял, что я имею в виду.

Считается, что проводной громкоговоритель изобретен в 1880 году поляком Юлианом Охоровичем. Он был впервые использован во время озвучивания оперы в парижском театре.

В нашей стране эти устройства появились сначала на улицах. Они оповещали жителей о всяческих важных событиях. Первый был установлен в 1921 году в Москве — на Тверской улице, на балконе дома Моссовета.



А еще спустя год вошла в строй Радиостанция имени Коминтерна, антенны ее передатчика располагались на радиобашне, известной нашим современникам как Шуховская. Ее автору — инженеру Владимиру Шухову — в то время было хорошо за шестьдесят. Тем не менее он предложил довольно интересную, как бы сейчас сказали, креативную идею. Ради экономии металла установить не три башни по 350 метров каждая, а одну высотой 148 метров, и к тому же ажурную. Проект Шухова был принят. И всего лишь за три года башню возвели.

А по поводу более чем необычной «внешности» своих гиперболоидных сооружений инженер рассказывал: «Однажды прихожу раньше обычного в свой кабинет и вижу: моя ивовая корзинка для бумаг перевернута вверх дном, а на ней стоит довольно тяжелый горшок с фикусом. И так ясно встала передо мной будущая конструкция башни».

Начало вещания, конечно же, было событием масштабным. «Рабочая газета» накануне сообщала: «Настройтесь на волну 3000 метров и слушайте! В воскресенье, 17 сентября в 3 часа дня по декретному времени на центральной радиотелефонной станции Наркомпочтеля состоится первый радиоконцерт. В программе русская музыка».

Путеводители по советской столице писали, что мощность новой радиостанции больше, «чем мощность радиостанций Нью-Йорка, Парижа и Берлина вместе взятых».

Поэт Николай Кузнецов посвятил этой башне стихи:

В синеву на полтораста метров,  
Откуда видны далекие пашни,  
До туч, гоняемых ветром,  
Выросла радиобашня.

Сжималось кольцо блокады,  
Когда наши рабочие плечи  
Поднимали эту громаду  
Над Замоскворечьем\*.

Появилась новая престижная профессия — монтер проводного вещания. А вот само вещание было спон-

---

\* 1925 год.

танным. Никакой сетки вещания в то время не существовало. Что придет в голову, то и давали в эфир. Что придет — и кому придет. Только в 1933 году при Совнаркомом СССР был создан Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию. До этого «ответственного за радио» в государстве не существовало.

Илья Ильф примечал в своей легендарной записной книжке: «В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».

В 1925 году приемники начали появляться и в квартирах. Тогда же было принято решение в определенное время транслировать на всю страну бой кремлевских курантов. И уже в 1937 году такими репродукторами было «охвачено» примерно 2,5 процента населения СССР.

Один из жителей простой советской коммуналки города Архангельска писал в своих воспоминаниях:

«Наша семья занимала комнаты на первом этаже. Рядом обретались Мария Ивановна Смольковская, уборщица хлебного магазина, что был в нашем же доме, и добрейшая латышка тетя Леля. Она получала мизерную пенсию по инвалидности и подрабатывала вязанием. За этим занятием она напевала песни своей родины, их щемящая грусть передавалась всем, и казалось, что дочь тети Лели, которая была далеко-далеко, так же близка нам, как и ей — одинокой, заброшенной волей судьбы в северный город.

В комнате напротив жил с семьей Николай Петрович Чертовский. По профессии сапожник, он работал в артели “Спартак”. Мастер на все руки. Сам изготовил для себя мебель, аккуратно переплел книги.

Радио только входило в жизнь. Соседу, как ударнику труда, первому в доме поставили радиоточку. Вторыми были мы. Так поощрили мою маму, работавшую в то время продавщицей в промтоварном магазине “Серый ГОРТ” (ныне “Светлана”). Николай Петрович выписывал брошюру “Радиокопейка”. В одном из выпусков было дано устройство приемника. Малогабаритных деталей и ламп тогда не существовало, и приемник, собранный соседом, оказался величиной с чемоданчик, что не мешало ему работать отменно, даже от двух батареек карманного фонаря».

Первые репродукторы смотрелись самобытно. Круг-

лый, черный диффузор, который либо ставился либо подвешивался. За диффузором — маленький металлический цилиндр, звуковоспроизводящий механизм. В центре — механический регулятор громкости. Это устройство прозвали «тарелкой». Впрочем, слово «сковородка» было тоже в ходу.

«Тарелки» сделались настолько культовым девайсом, что по сей день в России изготавливают их точные копии, так называемые реплики. Цена одного экземпляра доходит до десяти тысяч рублей. Сходство достаточно высокое, однако же не абсолютное.

А стоимость подлинных «сковородок» сегодня никто не возьмется озвучить. Из-за недолговечности первых советских репродукторов их сохранилось очень мало. А большинство сохранившихся утратило товарный вид.

Действительно, ведь по большому счету это всего-навсего кусок черной бумаги. Который к тому же — в отличие, например, от книг — совершенно не берегли. Ставили на закопченных коммунальных кухнях, хватали грязными руками, то и дело задевали, и он падал на пол, дети с ним играли, а они изобретательны.

«Тарелки» расширили информационное пространство примерно в той же степени, как два десятилетия назад его расширил Интернет. Недоступное стало доступным, и прямо в квартире. Михаил Коршунов писал в рассказе «Хлопоты»:

«Репродуктор был очень старый — тарелка из черной бумаги. Висел на гвоздике.

Минька репродуктор слушал редко — некогда было. А бабушке он часто доставлял удовольствие.

Как только объявляли, что будет выступать украинский хор или ансамбль, бабушка прекращала готовить обед, белить потолки, стирать белье — снимала репродуктор с гвоздика и ставила его перед собой на стол.

Репродуктор пел или играл на бандуре только для нее одной.

Бабушка вспоминала Украину, село Шишаки, где прошла ее молодость. Вспоминала хату, покрытую камышом-очеретом, убранную внутри травой для запаха. Печь с дымарем и полочкой-закопелкой, на которой была сложена посуда — крынки и горшки. Широкие юбки — спидницы. Протяжный скрип ветряных мель-

ниц. Следы босых ног в пыли вдоль шляхов. Прозрачные ставки, а над ними гусиный крик и хлопанье крыльев. Пшеничный свет звезд. Медную подкову луны, точно выбитую молотом.

Обо всем этом пел бабушке старый бумажный репродуктор, играл на бандуре, рассказывал».

Репродукторы делали на нескольких заводах. Они отличались и характеристиками (громкость, качество звука), и внешним видом. Но на взгляд неподготовленного человека все эти «тарелки» были одинаковыми. В основном диаметр диффузора составлял 33 сантиметра, но выпускались и компактные модели, диаметром 25 сантиметров.

Наибольшей популярностью пользовались громкоговорители марки «Рекорд».

В начале Великой Отечественной проводная радиодиффузия Советского Союза вызывала зависть у Гитлера. В книге воспоминаний Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера» приводятся его слова, произнесенные в 1942 году:

«Если продукты на Украине просто немислимо дешеры, то любой технический прибор стоит чертовски дорого. Поражает, однако, что, несмотря на это, почти во всех домах можно обнаружить радиоточку. За обедом шефу также сообщили, что и в районе ставки “Волк-оборотень” каждый дом подключен к проводной радиотрансляционной сети. Шеф в связи с этим заметил, что это служит доказательством того, что Советы не только вовремя оценили значение радиовещания, но и осознали, какую опасность оно в себе таит.

Благодаря тому что трансляция по проводной радиосети происходит без всяких помех, она обладает многими преимуществами по сравнению с нашими радиоприемниками, в которых прием сопровождается посторонними шумами в эфире. Кроме того, с точки зрения государственной власти, компетентным органам представляется просто идеальная возможность контролировать содержание радиопередач. Например, в Советском Союзе комиссары на местах самолично давали установку радиостанциям, чьи программы были предназначены для жителей той или иной местности; таким образом с самого начала исключалось какое бы то ни было пропагандистское воздействие из-за рубежа.

Перед самой войной он тоже поручил нашему Министерству пропаганды организовать в Германии проводную радиосеть. И после этого немецкие радиослушатели смогли бы слушать передачи всех радиостанций рейха, а также все передачи из-за рубежа, которые транслировались бы в Германском рейхе; однако они не смогли бы слушать иностранные радиостанции, передачи, которые рассматриваются властями Германского рейха как нежелательные и поэтому на его территории не транслируются.

Он глубоко сожалеет о том, что эти меры не удалось осуществить до начала войны. Это один из величайших промахов министерства пропаганды. И хотя министр пропаганды пытается свалить вину на другие государственные учреждения, именно он несет за это ответственность. Ибо, когда выполнение задания возложено на несколько учреждений и что-то не ладится, здесь вина ложится на того, кому было дано задание.

Но в будущем по всей Германии будет организована проводная радиосеть, это совершенно очевидно. Ибо ни одно разумное правительство не позволит отравлять свой народ».

Военные же годы только подтвердили эти слова. Настоящие радиоприемники, принимающие информацию с помощью антенны, были по всей стране конфискованы. Остались лишь централизованные, проводные. По ним-то и передавалась вообще вся информация — от прогноза погоды и репертуара театров до информации о положении на фронтах и сигналов воздушной тревоги.

У людей, пусть даже в детстве заставших военное время, этот громкоговоритель ассоциируется в первую очередь с голосом легендарного диктора Левитана, зачитывающего сводки «от Советского информбюро».

Совинформбюро было создано практически сразу после вражеского нападения, 24 июня. Подготовка этих сводок была признана делом стратегически важным — не менее важным, чем сами военные действия. Людям следовало поднимать боевой дух. Поэтому сводки готовили прямо в Генштабе, который располагался под землей, на станции метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»). Один из очевидцев вспоминал: «Станция метро “Кировская”... была полностью в нашем распоряжении.

Поезда здесь уже не останавливались. Перрон, на котором мы расположились, отгораживался от путей высокой фанерной стеной. В одном его углу — узел связи, в другом — кабинет для Сталина, а в середине — шеренга столиков, за которыми работали мы. Место начальника Генштаба — рядом с кабинетом Верховного».

Первую речь произнес лично наркоминдел Вячеслав Молотов. Вот одно из воспоминаний того времени:

«Тетья Поля в комнату к нам входит, соседка наша. Папа на нее смотрит. А она прямо к репродуктору, он на стене у нас висел, круглый такой, черный, мы его с Костей потом на магнит разобрали. Подходит, на цыпочки встала и вилку — в розетку...

— В чем дело, Поля? — папа спрашивает.

— Тише! — и палец к губам. — Молотов будет сейчас говорить. Не слышали? Кажись, война началась».

Эта речь вошла в историю:

«Граждане и гражданки Советского Союза!

Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...»

И затем уже эти слова многократно зачитывал в эфире Юрий Левитан, уроженец губернского города Владимира, диктор Всесоюзного радио с 1931 года.

Левитан вспоминал:

«Война началась для меня со звонка из радиокomiteта: “Срочно бегите на работу! Немедленно!” Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу.

Радиокomiteт. Семь утра. Тихий женский плач, суровые взгляды. Наперебой звонят корреспонденты из разных городов:

— Киев бомбят!..

— Над Минском вражеские самолеты..

— Горит Каунас... Что говорить населению? Почему нет никакого сообщения по радио?

Позвонили из Кремля: “Готовьтесь, в двенадцать часов правительственное сообщение”. Потом девять раз за день — с интервалами в час — я читал это небольшое трагическое сообщение».

Каждая сводка начиналась одинаково, со слов: «Внимание, говорит Москва!» Однако же на самом деле говорила не Москва. Крупные вещательные стан-

ции в столице и Московской области из соображений безопасности были отключены — враг мог их с легкостью запеленговать. В глубине страны в то время существовали две мощные станции, способные вещать практически на весь СССР — в Новосибирске и Свердловске. Выбран был Свердловск (ныне Екатеринбург). Именно туда в режиме глубочайшей секретности срочно эвакуировали диктора Юрия Борисовича Левитана, которому было суждено на долгие годы стать рупором советского правительства.

Было принято постановление: «Передать во временное пользование Всесоюзному радиокомитету помещение бывшей Михайловской церкви и часовни». Именно там, в церковном подвале, и располагалась студия вещания. Сам же Левитан жил в домике в том же дворе. Покидать церковный двор ему строжайше запрещалось, с ним повсюду следовали два охранника. Больше того, нигде, ни в каких документах даже не упоминалась его фамилия. А в обычное время, не за микрофоном, общаясь с немногочисленным кругом допущенным до него людей, Левитан должен был менять голос — к счастью, его таланты позволяли делать это с легкостью. И, разумеется, его никто не знал в лицо. Эти подробности были не лишними — недаром Гитлер называл Юрия Борисовича своим личным врагом номер один.

В 1943 году Левитана вместе со всем оборудованием перевезли из Свердловска в Куйбышев (ныне Самара). Но режим секретности ослаблен не был.

Последняя сводка вышла в эфир 15 мая. Она начиналась со слов: «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен».

Жизнь возвращалась в мирное русло. Черные «сковородки» больше не пугали. Одна из послевоенных жительниц Москвы впоследствии писала:

«Самым главным предметом в моей жизни был тогда репродуктор — большая черная тарелка на ножке. Только разве можно так говорить — предмет? Это была моя живая связь с миром. Замечательные тогда были радиопередачи — “Театр у микрофона”, “Клуб знаменитых капитанов” и другие.

Если “Театр у микрофона” выступал поздно, когда

все спят, я пристраивала репродуктор на валике своего дивана, и он тихонько нашептывал мне в ухо какую-нибудь пьесу, оперу или оперетту — я все слушала. В час ночи передачи прекращались.

Передача “Клуб знаменитых капитанов” была самой любимой — было очень интересно и очень трогало душу.

За окошком снова прокричал петух,  
Фитилек пеньковый вздрогнул и потух.  
Синим флагом машет утренний туман.  
До свиданья, вашу руку, капитан! —

пели на прощание капитаны, и я знала, что это они мне “до свиданья” говорят.

Тогда же на экраны вышел фильм “Пятнадцатилетний капитан” по Жюль Верну. Море, паруса, опасности, подвиги...

Пусть ветер завывает и ревет,  
Пусть яростно он снасти наши рвет,  
Знай, путь у нас один — вперед!

Все это увязывалось вместе, и все создавало настроение радостного ожидания — наверно, ожидания жизни... И поэтому, может, собралась я вскоре идти в капитаны дальнего плавания».

А вот более поздние воспоминания писателя Леонида Бахнова — он родился в 1948 году:

«Основным источником музыки в нашем уфимском жилище была черная, а вернее, посеревшая от времени тарелка репродуктора. Она располагалась высоко над кроватью, мне до нее было не допрыгнуть, даже когда я уже вырос, то есть достиг вполне солидного возраста пяти с половиной лет. Иногда она играла, иногда пела, иногда говорила. Говорила она вещи мне в целом малопонятные, но с некоторыми из них я готов был согласиться. Например, она говорила что-то про хнации: организация объединенных хнаций. А за окошком в это время валил белый мохнатый снег. И вот я думал, что эти мохнатые хлопья — они и есть хнации.

И когда пела, я тоже кое-что понимал.



Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек.  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так воль надыхнет человек!

Эту песню пели очень часто, низкими мужскими голосами, а потом звучал хор и много разных инструментов. Словом, это была очень торжественная и убедительная песня, мне хотелось маршировать и махать руками, и я вместе с черно-серой тарелкой на стене испытывал настоящую гордость, оттого что живу в такой необыкновенной и мужественной стране, где чем шире дышишь, тем больше надыхиваешь. Так что, в конце концов, только и остается, что петь и маршировать.

Еще тарелка рассказывала всякие сказки и истории. Там тоже бывали песенки и музыка, но мне никогда не хватало терпения дослушать до конца. И потом голоса часто бывали какие-то... придуманные что ли. Скучные.

И так зима кругом, читать еще не умеешь, кубики надоели, на улицу носа не высунешь, а тут еще эти, в репродукторе, квакают.

Примерно так же я воспринимал и народные песни, которые составляли основной музыкальный репертуар. Орут себе непонятно чего. Веселятся. Ох! Ах! Кря! Ква!

Шум один.

Другое дело — новости. Может, там говорили про войну в Корее. Про международный империализм. Про шпионов и убийц в белых халатах. Этого я не понимал. Но — музыка!

Это была музыка. Да! Она завораживала. Особенно если это был мужской голос. Хотелось слушать, затаив дыханье. Хотелось повторять. Хотелось говорить, нет, выпевать то, что говорил в репродукторе невидимый, но тем более убежденный человек. Хотелось быть, как он. Хотелось его правоты и непобедимости.

Я скидывал тапочки, залезал на кровать, видел перед собой не слишком свежую стену с подтерто-ржавым следом от гвоздика и, стоя, начинал декламировать. Нет, я вовсе не повторял слов того человека — куда мне их было запомнить. Я ораторствовал. Вещал. Выговаривал неизвестные ни мне, ни кому другому на свете прекрас-

ные и неподражаемые слова. Подчиняясь одной лишь мелодии. Она заставляла меня то замедлять свою речь, то неожиданно возвышать голос, то выкидывать вперед руку, то, путаясь в покрывале и рискуя бухнуться на пол, отставлять назад ногу.

Как-то я неожиданно обнаружил, что бабушка и Матенька стоят в комнате и внимательно меня слушают.

— Трибун! — сказала бабушка.

Я не знал, что это значит, и смутился. В мои планы наличие зрителей как-то не входило.

— Ты продолжай, продолжай, — сказала Матенька. — Давай!

Я послушался. Но мелодия ушла, что-то поломалось. Слова, которые рвались из меня как из ведра, вдруг иссякли, сделались серыми, сухими и непонятными».

Страшная черная тарелка с каждым днем становилась все более мирной.

А в 1953 году, в день смерти Сталина, «тарелка» снова сделалась главным героем коммуналок. Писательница Александра Литвина вспоминала: «Сюжет из 1953 года, где герой разбивает репродуктор, — это история про моего дедушку. Когда в день смерти Сталина был объявлен траур, по радио передавали печальную музыку, бабушка пришла домой с работы, села и заплакала. Тут вернулся дедушка и сказал: “Что ты реवेशь, дура? Ты знаешь, сколько он людей погубил?” И со словами “Сдох, наконец-то, сволочь усатая” разбил репродуктор. Это при том, что на политические темы до этого разговоров в семье вообще не было. И для мамы, которая стала свидетельницей этой сцены, ситуация была шокирующая: отец был для нее непрекращаемым авторитетом, во всем и всегда был прав, а тут сказал такое! К тому же в школе учили на примере Павлика Морозова, что нужно делать в таких ситуациях. Но мама так распереживалась, что заболела, долго не ходила в школу и таким образом ситуация сошла на нет сама собой.

Многие, с кем я обсуждала эту историю, говорили, что да, и в их семье в день смерти Сталина в семейных разговорах впервые прозвучала правда, а не официальная точка зрения, и для детей это был шок».

Сталин умер, прекратилась череда репрессий. Жизнь сделалась практически на сто процентов безопасной.

В крайнем случае, на восемьдесят пять. Что, разумеется, сразу же отразилось на репертуаре тарелки.

А в Санкт-Петербурге уже в наше время установлен памятник первому громкоговорителю. И, разумеется, такой девайс имеется в каждом музее исторической или же краеведческой направленности. Либо подлинный, либо, по крайней мере, реплика.

\* \* \*

С годами дизайн однопрограммного громкоговорителя менялся, становился менее брутальным. Повышалось и качество звука. В коммуналке моего раннего детства на шкафу стоял желтый громкоговоритель с желтой же круглой крутилкой. Вилка была тоже желтая. Практически всю переднюю часть занимал кусок светлой ткани. За тканью угадывался диффузор. Скорее всего, это была модель «ЭМЗ», запущенная в производство в 1952 году.

Интересно, что полностью выключить звук с помощью этой крутилки было невозможно. В крайнем положении эта зараза хоть и шепотом, но что-то там бубнила. Это не был брак — так сделали нарочно, чтобы в случае какого-либо аварийного события о нем узнал бы каждый и каждый поступил бы в соответствии с инструкциями, выдаваемыми из-за светлой тряпочки.

Поэтому на ночь мы вытаскивали штепсель из розетки, а чтобы его потом долго не искать или — что еще страшнее — не воткнуть его в розетку электрическую, вилку вставляли одним штырьком в розетку. А второй висел внизу. Получалось кокетливо, как кепарь набекрень.

Вот еще одно воспоминание на сей счет. Его автор — протоиерей Борис Куликовский:

«После ужина мы легли спать. Я долго не мог согреться. Наконец мама взяла меня к себе, и прежде чем уснуть окончательно, я, будто сквозь сон, услышал, как мама встала, не зажигая света, подошла к репродуктору и включила, чтобы он сейчас поиграл бы себе тихо, пока мы будем спать, а утром, в шесть часов, разбудил бы ее, как только начнут бить куранты. Я сквозь сон слышал, как мама возилась с вилкой, никак не попадая в розетку, наконец попала, в репродукторе тот-

час что-то зашелестело, но мама убрала громкость, и все стихло.

Проснулись мы точно вовремя — от перезвона кремлевских курантов. И как же емко и вместе с тем пусто били они по утрам! — особенно сонным зимним утром, когда знаешь, что дверь нашего подъезда с восьмью квадратными оконцами, сплошь обросшими за ночь белым пушистым инеем изнутри, опять прихватило морозом, ведь под утро ее в сильную стужу всегда прихватывало так, что пока мама, выпустив меня по обыкновению вниз, на площадку, а сама еще стоит и под тусклым плафоном роется в сумочке, ища мелочь на метро, — я уже успевал основательно отшибить себе зад, прежде чем открывалась наконец эта несносная дверь подъезда».

\* \* \*

Не совсем понятно, почему руководители СССР не просчитали такую возможность и не провели шнур для радиоточки прямо в стену, без возможности полного отключения. Вероятно, дело в том, что в этом случае снабжать все многомиллионное население государства репродукторами пришлось бы за счет государства, а так каждый приобретал его сам. А может быть, власти даже не допускали мысли, что кто-то ослушается и самостоятельно, добровольно отключит себя от единственного для многих и обязательного для всех источника оперативной информации.

И лишь сравнительно недавно, когда вся эта система уже отживала свой век, какой-то просветленный человек вдруг догадался применить так называемую «защиту от дурака» — сделать радиовилку (и, соответственно, радиорозетку) не с круглыми, а с плоскими штырьками.

\* \* \*

Свобода подключения к радиосети давала возможность так называемым радиохулиганам радиохулиганить не только с помощью радиопередатчиков, но и с помощью сети проводного вещания. Хулиганы знали свое дело — они каким-то хитрым образом отсоединя-

ли так называемые ограничительные сопротивления и, воспользовавшись непродолжительными перерывами в вещании, пускали собственные песни, часто матерные.

Я, будучи школьником отнюдь не старших классов, обходился без подобных хитростей. Просто подключал радиорозетку к усилительному выходу магнитофона «Комета-201» — и пара соседних этажей нашего подъезда наслаждалась песнями Аркадия Северного и братьев Жемчужных. Никаких сопротивлений я не обходил, не отключал. Не дожидался и перерывов — мощности старого катушечника с постоянно снятой лицевой панелью (приходилось часто поправлять съезжающие пассики и вытаскивать зажеванную пленку) вполне хватало, чтобы перекрыть монотонный бубнеж очередного советского диктора.

Впрочем, хулиганам, по всей видимости, было мало нескольких квартир, а для того, чтобы взломать вещание во всем доме, как раз и требовались эти танцы с бубнами.

Вместе с тем призываю читателей — особенно малолетних и склонных к чрезмерному употреблению бодрящих напитков — воздержаться от подобных опытов. Хотя бы потому, что это радио давно уже никто не слушает и все ваши труды окажутся напрасными. Несмотря на то, что все жилые здания до сих пор сдаются с проводными радиоточками, а в квитанции за коммунальные услуги значится некая незначительная сумма за оплату этой абонентской услуги, радиоприемники никто не покупает и не подключает. Действительно, сумма настолько мизерная, что она совершенно не заметна на фоне других, гораздо более внушительных позиций коммунальной квитанции. К тому же, заплатив единовременно некую более ощутимую сумму, эту услугу можно вовсе отключить.

\* \* \*

Совместный досуг был если и не нормой в коммуналках, но, во всяком случае, явлением распространенным. Удивительно, однако, что при этом коммунальные романы были делом очень редким. Видимо, дело в том, что для зарождения романтического чувства нужна не-

кая тайна, загадка, интрига. А какая тут интрига, если у всех трусы над одной плитой сушатся, и все в один сортир ходят, стены которого, ясное дело, пропускают звуковое сопровождение процесса.

А если что-то вдруг случалось, то оказывалось под вопросом продолжение романа. Многие счастливые семьи так и не стали счастливыми семьями просто потому, что завести ребенка было невозможно в принципе. Я прекрасно помню, как на рубеже 1960—1970-х годов наше семейство жило в коммуналке. Мы занимали комнату 13 метров, вытянутую, словно фломастер. Там были две кровати, какая-то тахта и стол. При этом каждый предмет использовался как спальное место на двоих человек — на кроватях и тахте спали валетом, то есть, для экономии места, ноги размещали рядом с лицом товарища по лежбищу. Стол же использовался как двухэтажная конструкция — один человек спал на столе, а другой — под столом. Как я при таких-то условиях появился на свет — совершенно неясно.

И неудивительно, что именно квартирный вопрос наиболее решительно портил демографическую статистику.

\* \* \*

Впрочем, жизнь шла своим чередом, несмотря ни на что. Анатолий Рыбаков описывал — как антитезу парадному Арбату — убогую коммуналку на окраине Москвы:

«Четырехэтажный неоштукатуренный дом стоял на отшибе. Они прошли по длинному коридору, слабо освещенному, с бесчисленными дверьми по сторонам. Перед последней дверью Катя сказала:

— У Маруси друг... Ты ничего не спрашивай.

На диване, лицом к стене, спал мужчина, у окна сидели мальчик и девочка лет по десяти-одиннадцати, они оглянулись на дверь, поздоровались с Катей. У кухонного столика в углу комнаты, рядом с рукомошкой, возилась маленькая женщина, много старше Кати, с милым добрым лицом. Это и была Маруся.

— А мы заждались, думали, не придете, — сказала она, вытирая руки и снимая фартук, — думали, загуляли где... Вставайте, Василий Петрович, гости пришли.

Мужчина поднялся, худой, хмурый, пригладил редкие волосы, провел ладонью по лицу, сгоняя сон. Воротничок его рубашки примялся, узел галстука был опущен.

— Пирог засохли. — Маруся сняла полотенце с лежавших на столе пирогов из ржаной муки. — Этот с соей, этот с картошкой, а тот с капустой. Тома, подай тарелки.

Девочка поставила на стол тарелки. Катя сняла жакет, достала из буфета ножи и вилки, сразу стала накрывать на стол, знала, где что лежит, видно, бывала тут не раз.

— В комнате убери! — приказала она Марусе.

— Заспались после обеда, — оправдывалась та, снимая со стульев одежду, — и ребята бумагу нарезали, подбери бумагу, Витя.

Ползая по полу, мальчик собрал обрезки бумаги.

Василий Петрович умылся под умывальником, подтянул галстук. Маруся отрезала ребятам по куску от каждого пирога и поставила на окно.

— Ешьте!

Василий Петрович разлил водку.

— С праздником!

— Под столом встретимся! — Катя посмотрела на всех, кроме Саши. Она в первый раз привела его к своим знакомым, пила здесь водку, а с ним пила только красное вино.

— Какого черноглазого себе отхватила! — весело проговорила Маруся, кивая на Сашу.

— Черноглазого и кудрявого, — усмехнулась Катя.

— В молодости волосы вьются, в старости секутся, — объявил Василий Петрович и снова взялся за бутылку. Теперь он не казался Саше хмурым, в его разговорчивости было желание поддержать знакомство. И Маруся глядела на них ласково, понимающе.

Саше было приятно Марусино покровительство, нравился этот дом на окраине, песня и гармошка за стеной.

— Что же вы не едите? — спросила Маруся.

— Ем, спасибо, вкусные пироги.

— Было бы из чего, не такие бы испекла — дрожжей и тех не достанешь. Спасибо, Василий Петрович принес.

Василий Петрович сказал что-то серьезное по поводу дрожжей.

Ребята попросили еще пирога.

Маруся снова отрезала им по куску.

— Думаете, для вас одних наготовлено?! Кончилась ваша гулянка, умывайтесь!

Она собрала их постели и понесла из комнаты, к соседке.

Дети ушли спать. Потом собрался и Василий».

Непарадная, несчастная, вызывающе коммунальная, но все-таки любовь.



---

## *Кто кого? Конфликты и криминал*

«Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет».

Так начинается рассказ Михаила Зощенко «Нервные люди».

Конфликты были обязательной частью программы под названием «Коммунальная квартира». Не быть их в принципе не могло. Один из жителей советской коммуналки вспоминал: «Взаимоотношения между жильцами коммуналки, как правило, складывались напряженные — бытовые трудности озлобляли людей. Действительно, если иногда подолгу приходилось ждать очереди в туалет или к крану, трудно ожидать теплых взаимоотношений между соседями. В некоторых квартирах вражда носила открытый характер: то и дело вспыхивали скандалы с криками и руганью, в других — скрытый: за внешними улыбками сочился яд.

Точек соприкосновения между жильцами находи-

лось множество: помимо туалета и крана, в коммуналке шла борьба за пространство — каждый пытался захватить дополнительное место в коридоре (поставить или повесить что-нибудь), в кухне, в кладовке и т. п. Такая ситуация хорошо показана в киноминиатюре Аркадия Райкина «Волшебная сила искусства».

Журналист Лев Штерн писал: «Соседи находились, я бы сказал, в состоянии холодной войны: до открытых скандалов дело доходило редко, но напряжение постоянно ощущалось. От дверей нашей квартиры до кухни и туалета надо было пройти по темному коридору с двумя поворотами метров 25. Эти повороты были самыми опасными местами в квартире так как свет коридорных лампочек туда почти не проникал, и не один раз там сталкивались соседки, одна из которых несла из кухни кастрюлю с горячим супом... На антресоли жильцы сушили белье и в отличие от «Вороньей слободки» Ильфа и Петрова там никто не жил».

\* \* \*

Илья Эренбург писал в романе «Рвач»: «Любой писатель, занятый своими героями, обитающими в нашей столице, вынужден учитывать значение квартирного кризиса, который является не только проблемой хозяйственного восстановления, но и психологическим фактором, зачастую определяющим чувствования и поступки сотен тысяч людей. Стоит лишь сравнить спокойствие, уравновешенность жителей Ленинграда, где в любой квартире две-три комнаты заколочены как ненужные (для экономии топлива), с первичностью, даже озлобленностью москвичей, чтобы понять все значение квартирного кризиса. Может быть, Петряков, живи он в другом месте, не жаловался бы Михаилу на слепоту истории. Ведь квартира № 32, эта рядовая московская квартира, являлась поэтическим вымыслом жесточайшего человеконенавистника. На входной ее двери красовался длиннейший список фамилий с пометками: “звонить три раза” или “стучать раз, но сильно”, “два долгих звонка, один короткий”. Все двадцать семь обитателей квартиры должны были, прислушиваясь, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах. Можно

хранить стыд день, месяц, но не годы. Раздевались, не обращая внимания, — пусть проходят. Но иногда находила злоба, и тогда, запирая дверь, принуждали соседа топотать в морозной передней. Жили, вопреки поговорке, и в тесноте и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами. Каждый досконально знал жизнь другого, знал ее во всех деталях, знал белье соседа, его любовниц, его обеды, его долги и болезни. Поражение частицы заставляло содрогаться весь организм. Обыск у одного, понос у другого создавали бессонницу двадцати семи душ. Кухня была общей, и меню каждого оценивалось с точки зрения этики, эстетики, а также возможности вынужденного переселения в Нарым. Все двадцать семь искренне ненавидели друг друга. Швейге, наблюдая вялость уходящего утром от Сонечки Шурки Жарова, негодуяще шептала на кухне: «Она же его погубит, эта дрянь! Вы только посмотрите, он даже с лестницы сойти не может». Служащего Госбанка Данилова попрекали тем, что его жена изводит полфунта масла на обед: «Сразу видно, взяточник». Когда умер год тому назад муж Швейге, жена Данилова объяснила, что он умер от супружеской требовательности старой ведьмы. Коммуниста Чижевского долго побаивались, но, как только выяснилась принадлежность его к оппозиции, Швейге немедленно дошла до колкого замечания: «Кофейник нельзя в раковину выпораживать, засоряется, некультурно это...» История всех стычек могла бы составить увлекательный роман с выразительным названием «Квартира № 32», и нечего удивляться, если хоть в мудрой, но наивной голове профессора Петрякова эта история часто заслоняла историю великой революции».

\* \* \*

Павел Филонов описывал страшную, практически детективную историю, произошедшую в городе Ленинграде с художником Василием Купцовым:

«С Купцовым случилась беда: последние месяцы, с тех пор как я смотрел его натюрморт, он не работает. За это время он заработал на халтуре несколько тысяч, но все деньги «спустил» на хмельное. На днях, возвратясь домой ночью, он стал ломиться в двери своего соседа

по коридору. Когда тот открыл дверь, Купцов ударил его. Позвали милицию, и Купцова отвели в отделение милиции — ночевать. Составили протокол, но Купцов его не подписал. В народном суде он, однако, признал, что ударил соседа, будучи “в невменяемом состоянии”. Ему дали условно год принудительных работ. После этого он пытался повеситься, но сосед его по комнате Григорий Иванович Иванов не то помешал ему накинуть на себя петлю, не то вынул из петли. Иванов заявил об этом в горком, откуда приехал председатель горкома Попков.

Попков от горкома дал Купцову путевку в Сиверскую. ЛОССХ дал ему путевку на Кавказ. Купцов дней пять лежал на кровати, боясь выйти, чтобы опять не напиться пьяным.

Сосед, которого он ударил, приходил к нему чуть ли не с револьвером, грозя, что пристрелит Купцова, если тот снова будет ломиться в его дверь. Купцов подозревает этого человека (это работник НКВД) в том, что злостным ложным доносом на жену товарища Купцова — Раису Валериановну Зарубаеву — он упрятал ее в Вологду, а сам занял ее квартиру. В трезвом виде Купцов не чувствует зла к этому человеку, но пьяный начинал несколько раз ломиться в его двери. Этой весной у Купцова выкрали паспорт. Он до сих пор не получил нового. Лежа голым на кровати, он плачет. С собою на Сиверскую он хочет взять акварель, не желая, так как он едет в санаторий работников искусства, работать в присутствии художников. Я велел Хапаеву сказать Купцову, что акварель нам не нужна. Сейчас ставка — живопись. Пусть он, не стесняясь никого, пишет две крупные вещи маслом, одну днем, другую вечером».

Через три месяца несчастный художник повесился.

\* \* \*

Не менее кошмарная история случилась в бывших кельях Рождественского монастыря, также превращенных в коммунальные квартиры. При этом в кельях-коммуналках бок о бок проживали и бывшие монахини (обитель была женская), и простые обыватели, по большей части атеисты.

Один из этих атеистов, переплетчик по профессии, был соседом старушки Варвары. В 1978 году он убивает

ее, прихватывает несколько малоценных икон, скрывается, но вскоре попадает.

Еще одну монахиню, оставшуюся здесь с царских времен матушку Викторину взяли от греха подальше в православную московскую семью. Дело, казалось бы, закрыто. Но вскоре доблестные советские таможенники тормозят на границе некоего гражданина, при котором обнаруживается огромное количество церковных ценностей самого высокого разбора. И все они — из ризницы Рождественского монастыря.

В результате выяснилось, что и кража икон, и побег, и даже поимка переплетчика были подстроены. Основные ценности, хранившиеся у бедной Варвары, которая, кстати, оказалась не просто послушницей, а бывшей монастырской казначейшей, изначально были предназначены на вывоз.

Историк Георгий Андреевский описывал случай совсем, казалось бы, невероятный:

«В доме № 95 по Красной улице, в Филях, жила Голышева со своим сожителем Ломановым. В январе 1942 года они обнаружили у себя кражу. Пропали кое-какие вещи, а главное, большой красный патефон. Поразмыслив над тем, кто бы это мог сделать, сошлись на том, что сделал это Вовка Карасев, сын соседки, больной, забитой бабы. Дождавшись, когда ее не было дома, а Вовка куда-то вышел, они обыскали их комнату, но ничего своего в ней не нашли. Голышева заколебалась: “Может, не он?”, но Ломанов стоял на своем: “Кто же еще? Больше некому”.

22 января 1942 года Голышева, увидев в коридоре квартиры Вовку, кисло улыбнулась ему, чего раньше никогда не делала, и сказала: “Вова, зайди к нам, тебе дядя Толя что-то показать хочет”. — “Что?” — поинтересовался Вовка. “Увидишь”, — таинственно прибавила Голышева. Вовке стало интересно. Было ему тогда одиннадцать лет, он был голоден, любопытен и глуп, и хоть боялся Ломанова (тот грозил ему, обвиняя в краже), но любопытство оказалось сильнее страха, и он пошел за соседкой. Когда вошел в комнату, его сразу усадили на стул: “Садись, мол, подожди немного”. Вовка сидел и ждал. А Ломанов в это время вышел в коридор, взял там топор, потом вернулся в комнату, подошел к Вовке сзади и ударил его топором по голове. Голышева замыла

кровь. Труп мальчика спрятали в подвал соседней квартиры. Дом-то был деревянный, двухэтажный, и жили они на первом этаже. Когда в конце марта в свою квартиру вернулась соседка, Клавдия Ивановна Илюхина, то ее удивило, что замка на двери нет, а сама дверь забита гвоздями. Осмотрев квартиру, Клавдия Ивановна ничего подозрительного не обнаружила, но, спустившись в погреб, наткнулась на труп мальчика.

За убийство ребенка Ломанов получил десять лет, а его сожительница, как соучастница, — пять. Народ возмущался: «Тут люди о себе не думают, жизни своей на войне не жалеют, а эти из-за какого-то патефона ребенка жизни лишили!».

Чаще, правда, воровали, и притом по мелочи. Хищения в коммуналках были общим местом. Фельетонист Николай Карпов писал в 1927 году:

«Луковкин открыл дверь и удивленно взглянул на стоявшего на площадке бритого гражданина в серой шляпе и сером, в талию, пальто.

— Вам кого?

— Не узнает, свинья, ей-богу, не узнает! — весело захохотал бритый. — Эх, Луковкин, Луковкин! Гад ты! Сколько мы с тобой пива вместе вылакали? Полгода не встречались, и он уже забыл старого приятеля.

— Урывает! — вскричал Луковкин. — Ты?

— А то кто же? Понятно, я. Ну-ка, веди в свою берлогу...

Ввалившись в комнату, Урывает огляделся и, швыряя шляпу и пальто на диван, укоризненно покачал головой:

— Эка ты, братец ты мой... Даже вешалки у тебя в комнате нет. Что за неряшливость!

— Вешалка в передней...

— Это в коммунальной-то квартире? Благодарю покорно. Еще пальто сопрут. Не было случаев, говоришь? Будут!»

\* \* \*

Подселить соседу клопиков в диван — святое дело. Можно вшей. Еще лучше — клещей. При этом, по свидетельству Ирины Сои-Серко, каждый житель коммунальной квартиры был уверен в том, что клопы — не его, а соседские. Копил злобу на любителей клопов, как он, по всей видимости, понимал своих соседей.

То же — с мышами. Был даже такой анекдот:

«Стоят муж и жена у открытой двери коммунальной квартиры. Вдруг в дверь заходит мышь.

Муж:

— Давай ее выгоним!

Жена:

— Нет, не нужно. Она не к нам, а к Серафиме Павловне».

Камнем преткновения были, разумеется, собаки, а реже — кошки. Кто-то держал четвероногих приятелей, души в них не чаял. Кто-то боялся собак. У кого-то была аллергия на кошачью шерсть.

Квартира тем не менее была одна на всех. Как быть?

Цивилизованные люди действовали через суд. Он чаще всего становился на сторону тех, кто испытывал неудобства от вынужденного соседства с братьями нашими меньшими.

Менее цивилизованные травили невинных животных мышьяком и стрихнином.

Существовали семьи, будто специально созданные для коммунальных конфликтов и более ни для чего. Протоиерей Борис Куликовский писал в мемуарах:

«В нашей квартире, кроме тети Поли, проживали еще одни соседи, Харчияны. Их дверь приходилась как раз напротив нашей, через переднюю, слева от парадного. Въехали они к нам в начале войны в освободившуюся комнату, и в тот же вечер я впервые увидел нашего управдома, который пришел к Харчиянам на новоселье.

Супруги Харчияны — Нарсес Сергеевич и Елена Владимировна — оказались довольно энергичными, предприимчивыми квартироръемщиками. Уже на другой день после их поселения наш общий кухонный стол-холодильник и почтовый ящик на парадной двери очутились под висячим замком. На своей двери Нарсес Сергеевич приколот кнопками объявление, чтобы за ключом не стучались когда попало, а только в дозволенные часы, обусловленные жестким режимом кормления и сна их годовалого сына Гарика, а также потребностью в отдыхе самой Елены Владимировны, двадцатидвухлетней красавицы, тоже каких-то восточных кровей, предки которой как будто восходили к знатному татарскому роду времен хана Батыея».

Особо своевольничали упоминавшиеся выше домо-

управы. Чувствуя свою безнаказанность и ощущая свою вседозволенность, они вытворяли с вверенными им жильцами что хотели. Могли поколотить, а то и пальнуть из ружья. Случалось, что подобные самоотверженные общественники обворовывали собственных жильцов — особенно в то время, когда те временно отсутствовали, в командировке, в заключении или на даче.

Разумеется, такие вещи домоуправам не прощались, дело все же доходило до суда и отбывания вполне заслуженного наказания. К сожалению, среди таких ответственных работников было немало людей сильно пьющих, что притупляло их чувство меры и, соответственно, довольно ощутимо осложняло жизнь обычным коммунальным обывателям.

Случалось, разумеется, что домоуправов прятали за решетку практически ни за что. Время было беспокойное, с каждым советским жителем могло подобное случиться, и домоуправы, естественно, не были исключением. Бывали случаи, когда давали год за то, что в доме лопнула батарея. Какой-нибудь неаккуратный житель отправится в командировку — и не закроев в своей комнате окно. А отвечал домоуправ, так как «не проследил».

Но в основном эта профессия была, конечно, в группе юридического риска.

Соседей душили подушками, подсыпали яд, просто жестоко избивали. Прочное место в коммунальном арсенале занимала уже упоминавшаяся печка-буржуйка. Вот рассказ одного доктора «Скорой помощи»:

«В квартирах появились печки (буржуйки), а с ними и пострадавшие от угара.

В связи с угарами д-р К. рассказывает случай “Скорой”.

Даем вызов к пяти пострадавшим от угара. В первой комнате очоленевший труп молодого человека в необычной позе. Труп упирается подбородком на стул, ноги на полу, одна рука загнута за спину, вторая на груди. Постель тщательно убрана, но на подушке следы засохшей слюны. В углу рассыпаны крупа и мука. В смежной комнате лежат четыре человека с компрессами на головах: молодой человек, его жена, теща и племянница. В комнате запах гари. Поза трупа (при отравлении окисью углерода он упал бы на руки, у него подогнулись бы колени), тщательно убранная постель, обстановка — все по-



казалось д-ру К. подозрительным. Вызвал угрозыск. Оказалось: оба молодых человека не поделили продуктов, где-то добытых, и повздорили. Молодой человек из первой комнаты, холостой, лег соснуть. Второй, при помощи своей супруги, загнул ему руки за спину, перевернули и придушили подушкой. Истопили печку, устроили угар, труп положили в вышеупомянутую позу, прибрали тщательно постель и вызвали “Скорую”. Анализ крови потерпевшего подтвердил предположения К.».

Справедливости ради заметим, что описанный случай произошел в самом начале Великой Отечественной, когда уровень жизни значительно снизился. Но подобное могло произойти (и ведь наверняка происходило) и в мирное время.

В ход шли выкидные ножи и сапожные шила. Топор был как оружие неотразим, притом во всех смыслах этого грозного слова.

Впрочем, гораздо больше было просто бытового хулиганства. Историк Георгий Андреевский описывал одного из таких бесчисленных любителей покуролесить: «В 1925 году в доме 4 по Доброслободскому переулку, что на Разгуляе, жил инженер Дцинзельский. По коммунальной квартире он разгуливал в исподнем, а в своей комнате перед окном мог пройтись и голышом. Вообще он был шутник: соседским детям мазал лица мылом, приходящих ранним утром молочниц тискал так, что они визжали как поросята, будя жильцов дома. По ночам, бывало, он так свистел, что соседи заслушивались и не спали. Зная артистическую натуру инженера, соседи ему многое прощали. Не мог его простить только домоуправ. Дцинзельский обзывал его Чемберленом, этим врагом трудового народа, акулой капитализма. Труженник коммунального хозяйства больше всего на свете боялся, что кличка эта прилипнет к нему и отразится на карьере. Он даже добился того, чтобы Дцинзельского оштрафовали на 20 рублей. В тот же день проклятый инженеришка подошел к домкомовскому клубу, когда там кончилось собрание, и при всех жильцах вновь обозвал его Чемберленом. Домоуправ спрятался от него в уборной и вышел из клуба, только когда стемнело. Дома он слег в постель и вскоре умер».

Действительно, подобные, на первый взгляд совершенно безобидные шутники могли, что называется, на-

рубить дров. С коммунальными вредителями всячески боролись — и с помощью закона, и, что греха таить, с помощью хорошего кулака, и сатирическим пером. Однажды в «Крокодиле» опубликовали вот такой стишок:

Тили-бом, тили-бом, едет склочник в новый дом.  
С ним старья и хлама груды: слухи, дразги, пересуды,  
Патефон, обрывки книг, сеть подвохов и интриг,  
Смесь корзин и чемоданов, тьма клопов и тараканов!  
И как кончит переезд, он всех соседей переест.

Там же изображали омерзительных соседушек в заляпанных халатах, с бигуди (гораздо чаще говорили — «с бигудями»), и всегда готовых совершить любую пакость.

Но то ли квартирные хулиганы не тратили свое драгоценное время на журнал «Крокодил», то ли перспектива «переесть всех соседей» не казалась им такой уж скверной, только все эти карикатуры и стишки не действовали.

\* \* \*

А что милиция? Милиция работала. Иногда доблестно, а иногда не очень. Вот фрагмент одного из докладов о деятельности московских правоохранителей:

«В отдельных случаях дело доходит до анекдотов. Работники 2-го отделения милиции, прибыв на место кражи... заявили, что вор, который обокрал эту квартиру, не из их района, и его найти будет трудно. Никаких мер к раскрытию этой кражи со стороны работников принято не было.

Вместо того, чтобы принять немедленные меры по розыску преступников, отдельные работники милиции проявляют пренебрежительное отношение к гражданам, пострадавшим от преступников. Я вот еще приведу такой факт. Бывший начальник 7-го отделения милиции, когда к нему одна из пострадавших гражданок обратилась с просьбой выслать ей поисковую собаку, ей заявил: «Может быть, вам льва дать?»».

Случалось всякое.

---

## *Кто на кого? Доносы*

Криминальная ситуация коммунальных квартир, словно остреньким перчиком, была приправлена повальным доношением. Стучали все. И ожидали, что на него стукнут, — тоже все.

Был даже такой анекдот: один коммунальный сосед рассказал другому политический анекдот, и сразу оба побежали на Лубянку, чтобы донести первому.

Постоянно ожидал ареста и писатель Юрий Либединский. Он больше всего боялся, что его возьмут неподготовленным и заспанным — ведь приезжали большей частью по ночам. Поэтому Юрий Николаевич каждый вечер садился за свой письменный стол, стоявший прямо перед окном, и до рассвета писал. «Пусть возьмут меня за работой», — говорил он.

А под окном то и дело проезжали то «черные воронки», то фургоны с надписью «Хлеб», также приспособленные для перевозки арестантов. Некоторые останавливались у его подъезда.

Но, к счастью, для писателя все обошлось — его оставили на свободе.

Интересная ротация происходила в доме Коминтерна, в том, где на первом этаже была Филипповская булочная. Высокопоставленные деятели занимали здесь роскошные квартиры с видом на улицу Горького, нынешнюю Тверскую. Время от времени за этими деятелями приезжал печально знаменитый «черный воронок» и увозил их в столь же черную неизвестность.

После чего родственников арестованных переселяли в пределах того же дома, но только во двор, в тесные коммуналки.

И, конечно, типичный коммунальный донос имел своей конечной целью завладеть жилплощадью соседа. Исследователь раннесоветского быта Георгий Васильевич Андреевский приводил такой довольно характерный случай:

«Бывший надворный советник Николай Голубев до революции имел в Москве дом. Он ему достался по наследству от отца. Кроме него в доме жили его брат Григорий и сестра Татьяна с мужем, Ксаверием Польди. В конце двадцатых органами НКВД Ксаверий был сослан на Север, но потом сбежал из ссылки и тайно жил у жены. Соседи Голубевых, Берг и Орлов, донесли на Польди куда следует, и он был вновь арестован, а затем, в июне 1933 года, была выселена из квартиры за невозможностью совместного проживания по иску Берга и сама Голубева-Польди. К тому времени главный бухгалтер Института Глававиапрома Берг решил создать в доме Голубева ЖАКТ (Жилищно-арендное кооперативное товарищество). Голубев этому воспротивился. Берга же в его начинании поддержали работник кролиководческого хозяйства Орлов и Елизавета Александровна Верендеевская, ровесница уничтожения крепостного права в России. В конце концов ЖАКТ был создан, и секретарем его стал, естественно, Берг. Тогда Голубевы обвинили Берга в том, что он — бывший крупный фабрикант и домовладелец, Орлова — в том, что он сын псаломщика, а Верендеевскую — в том, что она является дочерью того самого Верендеевского, который при царе имел в Москве свой дом и трактир. В доносе, который написали Голубевы, сообщалось и о недостойных советских людей высказываниях вышепоименованных граждан. В качестве свидетеля от пролетариата выступал на процессе слесарь Горшечников. После него в зале судебных заседаний долго сохранялся запах перегара, устранить который не помогало никакое проветривание. Суд осудил всех троих за контрреволюционную агитацию. В октябре 1935 года городской суд дело прекратил, придя к выводу о том, что Голубевы оговаривают Берга, и даже возбудил уголовное преследование в отношении Горшечникова за лжесвидетельство. А вско-

ре Голубевы были осуждены за клевету на Берга и покинули отчий дом. От буржуазии, хоть и бывшей, тогда избавлялись без сожаления».

Такие вот страсти разыгрывались в стенах советских коммуналок и в залах советских судов.

А вот еще одна история, описанная тем же автором: «В коммунальной квартире на Ульяновской улице жили Ермакова, Шевелева и Иванова. У Ивановой была самая лучшая комната. Ермакова очень хотела в ней жить. В другое бы время ей пришлось отравить соседку, чтобы завладеть ее комнатой, но теперь, в конце тридцатых годов, этого делать было не нужно. Поговорила с подругами. Те предложили написать донос. Вместе с Шевелевой она написала, что Иванова вынашивает план убийства руководителей партии и правительства, и отправила донос куда следует. Учитывая особую опасность подготавливаемого теракта, чекисты не стали раздумывать, а сразу арестовали Иванову. В тюрьме она пробыла с августа 1938-го по апрель 1939 года. Судебная коллегия по уголовным делам под председательством Дерябиной освободила Иванову и дело в отношении нее прекратила, а Ермакову и Шевелеву осудила за оговор»

И еще одна история от Андреевского: «Агент Ростовкинского банно-прачечного треста Гридин полюбил товарища по работе Байкову и сошелся с ней. Жить Гридину было негде, он снимал угол у соседей Байковых по квартире. Встречаться с Байковой было негде. Днем в квартире дети, вечером муж, а страсть настойчиво требовала своего практического воплощения. Наконец душа агента не выдержала, и в апреле 1937 года он написал донос на мужа Байковой. Того посадили. С апреля по сентябрь 1938 года Гридин вел с Байковой безмятежную жизнь. Но в сентябре суд, вопреки всем ожиданиям Гридина, оправдал Байкова, и тот вернулся домой. Вновь начались мучения. Второй донос Гридин писал без сомнений и угрызений совести, как отчет о реализации мочалок и веников. Он писал о том, что Байков ругал советскую власть, что он поносил органы государственной безопасности за их несправедливость и жестокость, говорил о засилье евреев и разорении крестьянства. Одним словом, обо всем, что думал сам и о чем без его доносов все знали. Донос не помог. Прошла «ежовщина», и Гридин сам предстал перед судом. Член

Московского городского суда Морозов, осуждая Гридина на год исправительных работ, указал в приговоре на то, что Байков не мог быть с ним откровенным и тем более вести антисоветскую агитацию в его присутствии, так как находился с ним во враждебных отношениях. Суд был прав. В то время даже друзьям не доверяли, не то что любовникам своих жен. Вот чем закончился этот поистине шекспировский сюжет».

То есть донос отнюдь не гарантировал улучшения жилищных условий и, более того, мог обернуться против доносителя. Но теснота была настолько невыносимой, что некоторые, прекрасно представляя себе все возможные последствия, предпочитали рискнуть.

Впрочем, не всегда донос был делом добровольным. Иногда коммунальных жильцов специально вызывали «в органы» и делали предложение, от которого было невозможно отказаться без ущерба для карьеры, а иногда и свободы. Чаще, впрочем, в таких случаях сами «органы» являлись в институт или на производство, временно оккупировали директорский кабинет и там вели беседы со своими будущими добровольно-принудительными осведомителями или, как в народе говорили, стукачами.

\* \* \*

Случались истории совершенно фантастические по своей драматургии. Актер Евгений Весник писал в мемуарах о том, как забрали его родителей, как его самого повезли в детский спецприемник, как он по дороге бежал, как пробрался к Калинин, попросил помощи:

«Калинин знал меня совсем маленьким. Мы часто бывали у Орджоникидзе в их кремлевской квартире, где иногда бывал и Михаил Иванович. Первая фраза после: “Здравствуй, Женья” — была тихо произнесенная: “Маму тоже взяли?” Я сказал: “Да”. Михаил Иванович спросил, есть ли у меня родственники в Москве. Узнав, что есть, пожелал мне успехов в учебе, дал какие-то деньги, сказал, что меня никто не тронет, пожал мне руку и приказал отвезти домой. Со мной поехал какой-то человек, привел меня в домоуправление, показал запись в домово-вой книге: “Несовершеннолетний Евгений Яковлевич Весник, учащийся средней школы, прописан постоянно

на площади комнаты в 12 квадратных метров в доме № 42, в квартире 57 по распоряжению М. И. Калинина».

Сургучная печать на двери комнаты была сорвана, и я стал ее постоянным жителем. Остальные три комнаты были украшены сургучом с веревочками и следами грозных печатей. До сих пор я не могу спокойно смотреть на застывшие кружки из сургуча. Они пугают меня своей безжизненностью, мне всегда кажется, что все то, что несет на себе холодный сургуч, обязательно таит зло!

Итак, холодный сургуч был снят с моего будущего, и началась полная неизвестности и тревог самостоятельная жизнь. 15 января 1938 года мне исполнилось 15 лет».

Только вот квартира эта из отдельной превратилась в коммуналку: «В нашу квартиру вселили новых жильцов: инженера с семьей в две комнаты, а в третью — выдвигенца из села. Выдвигенец вскоре стал владельцем всего нашего имущества в этой комнате, в которой он прекрасно себя чувствовал. Окружавшая нас вакханалия не помешала, а может быть, помогала ему стать большим начальником — сначала в сфере науки, а затем искусства и культуры. Новые соседи относились ко мне внимательно, даже сочувственно. Выдвигенец, несмотря на то что, конечно же, был связан с НКВД, помог устроиться на работу подсобным рабочим на завод “Ниогаз”.

Зла на них ни на кого не держу, благодарен за все доброе, проявленное в мой адрес. Спасибо, Исидор Леонтьевич, спасибо, Валентина Павловна, спасибо, Иван Данилович!»

\* \* \*

Сергей Заяицкий в рассказе «Человек без площади» описывал занятную историю о столоверчении в коммунальной квартире:

«Семен Петрович заметил, что стол, на котором лежали руки, вдруг начал проявлять признаки жизни. Он как-то затрясся и, слегка наклонившись, топнул ножкой.

Во мраке плыли перед глазами красные и зеленые круги.

Слышно было, как тяжело дышали дамы. Атмосфера становилась беспокойной.

Семен Петрович подумал о своем служебном столе,

заваленном книгами, возле окна, из которого видна была площадь Революции. Уж тот стол, наверное, не стал бы вытворять таких штук.

Но в это время какое-то уже довольно энергичное потряхивание стола разогнало отрадные мысли.

Положительно жутко становилось во мраке.

Что-то щелкнуло в углу. Вдруг ни с того ни с сего хлопнула дверь, с треском упала со стены картинка.

Было такое чувство, словно в комнату вползла огромной величины собака.

Семен Петрович ощущал, как весь он покрывается мелким цыганским потом. «Соседи — коммунисты, — думал он, — вдруг пронюхают? Хоть бы духи эти тишину соблюдали».

— Внимание, — прошептал Стахевич, — цепь не разорвите...

Мрак стальным обручем сковал череп.

А в углу определенно происходила какая-то возня, словно собака никак не могла найти место. Чтобы улечься.

Стол вдруг затрясся, как в лихорадке.

— Яичницу с ветчиной и стакан бургундского! — слышался из угла резкий голос, — гром и молния — поторапливайся, моя пулярдочка!

Пронзительно вскрикнула Гура, ибо Семен Петрович, внезапно вскочив, разорвал цепь.

— Свету, свету, — кричал кто-то.

— По местам, — шипел Стахевич, — вы погубите медиума.

Но Семен Петрович зажег электричество».

Дух оказался французским королем Генрихом Четвертым. К тому же не желающим покидать место своей неожиданной локации. Пришлось сдаваться управдому, а затем и записываться на прием к юрисконсульту: «Юрисконсульт был после товарищеского юбилея и зевал так, что челюсти трещали на всю квартиру.

— Генрих Четвертый? — спросил он, закуривая и размахивая спичкой, — это тот, что ли, который в Канносу ходил? Или... а-у-а (он зевнул)... французский?

— Французский... А впрочем, кто его знает.

— Положим, это не важно... Будем рассуждать сначала de facto, а затем de jure. Вы извините, что я все зеваю. Что мы имеем de facto? Наличие в вашей комнате какого-то постороннего гражданина. Обстоятельства его



въезда нас пока не интересуют. Гм... вы имеете что-либо против его пребывания у вас?

— А как же не иметь. Нормальная площадь для двоих, потом, ведь я женат. Знаете, бывают интимные положения.

— Это нас пока не интересует. Так. Стало быть, вы желаете, чтоб он выехал?

— Очень желаю.

— Подайте в суд.

— Да ведь, Александр Александрович, неловко мне при моем служебном положении о спиритизме заикаться.

— Тогда примиритесь. Ну, пусть живет... Ведь это, так сказать, вроде миража.

— Да у него документов нет, у подлеца такого.

— Объявите в газете, мол, утеряли документы какого-нибудь там Черта Ивановича Вельзевулова...»

С каждой минутой перспективы становились все туманнее и неприятнее.

\* \* \*

Основным местом формирования доносов была, разумеется, кухня. Кто в сердцах не выругается по поводу тесноты, дороговизны, невысокого жалованья! А тут — соседи, ушки на макушке, и у каждого — блокнотик. Одна из коммунальных жительниц писала: «В квартире надо было очень остерегаться и не говорить ничего лишнего. При том, что кухня была общая на все четыре семьи, живущие в квартире, это было не очень легко. Я особенно боялась за мать, которая никак не могла смириться с разными постановлениями Советского государства и часто выражала вслух свое неудовольствие».

И еще. Появление ночью в квартире человека в фуражке и при пистолете не всегда приводило к трагедии. Время от времени городской жилой фонд — и в первую очередь, конечно, коммунальные квартиры — просто осматривался милицейскими нарядами. Особенно это практиковалось в военное время и сразу после войны.

Ночью раздавался звонок в дверь. В квартиру заходили несколько человек в форме народной милиции. Всех будили, требовали предъявить документы, осма-

тривали помещения, в том числе уборную, и всевозможные кладовки, если они были. И, если ничего не вызывало подозрения, брали под козырек и удалялись.

Пантелеймон Романов писал в рассказе «Право на жизнь»:

«Леонид Останкин получил надежду на возвращение к жизни.

Пройдет еще года два, эстетические потребности возродятся, и тогда ему опять можно будет жить.

Он опять стал писать и поселился в одном из больших домов, где ему дали комнатенку по ордеру.

Население этого дома было приличное, все главным образом сыновья народных учителей...

Но спокойствия он не нашел. Постоянно устраивались собрания, от которых он боялся уклониться, чтобы комендант не заподозрил его в равнодушии. А коменданта он почему-то безотчетно боялся, вопреки всякой логике.

И когда из домкома приходили что-то обмеривать в его комнате, он всегда с бьющимся сердцем открывал дверь и даже как-то особенно кротко и лояльно кашлял, пока обмеривали, хотя он был совсем здоров. Но почему-то боязно было показать, что он живет в полном благополучии и даже ни от каких болезней не страдает.

Когда же приходили обыскивать, не скрывается ли у него кто без прописки, Останкин сам показывал им те уголки, которые они по рассеянности пропустили. И когда обыскивавший извинялся за беспокойство, то Останкин чувствовал себя растроганным тем, что он чист, и тем, что его обыскивать приходили такие вежливые люди.

И ему даже было жаль, что у него всего одна каморка и в ней много показывать нечего».

\* \* \*

Кстати, повышенная уязвимость жителей советских коммуналок перед «чрезвычайкой» создавала, так сказать, повышенную нагрузку на редких жителей отдельных квартир. Дочь писателя Виктора Шкловского вспоминала:

«В Лаврушинском переулке мы жили в отдельной квартире. Это была большая редкость. Из всего школьного класса только моя семья жила в отдельной квар-

тире. Люди жили в подвалах, иногда по 8—10 человек в одной комнате. Даже спать было негде. Старались работать в разные смены.

В Москве немного было домов, куда можно было прийти, выйдя из тюрьмы. Но к нам люди приходили. Я была маленькая, но знала: надо накормить, достать белье из комода, налить ванну. Ночевать у себя все равно нельзя было оставить: на лестнице дежурила лифтерша. Ценили “вычисленных” стукачей, даже берегли. У некоторых был талант угадывать соглядатаев. Пока стукач был на месте, дом существовал, при перемене кто-то мог сесть — просто за анекдот. Одна наша соседка признавалась: “Да я там ничего плохого про вас не говорила”».

А Надежда Мандельштам писала в мемуарах: «В Москве был только один дом, открытый для отверженных. Когда мы не заставляли Виктора и Василису, к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню — там у Шкловских была столовая — кормили, поили, утешали ребячьими разговорами... Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а О. М. — рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О. М., шумел, рассказывал новости... Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми».

\* \* \*

Справедливости ради отмечу, что не всегда сосед соседу был страшный серый волк. Существовала и взаимовыручка. Сергей Михайлович Голицын так описывал в своих воспоминаниях московский коммунальный быт:

«Спиридоновская коммуна славилась весельем и гостеприимством. Лина и обе сестры Бобринские служили в АРА, которая помещалась тут же, на Спиридоновке;

Юша и Миша учились на историко-филологическом факультете университета; сестра Соня только что провалилась на экзаменах по политграмоте на естественном факультете университета. За нее усиленно хлопотал отец, чтобы устроить ее учиться куда-либо еще.

Питались все вместе. Девушки приносили американские пайки. Муку несли в ближайшую частную булочную на углу Георгиевского и там меняли из расчета три четверти фунта белого хлеба за фунт муки. Юша, считавшийся домовладельцем, время от времени вытаскивал из пыльных куч какую-нибудь статуэтку и нес ее продавать антикварам, а деньги вносил в общую кассу; Лина была за старосту и за кухарку, Юша бегал в булочную и на Смоленский рынок, Миша разыгрывал из себя барина, а впрочем, изредка привозил продукты из Сергиева Посада, где жили его родители.

На Спиридоновку приходило много гостей, все больше мужчин. Являлся недавно освобожденный из Бутырской тюрьмы, живший неподалеку наш троюродный брат Георгий Осоргин. После удачной финансовой операции он притаскивал вина (водки тогда не было), начинался кутеж, изредка он возил компанию в пивную или даже в ресторан “Прага”, катал на лихачах. Он ухаживал за Линой, и были сочинены стихи:

Спиридоновская Лина  
Очень любит Георгина.  
Белый китель-кителечек,  
Офицерский сапожочек,  
Бакенбарды белокуры  
Ей сулят в душе амурь.

Еще являлся Мика Морозов, которого в детстве запечатлел в ночной рубашечке Серов. Он кончал университет и еще не успел прослыть шекспироведом, относился с презрением ко всем окружающим и сочинял заумные стихи. Однажды при мне он прочел завывающим голосом поэму о Михаиле Архангеле; не только я, но и другие слушатели ничего не поняли. Он тоже ухаживал за Линой».

Впрочем, здесь описывается жизнь благородного сословия. Выходцам из простонародья было несколько сложнее — просто в силу воспитания, привычек, кругозора.

Неудивительно, что в скором времени, когда семья Голицыных обосновалась в условиях гораздо более просторных и комфортных, всего с одной соседкой, атмосфера вновь сложилась более чем дружелюбная: «В квартире, кроме нас, одну комнату занимала почтенная вдова, бывшая каширская помещица — Бабынина Елизавета Александровна. С первых же дней она близко сошлась со всеми нами, по вечерам приходила пить чай со своим сахаром и вела нескончаемые беседы о добром старом времени с бабушкой, с дедушкой и их гостями, которые являлись почти ежедневно. С нею я очень подружился и за небольшую плату — три миллиона рублей мешок — носил ей из сарая дрова, а иногда читал вслух стихи символистов».

Все это несколько напоминало жизнь московской дворянской элиты в эвакуации 1812 года, в Ярославле. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Более того, и там, и там дворяне были полностью уверены, что все эти проблемы ненадолго, что еще чуть-чуть — и жизнь вернется в привычное русло. Разница лишь в том, что в 1812 году все так и вышло — в отличие от 1920-х.

\* \* \*

Порядочный сосед попался молодому Окуджаве, когда он учился в городе Тбилиси:

«Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетьа, переехавшая в другой город... За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу займы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной.

Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал он шепотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт, — шепнул он, — нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселий.

— Почему веселый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело. — И снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал».

И вот мама приехала.

«Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза...

— Сейчас мы поедем, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?...

Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепелась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Дэржи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю...

Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив...

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбежал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе. Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами...

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?»

\* \* \*

Даже такой язвительный писатель, как Михаил Зощенко, и тот нашел пример взаимопомощи среди соседей. Правда, не соседи были там главными героями — но в то же время без соседей дело бы не выгорело.

Итак, рассказ «Честное дело»:

«У нас из коммунальной квартиры выехала на дачу одна семья. Папа, мама и ихнее чадо.

Ну выехали. Заперли на всякий замок свою комнатенку. Один ключ себе взяли, а другой, конечно, соседке отдали — мало ли чего случится. И отбыли.

А надо сказать, был у них в комнате инструмент — рояль. Ну обыкновенное пианино. Они его брали на прокат от Музпреда...

Вдруг, значит, является на ихнюю городскую квартиру специалист — настройщик роялей, присланный, конечно, своим учреждением.

Конечно, соседка ему говорит: мол, сами уехавши до осени, рояль заперли и, безусловно, его настраивать не приходится.

Настройщик говорит:

— Это не мое постороннее дело — входить в психологию отъезжающих. Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд произвести, чтоб меня не согнали с места службы, как шахтинца или вредителя.

И, значит, открыла ему дверь; он пиджачок скинул и начал разбирать это пианино, развинчивая всякие гачки, штучки и гвоздики. Развинтил и начал свою како-



фонию. Часа два или три, как больной, определял разные звуки и мурыжил соседей. После расписались в его путевке, он очень просветлел, попрощался и отбыл.

Только проходит месяц — снова является.

— Ну как, говорит, мой рояль?

— Да ничего, говорят, стоит.

— Ну, говорит, я еще беспременно должен его настроить. У нас раз в месяц настраивают. Такой порядок.

Начали его жильцы уговаривать и урезонивать — мол, не надо. Комнатка, дескать, заперта. Рояль еще два месяца будет стоять без движения. К чему такие лишние траты производить!

Уперся на своем.

— У меня, говорит, наряд на руках. Не просите. Не могу.

Ну, опять развинтил рояль. Опять часа два назад свинчивал. Бренчал и звучал и на брюхе под рояль ползал.

После попрощался и ушел, утомленный тяжелой специальностью.

На днях он в третий раз приперся.

— Ну как, говорит, не приехадши?

— Нет, говорят, на даче отдыхают!

— Ну так я еще поднастрою. Приедут — очень великолепно звучать им будет.

И хотя ему объясняли и даже один наиболее горячий жилец хотел ему морду наколотить за потусторонние звуки, однако он дорвался до своего рояля и снова начал свои научные изыскания.

Сделал свое честное дело и ушел на своих интеллигентных ножках».

А ведь могли действительно побить.

\* \* \*

И еще. Когда я в конце 1990-х жил в коммуналке у метро «Аэропорт», мы поначалу очень ладили с соседями. Особенно с соседкой. Ее муж уходил на работу, а она оставалась сидеть по хозяйству воспитывать ребенка. Моя жена тоже с утра куда-то уходила, а я оставался дома — работать. И, конечно, по хозяйству. Так что хозяйничали мы с соседкой.

Это было прекрасное время. Уходя в магазин или на рынок, она спрашивала, что мне купить. Я, соответ-

ственно, спрашивал у нее то же самое. Можно было уйти и не бояться, что твой суп убежит, а вызванный холодильный или телевизионный мастер уйдет ни с чем. Суп выключат, а мастера впустят. Я даже не понимал, как жил раньше, в отдельной квартире. Именно этот формат мне казался единственно правильным. Отношения были прекрасными.

Что, впрочем, не мешало моим обожаемым соседям испортить мой любимый электрический нож. Была в то время мода на подобные девайсы. Нож подключается к розетке, и два лезвия начинают быстро-быстро друг о друга тереться. Чтобы порезать хлеб или, там, сыр, не надо делать рукой режущие движения. Нож просто ставится на шмат сыра и как бы проваливается в него, отрезая при этом кусочек.

Получалось и быстрее, и аккуратнее, и рука не уставала. Очень удобная вещь.

У ножа был настенный держатель, я повесил его на шурупчик рядом с дверным косяком. Разумеется, он никому не мешал. Но то ли соседей возмутил сам факт наличия у меня такой роскошной вещи (у них электроножа не было), то ли они считали эту часть кухни своей — а я с непривычки этот факт не словил.

Соседи фыркали и требовали, чтобы я убрал свой нож. Я каждый раз обращал это в шутку — просто не думал, что такая незначительная тема может заслуживать серьезного подхода.

Зря не думал. В какой-то момент нож вдруг не заработал. Не знаю уж, чего они туда налили, но все металлические детали механизма остались в сохранности, а пластмассовые превратились в противное желтое месиво. Нож пришлось выбросить.

Да, впоследствии наши отношения с соседями испортились в первую очередь благодаря моему чрезмерному гостеприимству. Я уже писал об этом и еще напишу.

Но напомним, что все это было потом, а нож мне обездвижили в самую приятельскую фазу наших отношений.

Впрочем, неудивительно. В советской коммуналке — а с распадом СССР она, естественно, не сделалась какой-либо другой — свои, звериные законы, правила, традиции. И любое исключение из этих правил — не более чем исключение и есть.

---

## *Кто к кому? Прием гостей*

Прием гостей в коммунальной квартире — весьма деликатный момент. И не только по отношению к соседям, которые при этом, разумеется, испытывают определенные неудобства. Даже по отношению к гостям. Которые как минимум рискуют просто не попасть в число этих самых гостей.

Михаил Кольцов писал:

«По вполне точным сведениям, у вашего знакомого сегодня вечеринка. Но вы туда не приглашены.

Вас не пригласили не потому, что вы плохой человек, не потому, что о вас плохо думают или вас не любит хозяин дома. Попросту потому, что... нельзя же всех приглашать! У «хозяина дома», как и у вас, только одна комната. Даже если вытащить оттуда всю мебель в коридор, можно набить в комнату десять, ну двенадцать, ну, как сельдей в бочке, пятнадцать человек. Печально, грустно, но факт, вы, по самым строгим подсчетам, оказались шестнадцатым. И потом, если уж пригласить вас, надо непременно пригласить еще троих, иначе будет смертельная обида. Потому решили пожертвовать вами. Устроителю вечеринки стыдно и неудобно перед вами. Завтра, на работе, он будет сторониться вас, избегать, потом, из дипломатических соображений, подойдет и заведет разговор о посторонних вещах, а вы будете делать вид, что ничего не знаете, и вдруг он с перепугу скажет, что, мол, вчера заходили к нему товарищи, было довольно весело, искали вас, но не нашли, а вы

тоже с деловым видом скажете, что, мол, уходили по делу на кружок, и он будет знать, что вы врете, а вы будете знать, что он врет, и вы будете друг на друга злиться, подозревая друг друга в интригах и не подозревая, что оба вы хорошие люди и вина не в вас, а в тесноте и бытовой неорганизованности нашей жизни.

Ах, теснота. Не будь ее, может быть, отпали бы очень многие явления, которые кажутся нам весьма глубокими, загадочными и сложными. Имей каждый студент хоть плохонькую комнату для жилья и занятий, не спи он вповалку со своими однокурсниками обоего пола, — может быть, не было бы истощенных разговоров о падении нравов современной молодежи, может быть, модные беллетристы не пожинали бы скандального успеха половых проблем, “черемух” и “лун”.

Но жилищный кризис, теснота, скученность еще велики и рассасываются медленно».

\* \* \*

Бывало, в коммунальную квартиру заглядывали гости-знаменитости. Такое, естественно, было событием. Москвичка Раиса Сегал вспоминала:

«Мандельштама я видела всего один раз, в 1931 году.

Мы жили тогда по адресу: Москва, Старосадский переулок, 10, квартира 3. Это была коммунальная квартира; очень большая; до революции наш дом принадлежал какому-то богатому еврею. Часть квартир он сдавал внаем, а наша — была его собственной, поэтому она отличалась от остальных: там были итальянские цветные стекла, широченный коридор, две кухни (в одной стирали, в другой готовили), и было девять комнат, в которых жило девять семей. На кухне гудело шестнадцать примусов.

Одного соседа мы, маленькие, звали дядя Шура. Это был Александр Эмильевич Мандельштам, брат поэта, высокий, болезненно худой человек со спокойным и милым характером. С ним жила его семья: жена Элеонора и маленький сын.

И вот, однажды вечером к дяде Шуре пришел гость. Он был, как мне тогда показалось, маленького роста (во всяком случае меньше дяди Шуры), в нелепом пиджаке и со смешными, оттопыренными ушами. Все порывался

с кем-нибудь заговорить. Помню его с папиросой в руках, стоящим в нашем огромном коридоре, куда вечно выходили курить соседи, звонил телефон и играли дети.

Кто-то мне шепнул:

— Это поэт, Осип Мандельштам».

Кстати, сосед «дяди Шуры», Александр Герцевич Беккерман, большой любитель поиграть на пианино, сделался своего рода прототипом известного стихотворения «Жил Александр Герцевич...». Правда, настоящий Александр Герцевич был не музыкантом, а урологом.

\* \* \*

Очень гостеприимным было семейство Булгаковых. Катаев писал:

«По характеру своему Булгаков был хороший семьянин. А мы были богемой. Он умел хорошо и организованно работать. В определенные часы он садился за стол и писал свои вещи, которые потом прославились. Нас он подкармливал, но не унижая, а придавал этому характер милой шалости. Он нас затаскивал к себе и говорил: “Ну, конечно, вы уже давно обедали, индейку, наверное, кушали, но, может быть, вы все-таки что-нибудь съедите?”»

У Булгаковых всегда были щи хорошие, которые его милая жена нам наливала по полной тарелке, и мы с Олешей с удовольствием ели эти щи, и тут же, конечно, начинался пир остроумия. Олеша и Булгаков перекрывали друг друга фантазией. Тут же Булгаков иногда читал нам свои вещи — уже не фельетоны, а отрывки из романа. Помню, как в один прекрасный день он сказал нам: “Знаете что, товарищи, я пишу роман, и если вы не возражаете, прочту несколько страничек”. И он прочитал нам несколько отрывков очень хорошо написанного, живого, яркого произведения, которое потом постепенно превратилось в роман “Белая гвардия”».

А когда деньги заканчивались, снаряжали отряд в ближайшее казино. И этот отряд постоянно выигрывал, после чего возвращался в булгаковский дом, но уже с вожделенными приобретениями. Тот же Катаев вспоминал: «Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по выюжной Тверской к Ели-

сееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер — непременно чеддер! — который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна».

\* \* \*

Уже упоминавшийся поэт Алексей Алексеевич Дидуров на протяжении долгого времени руководил так называемым рок-кабаре «Кардиограмма». Естественно, многие из участников этого начинания бывали у него в гостях. Артемий Троицкий писал: «С начал 80-х на личной жилплощади Дидурова в коммуналке в Столешниковом переулке возник литературно-музыкальный салон — фактически единственное место в Москве, где регулярно встречались творческие неформалы разных направлений и разных поколений, от Е. Рейна и Ю. Ряшенцева до Б. Гребенщикова и В. Цоя. Именно этот еженедельный квартирный фестиваль трансформировался в рок-кабаре».

Но коммунальное окружение Алексея Алексеевича было таким, что вряд ли могло по достоинству оценить свое счастье.

\* \* \*

Вообще, прием гостей в поздних советских коммуналках проходил гораздо проще. Возможно, потому, что сами коммуналки были уже как бы недокоммуналками, лишенные и старших по квартире, и других признаков первых лет и даже десятилетий советской власти. Литератор и морской биолог Тина Хеллвиг вспоминала:

«В какой-то день после лекций мы пешочком отправились от университета, через Дворцовый мост на Невский проспект, потом свернули на боковую улочку и дворами вышли к Машиному дому. Двор-колодец, окна смотрят друг на друга, солнце в этот дворик, вероятно, не заглядывает никогда. Вошли в подъезд, круглая узкая лестница, надо чапать на последний шестой этаж, лифта нет. Для нас, молодых девчонок, это было не проблемой. Звоним, дверь открывает Маша, знакомимся, она нас приглашает пройти в ее апартаменты.

Огромная коммуналка с длинным коридором, почему-то пока мы шли, мне вспомнились слова из песни В. Высоцкого: "...система коридорная, на 38 комнат всего одна уборная". Маша распахнула дверь своей комнаты и пригласила войти. Как оказалось, Маша жила одна в двух смежных комнатах общей площадью метров 80! Дальняя была ее жилой зоной, а проходную она превратила в некий светский салон. Там стоял старый рояль, какие-то козеточки и диванчики дореволюционного происхождения. На столе, покрытом плюшевой скатертью, стояли старинные канделябры со свечами. В книжных шкафах было много книг, в том числе и старинных с золотыми обрезами. Маша пояснила, что все это старинное великолепие перешло от ее деда к отцу, а потом к ней.

К комнате было человек восемь-десять гостей, Маша представила нас всем, потом сказала, кто есть кто. Я не запомнила всех, но сразу обратила внимание на два обстоятельства. Люди в этой компании чувствовали себя легко и свободно, вероятно, они часто проводят время вместе. И еще одно: мое внимание привлек мужчина: светлые волосы спадали тяжелыми прядями на плечи, аккуратная борода обрамляла лицо, а глаза были ярко-голубого цвета, как наши северные озера в летний день...

Однако вернемся к гостям. Кто-то сел за рояль и стал наигрывать какую-то мелодию, остальные, разделившись на группы по два-три человека, живо что-то обсуждали... Мы с Софией тихонько сидели на диванчике и наблюдали за гостями и слушали музыку. Подошла Маша и сказала, что хочет познакомить нас с интересным художником, коим оказался тот симпатичный мужчина. Звали его Юрий, родом он был из Прибалтики. Я спросила, какие сюжеты картин ему ближе всего. Он ответил, что он маренист. Его привлекает море в любое время года и суток, он может бесконечно любоваться игрой света в воде, изменчивостью волн во время шторма... Он говорил долго и красиво, а я смотрела в его бездонные голубые глаза и почувствовала, что я уже в них утонула...

Юрий, видя нашу заинтересованность его творчеством, пригласил нас втроем посетить его мастерскую, он извинился, что не может пригласить всю компанию,

поскольку мастерская очень маленькая. Пара часов пробежала незаметно, пора было покидать гостеприимный дом. Мы договорились, что Юрий сообщит Маше, когда нам лучше прийти».

Просто какой-то салон Анны Павловны Шерер в простой питерской коммуналке.

Кстати, чем дальше, тем чаще коммунальная квартира выполняла роль богемного пристанища. Художники, фотографы, ваятели либо получали эти недометры по наследству, либо выкупали их за свои пусть и скудные, но гонорары — и за сущие копейки жили с видом на Москву-реку, древний монастырь или даже Кремль. И это тоже явственно указывало на закат коммунальной эпохи.

А некоторые деятели искусств настолько дружили со своими соседками, что использовали их — к дичайшей радости самих соседок — в качестве моделей, в том числе и ню.

\* \* \*

Вообще, с парадоксальной ситуацией с гостями в поздних коммуналках я столкнулся на собственном опыте. Как уже упоминалось, на протяжении некоторого времени я жил у станции метро «Аэропорт» и делил трехкомнатную квартиру с неким семейством — муж, жена и маленькая дочь. К ним тоже иногда заходили гости, но, как правило, в обычном обывательском формате — в воскресенье днем. Сначала все обедали, потом шли гулять, возвращались, полдничали (у них это так и называлось — полдник), потом все семейство провожало гостей до метро, возвращалось и дружно готовилось к новой рабочей неделе.

Я на работу не ходил, у меня гости были постоянно, и притом самые разные. Я уже писал о том, как один из приятелей перепутал комнату и уложился спать к соседке. Зато на следующий день могла явиться, так же позвонив один лишь раз, пожилая и благообразная супружеская пара. Соседи по привычке начинали ругаться — дескать, к Митрофанову два звонка. Те в ответ приветливо улыбались, и соседи с удивлением обнаруживали, что пара может говорить лишь по-английски. Мог зайти священник в рясе — в 1990-е годы это еще



воспринималось как экзотика. И снова — бесшабашная и хулиганская компания. В какой-то момент оказывалось, что священник в рясе — тоже полноправный член этой компании. На следующий день приходил, например, человек, которого они ежедневно смотрят по телевизору. Да и меня одно время каждый день показывали по телевизору.

Святые люди — ко мне ни разу не вызвали милицейский наряд. Впрочем, подозреваю, что причиной было не избыточное милосердие, а банальная обывательская осторожность. Они просто боялись идти на конфликт — ведь от таких гостей чего угодно можно было ожидать — хотя бы того, что полицейские, ознакомившись с документами визитеров, встанут на их сторону с совершенно непредсказуемыми для соседей последствиями.

Сейчас подобное представить себе сложно, но помню, что все это происходило в 1990-е, которые совсем не зря называют лихими.

---

*Кто куда?  
Подъезд и двор —  
продолжение коммуналки*

Описание коммунальной жизни было бы неполноценным без участия двух очень важных фигурантов — коммунального подъезда и коммунального двора. Особенно последнего. Что неудивительно — квартирная скученность просто вынуждала людскую массу выплескиваться в междомовое пространство.

Начнем, впрочем, с подъездов. После революции они сразу же переменились. До неузнаваемости. Некогда роскошные и респектабельные пространства с лепниной и медью превратились в какие-то заплывающие и загаженные сараи, куда, кроме того, сваливали всякий хлам. А вот нужные в хозяйстве вещи там, напротив, оставлять не следовало — в подъездах подворывали. Булгаковский герой, профессор Филипп Филиппович Преображенский сердился: «Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом: ни одного — чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю.

Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запиравать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?»

А выражение «пропал калабуховский дом» сделалось нарицательным.

Впрочем, со временем воровство в коммунальных подъездах полностью прекратилось. Не потому, что граждане стали сознательнее — просто наученные горьким опытом жильцы больше не оставляли ничего за стенами квартир. Да, в этих стенах продолжали тырить друг у друга — но там и круг подозреваемых гораздо меньше, и имеется возможность проследить за злоумышленником.

Опасность для подъездов представляли не только любители соседских калош. Отопление не действовало, и зимой каждый топил свою личную печку — так называемую буржуйку — дровами. Дрова, естественно, везли на санках — а на чем же еще их возить? И на тех же самых санках тащили по лестнице на свой этаж (лифт, ясное дело, не работал).

Полозья тяжелогруженых санок действовали на ступени разрушительно — они просто-напросто стирались в крошку, и в какой-то момент подниматься-спускаться было фактически уже не по чему.

А вот поэт Николай Заболоцкий увидел на коммунальной лестнице совершенно другое:

Коты на лестницах упругих,  
Большие рыла приподняв,  
Сидят, как будды, на перилах,  
Ревут, как трубы, о любви.  
Нагис кошечки, стесняясь,  
Друг к дружке жмутся, извиняясь.

Кокетки! Сколько их кругом!  
Они по кругу ходят боком,  
Они текут любовным соком,  
Они трясутся, на весь дом  
Распространяя запах страсти.  
Коты ревут, открывши пасти, —  
Они как дьяволы вверху  
В своем серебряном меху\*.

Музыкант Алексей Козлов писал о коммунальном подъезде несколько более позднего, послевоенного времени:

«Там было чаще всего темно и страшновато, так как лампочки не горели. Если кто-то в подъезде и собирался, то это были более взрослые ребята, которые там курили, играли в “очко” или выясняли отношения, разводили “толковищу”. Жильцам эти сборища в подъездах не нравились, поэтому нас оттуда гоняли. Так что в плохую погоду все сидели по домам...

Еще одно воспоминание, связанное с нашим подъездом, относится к признакам того времени. Лестничные клетки в нашем доме были необычные, потому что сам дом был в прошлом какой-то фабрикой, переделанной под огромное пятиэтажное жилье. Лестница шла в сердцевине здания и имела сложную форму с ответвлениями и различными площадками на этажах. Двери в некоторые квартиры находились несколько в отдалении от основного марша, а другие были непосредственно на проходе.

В одной из таких квартир, которую нельзя было обойти стороной, жила одинокая женщина с немецкой фамилией Гейнце. Она сошла с ума, когда ее мужа репрессировали и он пропал в ГУЛАГе. Очевидно, был расстрелян. Но родственникам сообщалось в таком случае, что он осужден на “десять лет без права переписки”. Сумасшествие этой женщины состояло лишь в том, что она не верила в гибель мужа и постоянно ждала его возвращения. Выйдя на лестничную площадку третьего этажа и стоя рядом с дверью своей квартиры, она подолгу прислушивалась к шагам вниз, к стуку двери подъезда. Она никогда не кричала, не плакала и ни с кем не заговаривала. С ней тоже никто не общался. Внешне

---

\* «На лестницах» (1928).

она производила впечатление сумасшедшей старухи, с копной седых, растрепанных волос, хотя, скорее всего, была еще совсем не старой.

Будучи младшим школьником, я боялся один идти домой, так как надо было пройти мимо нее. Я понимал, что физически она не опасна, не схватит, не закричит. Родители как-то невнятно объяснили мне, почему она стоит там, стараясь смягчить ее образ. Но все равно идти мимо нее к себе на четвертый этаж было примерно тем же, что постоять рядом с привидением. Поэтому, если была возможность, мы ходили домой не поодиночке. Даже если Гейнце не было на площадке, все равно идти мимо ее квартиры было как-то тревожно. Здесь был не только страх, а и ощущение какого-то настоящего, безысходного горя. Когда я стал гораздо взрослее и преодолел детские страхи, ходить мимо этой несчастной женщины стало несколько легче, но каждый раз приходилось делать над собой усилие. Окончательно всем стало ясно, что с ней произошло, только после разоблачения культа личности Сталина и опубликования некоторых данных о репрессиях в нашей стране».

Богатый мир советских коммунальных лестниц.

\* \* \*

Впрочем, выйдем во двор.

Феликс Кандель писал в книге «Житие девятой квартиры»: «Во дворе выстроили дощатую контору: стол под кумачом для заседаний, стенгазета в стихах с орфографическими ошибками, кружок политграмоты для дворников, лифтерш, водопроводчиков, где разъясняли текущий момент и указывали на неодолимые приметы нового, что пробивало себе дорогу в борьбе со старым».

Великолепная и в чем-то даже пасторальная картина.

А вот описание самого, пожалуй, знаменитого советского коммунального двора — при доме 43 по улице Арбат. Именно здесь жил Булат Окуджава. Он же — и автор воспоминаний (записанных с его слов другим поэтом и журналистом, Михаилом Поздняевым в 1988 году):

«Я действительно всю жизнь воспевал эту улицу, этот двор, этот дом. Мой дом выходил фасадом на Арбат... внизу шашлычная, прежде это был ресторанчик, на-

против — зоомагазин, а чуть левее — дом № 44, где тогда жил удивительный человек, поэт Николай Глазков. Но мы с ним, конечно, тогда знакомы не были — я был школьник, а он уже студент и популярный среди пишущей молодежи автор. Я начал писать стихи годы спустя после войны... Наш двор — это пространство, замкнутое несколькими разными домами, а по бокам — двухэтажными флигелями главного здания, моего дома. В годы моего детства там была частная сапожная мастерская чеха Ятнека, “Шляпы” мастера Усса; жили здесь слесари, плотники, конторские служащие, обычная публика старой Москвы. Несколько старух-гувернанток или нянек, оставшихся доживать тут свой век, после того как хозяева уехали во Францию... Татарин дворник Алим — фигура весьма колоритная, как вообще все дворники в те годы. Но он вдвойне замечателен: он был татарский князь, и к нему на совет ехали татары со всей Москвы и из-за города. Когда “Арбатское вдохновение” было напечатано в этом году в “Дружбе народов”, я получил письмо от внука Алима, и он мне поведал о конце своего деда: он был арестован в 38-м, прошел тяжкий крестный путь по сибирским лагерям, всего этого с лихвой попробовал...

Мы были типичные дети того времени — плохо сформированные, наивные, жившие по официальным, а бы сказал, “парадным” законам общества. Мечтали бежать в Испанию, играли в Чапаева, в армию собирались идти в один танковый экипаж, боготворили заграничных коммунистов. Долгое время предметом вождельных рассказов было то, как одного из нас на Красной площади чешский коммунист взял на руки. На счастливица смотрели, как на... слов не подберу! Все в этом дворе было, все уживалось и страшно переплеталось. Пьянство, воровство, полупритоны и просто притоны, в 20-е годы — беспризорные в асфальтовых котлах и тут же рядом — восторги от всяких перелетов, челюскинцев, папанинцев... Уровень культуры был низким, дружба — возвышенной, не побоюсь этого слова — благородной. Был всеобщий дворовый патриотизм. Всем жилось плохо, все нуждались, но некоторые, даже многие — за гранью. Помню семью Сочилиных: он слесарь, она уборщица, пятеро детей, моих товарищей, все жили в одной подвальной сырой комнатке... Ужасно грустно это было. Но оттого, быть может, так крепок был дух

соседства. Все знали друг о друге, друг друга, и, если нужда была, допустим, посидеть с ребенком, — это всегда можно было решить, постучав в стену соседу. И особенно чувствовалось такое отношение друг к другу у нас, детей. Я однажды подарил свое новое пальто сыну прачки — правда, потом долго подвергался дома “гонениям”... Совместно сажали деревья — они сейчас растут во дворе, выше крыши. Устраивали какие-то спортивные соревнования по бегу, прыжкам. И в то же время — воровали пищу на кухне ресторана, устраивали пиры тут же в подъездах, тайное становилось явным, попадало нам за это... Все было перемешано во дворе. Вечером с какими-то урками курили и играли в карты, тащили из ресторанной кухни здорового гуся, порой и вино, а наутро шли в школу, днем играли в Чапаева, громко произносили красивые революционные лозунги, потом опять был вечер».

Кстати, упомянутые в мемуарах «деревья» подчас оборачивались подлинными шедеврами дворово-паркового искусства.

\* \* \*

Краевед Юрий Федосюк писал в своих воспоминаниях о детстве, проведенном в доме 8 по Казарменному переулку. Это детство пришлось на 1920-е годы:

«Дом наш был семизэтажным — по тому времени редкость. В это не сразу верилось; задрал голову, считал: раз, два, три... сбивался, снова считал: да, в самом деле, семь. Это вселяло гордость, таких домов вокруг не было. Мы, маленькие обитатели дома-гиганта, хвалились высотой нашего жилища перед ребятами соседних малоэтажных домов.

Над домом простиралось только голубое, замешенное белыми облаками небо. Иногда с глухим гулом его пересекал самолет, в ту пору именовавшийся аэропланом. Это сразу же отвлекало от игр и других наземных интересов, взоры устремлялись ввысь (“Где он? Ах, вон, вон!”), и дети исступленно скандировали немудреный стишок:

Ироплан, ироплан,  
Посади меня в карман,

Из кармана упаду,  
Всю головку расшибу...

Подрастая, я все большее участие принимал в дворовых детских играх. Они передавались — без изменения правил — от старших к младшим, быстро вспыхивали и так же быстро угасали, заменяясь другими. Игр было десятки, казалось, что они бессмертны; куда же они все или почти все бесследно исчезли? В современных дворах играют всего в какие-либо три-четыре игры. Загадка для социологов и психологов: почему так мало стало групповых игр?

На первом месте стояли уцелевшие до наших дней салки — в Ленинграде они назывались пятнашками. Дотронуться до другого означало осалить его, в Ленинграде — запятнать. Второе место занимал “штандер” — игра с мячом: как только водящий произносил: “Штандер!”, все обязаны были замереть на месте, а тот, в кого попадал мяч, становился водящим. Жмурки и прятки не требуют пояснений. Интересны были варианты прятков — “обознатушки”, когда прячущиеся менялись какой-либо частью одежды, дабы водящий назвал не то имя и продолжал водить, а также “двенадцать палочек”. На доску-рычаг накладывались 12 маленьких палочек, затем кто-нибудь нажимал на конец доски и палочки разлетались в разные стороны. Водящий, прежде чем пойти искать, обязан был найти и вновь разложить на доске палочки, в это время играющие прятались. Самым эффектным было, воспользовавшись тем, что водящий далеко отошел от доски, подкрасться к ней и вновь нажать на ее конец — ему снова приходилось собирать палочки, неловкого “заваживали” и доводили до слез.

Часто в этих случаях в окне появлялась мама неудачника и говорила:

— Ребятки, что вы над ним издеваетесь? Иди, Котенька, домой, брось эту глупую игру, я тебе конфетку дам».

Разумеется, не обходилось без футбола. Футбол был игрой жесткой, в нем всегда участвовали старшие ребята, и родители, в конце концов, запретили будущему краеведу этот вид дворового досуга — слишком уж много нецензурных слов доносилось с футбольной площадки до их интеллигентских ушей.



Алексей Козлов описывал футбол типичнейшего коммунального двора:

«Главной игрой во дворе был, конечно, футбол. И это была не просто захватывающая, азартная игра — это был способ показать себя, укрепить свое положение во дворе, стать авторитетом, привлечь внимание девочек. Для демонстрации своей ловкости и бесстрашия существовало тогда множество поводов. Их придумывали в каждом дворе, исходя из местных условий. Ну, например, ходить по краю крыши пятиэтажного дома, прыгать с высокого сарая, залезать на крышу по водосточной трубе, забираться ночью на чердак и много чего еще. В каждом дворе были свои герои: ловкачи, отчаянные смельчаки, остряки, картежники и, конечно, футболисты. Футбольная ловкость ценилась высоко, и сводилась она к одному главному качеству — умению “водиться”. Скоростные качества и даже умение забивать гол особой ценности не представляли, так как дворовая игра проходила чаще всего в страшной толчее и мяч в ворота не столько забивали, сколько закатывали. Штангами для ворот обычно служили два кирпича, а то и две кучи курток, или школьные портфели. Расстояние между “штангами” отмерялось “приступочками”, то есть длиной ступни. Нередко случалось, что в разгаре матча вратари пытались незаметно сдвинуть одну из “штанг” и слегка уменьшить ворота. Но это было делом рискованным, так как при обнаружении такого “жуханья” можно было “схлопотать пи..юлей”. Довольно часто игра останавливалась из-за споров по поводу того, попал мяч в ворота или прошел мимо или выше предполагаемой штанги. Здесь включался в действие интересный психологический момент. Доказать что-либо после того, как мяч уже улетел, было возможно только с помощью силы. Но здесь вступала в действие не физическая сила, а умение убеждать или же авторитет. В случае такого спорного момента игроки обеих команд подбегали к “штанге” и, размахивая руками, показывали всю траекторию мяча, брали друг друга “на глотку”, подавляя противника громкостью и интенсивностью крика. Но когда это не помогало и каждая сторона оставалась при своем мнении, а энергия спора выхо-

дила через крик, вступал в силу авторитет, либо кто-то, смотревший игру со стороны, либо один из игроков, обладающий авторитетом. Как он говорил, так и зачитывалось. Причем таким авторитетом в данном случае мог быть не только самый старший и сильный “лоб”, а просто кто-то пользующийся доверием, тот, кто никогда не обманывал и хорошо играл в футбол. Мастером в дворовом футболе считался тот, кто умел “водиться”, то есть владел мелким дриблингом, но не на скорости, а на одном месте, не теряя мяч в толкучке и пробираясь все ближе к воротам. Искусство паса не ценилось, разделение на защитников и нападающих было условным. Играли по системе “бей на вырыв”, за мячом бегали всей командой туда и обратно. Защиты практически не было, в защиту ставили обычно самых плохих игроков, но и они не выдерживали стояния на месте и бегали вместе со всеми.

В первые послевоенные годы в магазинах футбольных мячей вообще не было в продаже и поэтому играли либо маленькими резиновыми мячиками, либо детскими резиновыми побольше размером, либо большими тряпочными. Резиновые мячики были очень неудобны в игре, так как с ними игра носила хаотический характер, показать настоящую технику было очень сложно, мяч от малейшего удара сильно отскакивал, бить лучше было лишь “щечкой”, был постоянный риск наступить на мяч. Главная причина, по которой в резиновый мяч играли только малыши, была в том, что умеющий играть здесь почти не отличался от не умеющего, уж больно велика была доля случайности. Поэтому в нормальной дворовой игре, за неимением лучшего, предпочитали большие тряпочные мячи. Размер мяча был еще очень важен по причине похожести всего происходящего на настоящий футбол. Дело в том, что у дворового футбола были как бы две стороны: одна — это непосредственно процесс игры, а другая — чисто театральная, связанная с постоянной рефлексией, осознанием своей похожести на настоящего футболиста, с подражанием кому-либо из своих кумиров».

Впрочем, редким обладателям мяча было не позавидовать: «...постепенно советский народ стал оправляться после военных потрясений, в магазинах стали появляться продукты, в булочных — белый хлеб, на улицах

стали продавать пачки сливочного мороженого, разрезанные на четыре части из-за дороговизны. Появились в продаже и различные спорттовары, в том числе — футбольные мячи. Как только я узнал, что они есть в магазине “Динамо”, я упрямился отца купить мне мяч, даже и не подозревая, чем это мне грозит. Отец-то, конечно, все понимал, но отказать мне не смог, хотя по тогдашним меркам мяч этот стоил баснословных денег. Так я стал обладателем единственного на много дворов в округе настоящего футбольного мяча. На самом деле это было жалкое, несимметричное изделие из грубой коры. Но для нас он был настоящим, поскольку состоял из камеры и крышки, а также имел шнуровку. Я сразу же почувствовал неладное, когда впервые вынес его во двор. Помимо всеобщего ликования нашей дворовой братии, получившей возможность играть в нечто, более близкое к истинному футболу, была еще и скрытая реакция отчуждения от меня некоторых из моих товарищей, продиктованная неосознанной завистью, а может быть и классовым чувством. В нашем дворе подавляющее большинство семей состояли из очень бедных, малообразованных и простых людей, для которых такая покупка была просто невозможна. Обычно мы жили дворовой жизнью, до поры до времени как однородная семья, нисколько не интересуясь, у кого какие родители. Но появление нового мяча сразу обнаружило, что я из “обеспеченных”. А это, согласно всем российским и советским традициям, было нехорошо, и чем старше были дети, тем лучше они это понимали. Помимо некоторого отчуждения, которое я осознал лишь гораздо позже, настоящей пыткой, особенно первое время, было для меня расставание с мячом, когда я вынужден был оставлять его без присмотра во дворе. Обычно выглядело это следующим образом. Как только я приходил из школы домой, снизу, из двора раздавались крики: “Леха-а-а, Леха-а-а!” Я выглядывал в окно и видел несколько “лбов”, то есть самых старших, практически взрослых обитателей двора, как правило, уже знакомых с уголовным кодексом. Некоторые из них периодически незаметно исчезали на год или на два, и так же незаметно появлялись во дворе без лишних объяснений. Я уже знал, зачем я им нужен, но на всякий случай спрашивал: “Вам чего?” — “Кидай мячик!” Не кинуть было не-

возможно, а вот так просто давать играть в эту ценную вещь людям, для которых никаких чужих ценностей не существует, было большим испытанием. Сама мысль о том, что мяч могут не отдать или порвать, что его может отобрать шпана из других дворов, была невыносимой. Чтобы на душе было спокойней, я старался поскорее управиться со своими школьными заданиями и включиться в игру и быть рядом с мячом. Как оказалось, мяч представлял ценность для всех обитателей двора, за ним следили все вместе, клеили проколотую камеру, зашивали расходившиеся швы на крышечке. Постепенно мяч старел, он превратился из черного и блестящего в грязно-серый. Да и я стал спокойнее относиться к возможности лишиться его. Никто и не пытался украсть мой мяч, наоборот, его берегли и без моего участия».

Чаще всего родители, конечно, были против. От футбола проку не было — одни проблемы. Быстро ступталась обувь, приходилось постоянно смазывать ссадины на коленях. Ссадины не заживали и гноились — ведь воздоровления никто не ждал, на следующий день на том же месте появлялись новые ранения.

Но были и волшебные родители, которые на собственные деньги покупали своим детям футбольные мячи. Всякое было.

\* \* \*

Двор двору был рознь. Существовали некие незыблемые правила, а также исключения из этих правил. Юрий Нагибин писал: «Мы жили в той части дома, которая выходила на Сверчков и Архангельский (позже ставший Телеграфным), но адрес писали по Армянскому переулку, хотя нас отделял от него другой двор... По традиции ребятам двух смежных дворов полагается враждовать, но, вероятно, нас объединял общий адрес, мы жили мирно, а врага имели общего девяткинских, населявших всегда бессолнечный, мрачный Девяткин переулок».

Будущий писатель поначалу увлекся дворовой романтикой: «В новых приятелях — такими я их до поры считал — меня восхищало все: облик, столь непохожий на вылощенную, выхоленную гладкость моих коллег по немецкой группе, многие были стрижены под машинку

от вшей и гнид, у всех нагнаивались прыщи, болячки, чирушки на лицах, а руки усеяны цыпками; мне нравились их длинные штаны из туалетной бумаги (я мучился от стыда в коротких) и такие же рубашки, не заправленные в штаны, а перехваченные пояском или ремнем, их странная угрюмость, не исчезающая, скорее усиливающаяся в играх, лаконичная матерная речь и виртуозное умение гонять колесо, чего я невероятными усилиями тоже достиг. Речь идет о времени моей первой очарованности; в середине тридцатых, когда пришла пора отрочества, единообразие нарушилось, зачатки цивилизации проникли в наш странно замкнутый мир, появились свои франты, спортсмены, театралы, музыканты, авиамоделлисты, уголовники, туалетная бумага была отменена, как маоцзэдуновки в Китае после смерти «великого кормчего», одни ребята стали к чему-то тянуться, другие, напротив, пошли на дно.

Странно, что в исходе двадцатых посреди Москвы эти пролетарские дети имели вполне деревенский вид. Я чувствовал себя среди них белой вороной. И что было непонятно: Женька Мельников, сын красного торговца, выделялся не меньше, может, больше моего — родители одевали его, как принца, он даже белые перчатки носил, за что его дразнили «пидорасом». Дразнить-то дразнили, а все-таки он был своим, равным, а я чужаком. Трудно объяснить, в чем это выражалось, но я на всю жизнь запомнил тот долгий, угрюмо не узнающий взгляд, каким меня пронзали, стоило мне хоть чуть высунуться. Этот взгляд означал: тебя терпят, ну и сиди, не рыпайся...

Мне хотелось дружить, а не драться, и я старался завоевать эту дружбу не разбитыми носами, а поступками товарищества. Я затаскивал к себе в дом дворовую элиту — братьев Архаровых, Ковбоя, Юрку Лукина, Пашку Моисеева, Борьку Соломатина и выкладывал свои сокровища: набор акварельных красок, цветные карандаши «Фабер», металлический конструктор — мекано, лобзик и настоящий пистолет «монте-кристо», который в десяти шагах убивает человека. Каждый выбирал себе занятие по душе. Вовка-Ковбой оказался художником, он блестяще нарисовал убийственный «монте-кристо», щедро расходуя редкую серебряную краску, Юрка Лукин заинтересовался мекано и сразу стал собирать самые сложные конструкции, вроде карусели, до

которой я за год не добрался, Борька Соломатин увлекся лобзиком, Пашка Моисеев “Томом Соьером”, а братья Архаровы — воровством. Неудивительно, почему после двух-трех визитов все мальчишки, кроме Архаровых, перестали ко мне ходить, они знали, что братья воруют, и не хотели, чтобы на них пало подозрение. Выдать воришек по кодексу дворовой чести они не могли, кроме того, старший из братьев, Витька, считался в доме первым силачом. Постепенно меня освободили от красок, карандашей, лобзика, конструктора и, наконец, от пистолета “монте-кристо”, убивающего в десяти шагах человека. Я остался с “Томом Соьером”, который в глазах братьев никакой ценности не представлял. Я давно понял, что меня обворовывают, но крепился, никому не говорил, обманывая себя надеждой, что братья берут чужие вещи просто поиграть. Опустошив мои закрома, братья не стали дожидаться, пока их выгонят, и сами прекратили визиты. Любопытно, что, наподлив, они не исполнились ко мне священной ненависти, как обычно бывает. Витька даже заступался за меня во время дворовых разборок.

Куда хуже относились ко мне не задержавшиеся в доме гости. Они злились на мое богатство и еще больше на то, что я его так бездарно спустил».

Жизнь постепенно все расставляла по заранее отведенным местам.

\* \* \*

Чего только не случалось в коммунальных дворах. Можно было этот двор вообще не покидать — впечатлений было предостаточно. Например, историк Алексей Орешников писал в своих воспоминаниях: «К нам во двор пришел гудочник-слепец, я к нему вышел, он пропел стих о блудном сыне, я попросил еще что-нибудь спеть, он пропел незнакомую песню о брате; слов я не понял, дал ему 15 копеек, другие слушатели (плотники) тоже дали кто 5, кто 3 копейки. Пение очень меня тронуло, должно быть, старина мотивов глубокая».

А вот еще один довольно колоритный дворовый персонаж, в изложении Леонида Пржепюрко: «Как сейчас помню, был у нас во дворе религиозный еврей дядя Зяма. Он соблюдал все аспекты жизни при иудаизме: знал

хорошо идиш, посещал часто синагогу, питался кошерной пищей. Он часто сидел на лавочке напротив входа во двор и беседовал на разные темы. Детворе очень интересно было его слушать, так как он был очень начитанным человеком в историческом плане и рассказывал нам много интересного. Но быстрое освоение космоса застало его при его религиозных убеждениях буквально врасплох! Мы все тогда воспитывались строго атеистами и в наших дискуссиях с ним, есть ли Бог, или его нет, он нам говорил так, подняв глаза к небу: «А Ви там (в небе) били?» Первый советский спутник Земли, запущенный атеистическим государством, практически загнал его в подпольное существование. Он перестал вообще дискутировать, стал больше слушать по радио последние известия и читать газеты. К сожалению, он не дожил до полета Юрия Гагарина в космос и, конечно, нам трудно было бы предвидеть его реакцию на возможный наш ему ответ: «Мы там не были, а Гагарин был и Бога не видел!»».

И еще парочка, все от того же автора: «Была в нашем дворе также потомок дворян Юлия Ивановна и ее соседки близкие к ним по воспитанию Татьяна Осиповна и ее родная сестра Ефросиния Осиповна. Юлия Ивановна отличалась от всех жильцов интеллигентностью и глубокими знаниями русского языка и русской литературы. Мы в разговорах с ней старались говорить короткими предложениями, чтобы не попасть впросак от своих «глубоких литературных познаний». Конечно, контакты с ней для нас были очень полезны, особенно для девочек двора: манеры ее поведения, ее одежда и прически, даже в преклонном возрасте, были примером для их становления в обществе, безусловно, с положительными задатками на будущее...

Не могу не вспомнить таких соседей, как дядю Петю, его жену тетю Раю, их дочерей Лилию и Валю, а также другую соседку Олимпиавну. Благодаря их труду двор всегда был чистым и достаточно зеленым: обсажен фруктовыми деревьями и кустами с различными ягодами. Дядя Петя всегда своим личным примером показывал большинству жильцов нашего двора, как надо решать различные дворовые проблемы, а тетя Рая и Олимпиавна своими мажорными характерами не отпугивали людей, а, наоборот, их притягивали своими советами и мастерством во многих делах».

Кто только не заходил в то время в коммунальные дворы! Юрий Никулин вспоминал о своем детстве:

«Появлялись... подводы — худыми, изможденными лошадьми правили совершенно черные люди — угольщики, пронзительно кричавшие:

— Углей, углей! Кому углей? Уг-леее-й!!!

Позже на подводах привозили картофель и слышались крики:

— Картошка-а-а! Карто-о-шка! — кричали дядьки, сидя на мешках.

Затем приходили во двор татары с мешками. Они выкрикивали нечто подобное: “С... арье брем, паем...”, что означало “Старье берем, покупаем”.

Приходили и скупщики бутылок, к которым сбегалась вся детвора. Мы отдавали бутылки, а взамен получали “уйди-уйди” — небольшие свисточки с надувными шариками. Иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики-раскидайчики на резинках».

Юрий Владимирович вообще очень любил свой старый коммунальный двор. Писал о нем с большой душой: «Когда я смотрю на картину Поленова “Московский дворик”, мне сразу вспоминаются дворики нашего переулка. За кирпичным двухэтажным флигелем одного из домов нашего двора находился небольшой — он мне казался громадным — неухоженный сад.

Посреди него холм, обсаженный кустами, мы называли его курганом. Между высокими деревьями в центре сада разбили клумбу, а кругом рос дикий кустарник, вдоль забора — трава с зарослями лопуха. С годами сад уменьшался, потому что засохшие деревья спиливались и на освободившемся месте появлялись деревянные сарайчики.

Во дворе собирались ребята из нашего и соседних домов. Старшие гоняли голубей, играли в “расшибалочку”, тайком курили в саду за курганом. Мы же, мелюзга, играли в “казаков-разбойников”, прятки, лунки, салочки. Позже узнали о волейболе и футболе. Во время футбола часто вылетали стекла в квартирах. И время от времени сообща собирались деньги на стекольщика.

Событием для всех становился приход в наш двор музыкантов, шарманщиков с попугаем. Иногда приходил аккуратно одетый человек и, положив перед собой шляпу на землю, начинал петь. Он исполнял много



песен. Мы стояли вокруг и слушали артиста. Тут же открывались многие окна домов. Все с интересом слушали концерт, а потом бросали завернутую в бумажку мелочь.

В душные летние московские ночи некоторые ребята спали на крышах сараев. Приносили из дома какие-нибудь старые шубы, коврики, матрасы, расстилали их на крышах и устраивались на ночь. Когда я стал постарше, мать, к величайшей для меня радости, иногда тоже разрешала мне ночевать на крыше. Обычно нас собиралась компания из пяти-шести человек. Конечно, о сне не могло быть и речи. Сначала пели песни, потом вполголоса каждый рассказывал страшные истории, необычайные случаи.

Лежа на спинах, смотрим на небо, усеянное звездами, и слушаем звуки ночной Москвы: длинные гудки паровозов доносятся с Курского вокзала, резкие клаксоны автомобилей и отдаленный звон трамваев. Засыпали, как правило, когда небо совсем светлело. А иногда, заснув, вдруг просыпались от крупных капель дождя. Тогда разбегались досыпать по домам.

Все ребята во дворе имели прозвища. Зудилина звали Будильником, одного парня — Паташоном, другого Сапогом, а меня Психом.

Как-то во дворе одному из ребят я сказал:

— А ты у нас псих ненормальный.

— Что такое псих? — переспросили меня.

— Сумасшедший, психически больной, — объяснил я.

Все засмеялись, и меня с тех пор начали называть Психом...

Возникала у нас и вражда. Подерутся двое парней из разных дворов, и начинается месть. Мы боимся ходить в одиночку мимо их двора, они — мимо нашего. В зависимости от “военной обстановки” менялся и мой маршрут в школу. Приходилось делать крюк, чтобы миновать дом номер семь, где мог получить затрещину. Пользовался и системой проходных дворов, что помогало, но не всегда. Как-то иду я через “нейтральный мирный двор”, спокойно насвистываю песенку, а тут подбегают ко мне мальчишки:

— Из какого дома?

— Из пятнадцатого.

— Это у вас Витька Сапог живет?

— У нас.

— А-а... Так это он нашего Алика вчера отлупил?  
И тут мне, конечно, досталось».

\* \* \*

Социальное разнообразие коммунальных жителей наполняло окрестности домов самыми неожиданными событиями. Одно из характерных проявлений этой социальной неразберихи — кулачные бои в центре столиц. С ними вообще все очень интересно.

Поначалу это развлечение было преимущественно деревенским. Неудивительно — бойцовые физические качества больше нужны для выживания в сельской местности с ее лесами, дикими животными и прочими сюрпризами. Для выживания в городе скорее нужны качества ровно противоположные — способность к адаптации, к мирному улаживанию возможных конфликтов.

Это, разумеется, не исключало бои между городскими слободами. Один из них описывал Сергей Аксаков в рассказе «Собирание бабочек»: «Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг со страшным криком татары бросились стеной на стену — и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятити их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне сказывали, что когда случалось одолевать татарам, то они преследовали русских даже в их избах и что тут-то вновь восстанавлился ожесточенный бой, в котором принимали участие и старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попадо».

Действие происходило в Казани — отсюда и национальный колорит. Но по большому счету правила и обычаи кулачных боев были везде одинаковыми. Выходили драться улица на улицу, деревня на деревню, слобода на слободу, а то и один на один. В случае групповых боев у каждой группы был свой атаман или же староста, который осуществлял общее тактическое руководство. Потери с обеих сторон, как правило, были не шуточные, вплоть до смертоубийства. Неудивительно, ведь по суровым правилам этого «вида спорта» можно было и класть в варежку утяжелитель (как правило, кусок свинца), и добивать лежачих.

Власти — как светские, так и духовные — всячески пытались бороться с этим безобразием. Еще в 1274 году митрополит Киевский и всея Руси Кирилл III распорядился «отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать».

Не действовало. Иностранцы были в шоке. Сигизмунд фон Герберштейн писал в 1549 году: «Начинают они борьбу кулаками, а вскоре без разбору и с великой яростью бьют руками и ногами по лицу, шее, груди, животу и детородным частям, и, вообще, каким только можно способом, состязаясь взаимно о победе».

В 1686 году был опубликован уже царский указ: «Которые люди изыманы на кулачных боях; и тем людям за те их вины чинить за первый привод бить батоги, и имать приводныя деньги по указу, за другой привод бить кнутом, да имать приводныя деньги вдвое, а въ третий тем чинить потомуж жестокое наказанье, бить кнутом и ссылатъ въ ссылку в Украйные города на вечное житье».

Жестокие бои, однако, продолжались. Только при Екатерине несколько смягчились правила. Сама императрица подписала указ от 21 июня 1726 года: «Осмотреть рукавицы, дабы никаких инструментов к увечному бою не было, а кто упадет, лежащих никого не били б».

А после отмены крепостного права, когда сельское население, получив свободу и лишившись, вместе с этим, средств к существованию, дружно переселилось в города, и бывшие крестьяне сделались рабочими, бои тоже переместились из деревни в слободы.

И уже после революции 1917 года, когда вступила в действие политика передела жилищного хозяйства,

вчерашние рабочие, они же позавчерашние крестьяне, оказались в самом центре крупнейших русских городов. Туда же, разумеется, переместились их привычки и традиции. И кулачные бои возникли с новой силой уже на Пречистенке, Маросейке и Невском проспекте.

Лев Дуров писал о послевоенном московском Лефортове:

«Были у нас и свои дворовые увлечения, среди которых не последнее место занимали кулачные бои — старая русская потеха.

Не знаю, во всяком случае не слышал, чтобы нечто подобное было в других странах среди других народов. Гладиаторские бои, рыцарские турниры — все это не то: банальное смертоубийство. Даже кулачные бои, которые практиковались в Древней Греции, не идут ни в какое сравнение с русской потехой. Вспомните знаменитую скульптуру древнего мастера “Кулачный боец” и обратите внимание на его кисти рук. Там такое наворочено, что сразу же на ум приходит бандитский свинцовый кастет.

Не дай Бог, если б у нашего бойца заметили зажатый в кулаке тяжелый медный пятак! Его сразу же с позором бы выгнали из своих рядов.

В старину обычно бились зимой на льду рек. И когда шли стенка на стенку, то это представляло собой целый спектакль.

Бойцы стояли на противоположных берегах и будто бы ко всему были равнодушны, словно все происходящее вокруг вовсе их и не касалось. А между тем начиналось первое действие спектакля под открытым небом. Развитию сюжета помогало то, что все действующие лица знали не только друг друга, но и родню каждого до третьего колена.

И вот на авансцену выходила мелкая пацанва и начинала подзуживать своих сверстников на противоположной стороне:

— Эй, длинный! Скажи своей кривой сестре, чтоб глаз соломой затыкала-а!

— А ты, горлопан, продай теткин скелет, я его на огороде поставлю!

Пока мелочь пузатая перебирает близких и дальних родственников, мужики только посмеиваются. Но вот дело доходит до отцов.

— Эй, косорылый! Спроси, чевой-то у твоего тятки морда го-ла-ая!

— Оплетало-о! Подтяни у своего тятки порты — потеряе-ет!

Тут уж мужики начинают нервничать и медленно сходитьсь. Ребятишки бросаются врассыпную, и начинается второе действие.

Не доходя двух-трех шагов друг до друга, бойцы останавливаются и ждут, кто начнет. И вот выходит самый могучий, выбирает себе достойного супротивника, такого же богатыря, и — бьет! Потеха началась.

Третье действие спектакля: радость победы у одних и горечь поражения у других. Подсчет синяков и шишек и общее братание, чтоб не помнили обид. Этакий хеппи-энд. Так ведь игра: “Сегодня ты, а завтра я”. Ни обид, ни злобы, ни ненависти — полюбовно пошалили, полюбовно и разошлись. Не без разбитых носов, не без выбитых зубов, не без сломанных ребер, — но ведь игра-то мужская!..

Скорее всего, мы все же помним, что мы — русские, у которых всегда был избыток физических и духовных сил. И эта перехлестывающая через край энергия нуждалась в освобождении даже в годы полуголодного детства.

Бились двор на двор, улица на улицу не только в Лефортове и не только в Москве. Потом я спрашивал своих сверстников из разных российских городов, и оказалось, что эта потеха не чужда была никому. “Потешаться” перестали где-то в первые послевоенные годы, когда наше поколение подросло, а новому было не до потешек. И древняя русская традиция как-то незаметно и бесследно исчезла. Сейчас если и дерутся, то наверняка используют вместо кулаков более подходящий инструмент: чтобы враз хлоп — и наповал!

А тогда...

Тогда существовал целый свод неписаных правил, так сказать, джентльменских соглашений. Руки должны быть свободными от всяких предметов. Помню, в нашем дворе появился новенький. Этаким чистенький интеллигентный мальчик. Ему, наверное, очень хотелось показать себя, как сейчас говорят, “крутым”. И он предложил драться на ножах. Это нам показалось настолько диким, что ему тут же вежливо предложили удалиться и

больше здесь не появляться. И он исчез так же незаметно, как и появился.

Нельзя было бить лежачего, а уж размахивать ногами считалось позором. Эта мода пришла, кажется, с увлечением карате. Гуманным считался бой “до первой крови”. Если одному бойцу расквасили нос или рассекли бровь, бой заканчивался, как бы ни хотел пострадавший продолжить его».

\* \* \*

Интересно, что при всем при этом двор обеспечивал безопасность. В первую очередь, конечно же, детей. Писатель Е. Сергеев вспоминал:

«— Поиграй тут, только смотри, чтоб со двора ни на шаг!

Мне года четыре, потому-то мама и волнуется, оставляя меня одного. Но беспокоится она напрасно, со двора я никуда не уйду, да и зачем?.. Был он и просторен для всяческой беготни, и достаточно закоулист для прятков и прочих игр.

Нет уж, со двора мне подаваться незачем, да и улицы, честно сказать, в том возрасте я побаивался. Видел же, что улица шумна, многолюдна, неудобна, слышал же, что на ней встречаются “плохие дяди”. Их, вероятно, и впрямь хватало с избытком — годы-то послевоенные. В воздухе клубились передаваемые в основном шепотом рассказы о зверствах и злодеяниях банды “Черная кошка”, а также о проделках местной, пресненской шпаны. Сейчас, задним числом, мне даже кажется, что взрослые слегка хвастали тем, что наш район один из самых шпаннистых в городе. А уж мы, ребятня, точно хвастали, мало того, гордились этим. В те времена я ни одному своему сверстнику ни за что бы не поверил, что у них где-то там в Сокольниках, Измайлове или на Симоновском валу хулиганы сильнее и страшнее наших пресненских.

Незнакомый человек не мог пройти по двору незамеченным. Стоило появиться “не нашему”, как всевидящие дозорные принимались строить гипотезы: кто такой? к кому? для чего? Если же чужак долго слонялся по двору, его непременно спрашивали, что он тут потерял? Вежливо спрашивали вначале. Но коли ответ оказывался неудовлетворительным, то поднимался шум и гам,

слышались угрозы вызвать милицию, кликнуть дворника или управдома. А управдом, как представлялось нам, малышне, — самый страшный в мире человек, и его обязаны бояться даже завзятые бандиты. По всей вероятности, так представлялось не только нам, уж коль скоро управдомом грозили всякому постороннему».

Невольно задумаешься, каких трудов и нервотрепок стоили фотоаппаратам той подозрительной эпохи снимки советских дворишков, которые сегодня мы столь ностальгически рассматриваем. Сколько фотоаппаратов пало жертвой неумемной бдительности этих «дозорных». Сколько нешуточных синяков было ими поставлено под глаза ныне признанных мастеров светописи.

\* \* \*

Вот коммунальный двор детства писательницы Лидии Либединой:

«Мы, дети, очень любили свой двор и палисадник возле дома. Почитали за честь, если дворник Алексей разрешал нам взять метлу или скребок и подмести или почистить от снега двор и прилегающий к дому тротуар. А уж если летом удавалось выпросить “кишку” для поливки, счастьем не было предела. И в переулках, и во дворах всегда было очень чисто, урны стояли буквально на каждом шагу, высокие и узкие, из листового железа, окрашенные в зеленый или коричневый цвет.

Весной во двор привозили снеготаялку — громоздкое сооружение, сбитое из досок, покрытое внутри железными склепаными листами, со специальным стоком. Под снеготаялкой разводили костер, и каждый из нас старался забросить хоть несколько лопат уже почерневшего, ноздреватого снега.

Весна приходила в город бурно, вдоль тротуаров бежали говорливые прозрачные ручейки талого снега, воздух становился совсем другим, словно настоящий на зимних запахах, терпкий и прозрачно-влажный. У всех детей из окрестных домов карманы были набиты заранее изготовленными из бумаги лодками и кораблями. Они спускали их на воду, и легкие белые флотилии мчались вдоль тротуаров, кружились в маленьких водоворотах, и надо было вовремя подтолкнуть их то-

леньким прутиком, чтобы они продолжали свой путь, покачиваясь и обгоняя друг друга».

Снеготаялка, упомянутая в этом тексте, — одна из колоритнейших московских достопримечательностей эпохи коммуналок. Правда, первые образцы этой чудотехники появились на улицах и во дворах еще до революции, то тогда все же была эпоха ручного труда, снег разгребали усердные дворники в белых передниках. Если где и применяли снеготаялки, то там, где требовалось обработать большие заснеженные пространства. Например, в усадьбах или в парках.

После революции же ставка делалась на технику, которая была призвана облегчать труд граждан, в том числе советских дворников, возможно максимально. Чтобы в освободившееся время трудящийся мог и политинформацию посетить, и в избу-читальню навеститься, и на карусели покататься.

Правда, первое время все было безраздушно. Старый москвич Николай Окунев писал в дневнике в 1920 году: «Все это теперь испорчено: и канализации, и водопроводы, и клозеты, и пылесосы, и снеготаялки, и лесопилки, и тракторы, и подъемные краны. Испорчено до такой степени, что все дни теперь, как видите, превращены в разные повинности: и снеговые, и санитарные, и транспортные, а такие природные приспособления, облегчавшие труд человеческий, как лошади, например, почти все съедены нашими конеедами».

Но постепенно все налаживалось. И в марте 1928 года выходит постановление Президиума Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (РК и КД) от 6 марта 1928 года «Об устройстве и содержании снеготаялок в г. Москве»:

«...— разрешения на постановку и пользование постоянными и передвижными снеготаялками выдаются отделом благоустройства Московского Коммунального Хозяйства...

— снегоплавилки как постоянные так и передвижные, ставятся внутри владения, со спуском талой воды в городскую водосточную сеть.

Постановка снегоплавильных машин на проездах и площадях допускается не иначе, как с особого на то разрешения Московского Коммунального Хозяйства, выдаваемого по соглашению с Административным от-



делом МГИК. Спуск воды из снегоплавилок в канализационную сеть воспрещается».

В тот год общая площадь Москвы, освобожденная от снега, составила около 12 миллионов квадратных метров.

Так называемая снеготаялка — одно из самых колоритных и вместе с тем незамысловатых, орудий для очистки улиц. Чаще всего это — тележка с большой емкостью, куда забрасывался снег лопатами. Под емкостью — все на той же тележке — горел костер, и грязный талый снег из специального отверстия вытекал вниз. Глаз он, разумеется, не радовал, но, главное, такая технология здорово сокращала процесс освобождения города от опостылевших за зиму сугробов.

Лев Остерман писал в романе «Течению наперекор»: «Зимой у стенки, отделявшей наш двор от соседнего, время от времени нарастала высокая гора снега, с которой мы катались на санках, рискуя врезаться в противостоящую стену среднего строения. После сильных снегопадов дворники ночами сгребали снег с проезжей части и тротуаров в высокие, порой до полутора метров высоты, снежные “хребты”, разделявшие эти две части улицы. Потом их постепенно на санках с дощатым коробом свозили во дворы. Снегоуборочных машин еще не было. Да и мощных грузовиков — тоже. Из двора во двор кочевала, появляясь в каждом из них через значительные промежутки времени, “снеготаялка”. Это было огромное, высокое железное корыто со сточной трубой у дна в одном конце. В корыто лопатами набрасывали снег с нашей горы, а под корытом в специальной топке жгли дрова. Вода из сточной трубы направлялась в канализацию».

Первая снеготаялка (системы инженера Д. В. Домашнева) была сооружена в 1905 году. Она работала на протяжении примерно трех десятков лет при банях Рогожско-Симоновского района. Кстати, снеготаялки встречались как подвижные, так и стационарные, работавшие от тепла котельной.

Увы, в использовании снеготаялок случались сложности. В частности, в 1907 году «Московские вести» писали:

«Вчера в управу явился некий предприниматель, предлагавший взять на себя уничтожение снега на ули-

цах с помощью особой снеготаялки. Снеготаялка имеет вид пожарного насоса — уничтожает снег паром. Талая вода должна спускаться в городские водостоки. К сожалению, применение этой снеготаялки встречает со стороны города препятствие, половина городских водостоков принимать талой воды не в состоянии».

Если передвижные снеготаялки иной раз испытывали некоторое напряжение с подачей тепловой энергии, то у стационарных все было гораздо проще. Старались, по возможности, использовать уже существовавшие и пропадающие зря ресурсы. В частности, в Китай-городе в одну из снеготаялок подавали пар от домовой котельной, снабжавшей теплом пару зданий на Ильинке. Сооружали снеготаялки при банях и других местах, в которых присутствовало, как казалось, дармовое тепло.

О том, что с точки зрения закона сохранения энергии никакого дармового тепла не существует в принципе, коммунальщики, видимо, просто не догадывались.

Большинство же передвижных снеготаялок выпускал московский завод «Парострой». Передвигались они на колесиках, отапливались дровами, грязную жижу без стеснения сливали в реки. Практиковались, впрочем, также финские снеготаялки с саночными полозьями вместо колес, но они были неудобны (могли передвигаться только по необработанным территориям, обратного хода по понятным причинам не имели), а потому использовались довольно редко. Но — не до жиру, быть бы живу — если кому доставались такие уродцы с полозьями, то и им были рады.

В войну кризис затронул и эту сферу жизнедеятельности. Особенно это ощущалось, разумеется, в блокадном Ленинграде. Один из ленинградцев писал в 1942 году: «Благодаря производимой уборке улиц и дворов, стало как-то чище, хотя кучи льда и снега еще не вывезены, но зато во многих домах установлены снеготаялки и приведены в действие, но недостаток дров не позволяет это мероприятие провести во всех домохозяйствах».

А вот воспоминания другого ленинградца, приблизительно того же времени: «На улицах и дворах толпятся люди, занятые или, вернее, делающие вид, что заняты, уборкой снега и скалыванием льда. Снеготаялок

нигде не видно. Снег и лед сваливаются в кучи и отвозятся на санках в реки, каналы, сады или глухие улицы, где устроены свалки нечистот. Частично транспортировка производится с помощью механической тяги. На главных улицах начали ходить грузовые трамваи. Сколотый лед грузят на платформы и отвозят на мосты, чтобы сбросить в реку или канал. На Аничковом мосту устроены наклонные эстакады, несколько облегчающие переброску льда. Интересно отметить, что число проходящих по улицам значительно превышает количество занятых на работах, мобилизовано на очистку нечистот все население, а работает, вероятно, менее двадцатой части».

Но после Победы спасительные снеготаялки вернулись во дворы.

И уж конечно, снеготаялка — одна из популярнейших забав дворовой детворы эпохи коммуналок. Вот воспоминания одного из бывших московских пацанов о начале 1930-х годов: «Тогда машинами собирали снег, все это делалось вручную, механизмов никаких не было. Вручную, большими лопатами дворники собирали снег в машины. И у нас во дворе была сделана снеготаялка — во многих дворах были снеготаялки. Это была огромная яма, куда подавалась то ли горячая вода, то ли пар... наверное, горячая вода. И подъезжали машины, самосвалов еще не было. Подъезжали машины, и дворники — иногда и нам это было интересно — разрешали нам залезть в машину и сбрасывать оттуда снег в эту яму. Сбрасывали, а там кипело все это и в канализацию уходило, в Москву-реку уходило, то есть это все загрязняло Москву-реку. Но тогда, по-моему, лошадиного помета, навоза на улицах Москвы было больше, чем всяких масляных пятен от автомобилей. Мало было автомобилей, а трамваи вообще были абсолютно чистые, они на электричестве были».

\* \* \*

Именно в Великую Отечественную войну начала разрушаться привычная структура легендарных московских дворов. О том, как это происходило, вспоминал Алексей Козлов:

«Наша семья вернулась в Москву из эвакуации осе-

нию 1943 года, к моему поступлению в школу. Двор, оставленный два года назад, был неузнаваем. Двора, как такового, уже не было, так как не осталось ни одного из заборов, разделявших нас с тремя дворами других соседних домов. Они были снесены по приказу правительства Москвы, когда начались интенсивные бомбежки города, из соображений безопасности. Все деревянное, включая сарайчики, ограды палисадников и столы со скамейками, — было сожжено в домашних “буржуйках” в первую же зиму. Остались лишь следы заборов, отдельные каменные столбы, а также линия перепада в уровнях земли между дворами. Позднее все это вновь было застроено, а пока глазу открывались бескрайние просторы объединенных в одно целое дворов. Очевидно, это обстоятельство способствовало развитию многих дворовых игр, требовавших больших пространств, главной из которых стал, конечно, футбол».

Впрочем, как говорили французы, король умер — да здравствует король! Одна дворовая структура разрушилась — другая образовалась. Продолжаю цитировать книгу Алексея Козлова:

«К концу войны уже все семьи нашего, довольно большого, типичного московского дома вернулись из эвакуации и постепенно образовалось то, что стало называться словом “наш двор”. Дворовая жизнь была как бы продолжением другого стандарта советского городского существования “коммуналки”. То коммуналка представляла собой мир взаимоотношений взрослых, то двор был главным местом обитания детей и подростков. Здесь были свои лидеры и их любимчики, подхалимаж и ябедничество, жестокий террор сильных по отношению к слабым, приоритет “блатных” а также лихих и ловких перед слабыми, неловкими и интеллигентными. Мат, “феня”, наколки, фиксы, малокозырки, тельники, прохаря, чубчики, особая походка и манера сплевывать слюну — все это было обычными атрибутами не только сирот-“огольцов” и профессиональных воров, а и простых пионеров-школьников из обычных семей. Исключение составляли дети, либо находившиеся под строгой опекой своих семей, либо те, кто были неспособны вписаться в жесткую дворовую жизнь по каким-то сугубо индивидуальным причинам. Они редко выходили во двор и не всегда принимали участие в

массовых играх. Были даже и такие, кто выходил гулять только в сопровождении какой-нибудь неработающей бабушки или тетки, которая стояла незаметно (как ей казалось) в сторонке и следила, как бы ее чадо не обидели или не научили чему-нибудь дурному, скажем, курить или ругаться матом. Таких детей не любили, они, как правило, были объектом насмешек, причем иногда довольно жестоких.

Выходили во двор главным образом для того, чтобы во что-нибудь поиграть, отдохнуть от гнета школы и назиданий своих родителей. Игр и забав было великое множество. В некоторых играх участвовали только мальчишки, в некоторых – только девочки, но были и смешанные игры. Точно так же игры подразделялись и по возрасту между маленькими, средними и большими детьми. Дворовая жизнь сильно зависела от погоды и от времени года. Самым неприятным явлением природы был для нас дождь, который создавал во дворе слякоть и грязь. Когда начинался сильный дождь, ничего не оставалось, как идти домой. А если дождь шел целый день, никто во двор не выходил. Иногда собирались в подъезде, но это было особое место в жизни двора...

В слово “двор” вкладывались разные понятия. Прежде всего, под двором понималось некое замкнутое пространство, ограниченное зданиями, сараями и заборами и соответствующее почтовому адресу. Но двором называлась и некая община, совокупность всех детей, живших в одном доме. Например, говорили: “Пошли в кино всем двором...”, “Сыграем двор на двор”... Каждый двор отличался своими размерами и конфигурацией, в зависимости от того, сколько корпусов и строений там находилось. Часто в типичных московских дворах было по несколько различных площадок для игр, не считая всяких закутков. Все эти пространства назывались по-разному. У нас, например, был “передний” двор, ближний к подворотне, и “задний” двор, находившийся в глубине и граничивший забором с “задним” двором дома, относящегося к другому, параллельному переулку. Каждый двор имел своего дворника и свою помойку. В идеале двор должен был быть “глухим”, то есть огороженным высокими заборами, через которые так просто не перелезешь. Это имело прямой смысл в деле защиты от мелких жуликов, которые шастали по дворам в по-

исках наживы в виде белья, сохнувшего на веревках, и всего, что плохо лежит. Наведывались они и в квартиры, хотя в многонаселенных коммуналках украсть что-либо было непросто — все время кто-нибудь оставался дома. Если воришка попадался, убежать из глухого двора было непросто, так как был только один выход — через подворотню. Но было немало и “проходных” дворов, через которые жители всей округи, экономя время и срезая пространство, ходили насквозь. Проходные дворы не были такими уютными, прохожие мешали детям играть в футбол и в другие широкомасштабные игры, да и вообще, создавали неуют. Не зря выражение “проходной двор” стало нарицательным. К пространству двора обычно относилась и часть улицы с тротуаром, находившаяся напротив фасада дома и подворотни. Это было существенно, так как часть игр проходила перед домом на тротуаре и на мостовой. Заходить на соседнюю территорию не полагалось».

\* \* \*

А вот двор в Воротниковском переулке, описанный Александром Каплуном:

«Во дворе мы играли в футбол (“три корнера — пенальти”). Всегда в одной команде. Меня ставили в ворота, потому что водить я не умел. Подозреваю, что команда много выиграла бы, если бы я не участвовал, но меня всегда брали в команду. Тогда я не задумывался почему. Теперешние размышления приводят к альтернативе: или я был ябедой, и братья не хотели домашних скандалов, или причиной было простое мальчишеское благородство...

Двор наш был целым миром. Он состоял из нескольких пространств (анклавов). Собственно наш двор — сразу за нашим домом. Там росли несколько больших тополей, ронявших по весне потрясающие бордово-желтые сережки. Была еще и клумба без цветов. Параллельно нашему дому, в метрах двадцати возвышался восьмизэтажный домина. Его основание было на метр ниже нашего двора. Поэтому вдоль него проходил каменный ров, огороженный низеньким заборчиком. В нем здорово можно было прятаться. Справа от домины — проход в каменный мешок, там была одна из на-

ших футбольных площадок. Далее, через арку можно попасть в другой двор, а оттуда на улицу Чехова. На четной стороне стоял длинный деревянный киоск с двумя или тремя высокими ступенями во всю длину, где продавались горячие, ужасно вкусные бублики. Он горел каждый год. Из каменного мешка был выход и на кольцо. Вдоль дома 10 по Воротниковскому расстилалась бестравная земля, там мы тоже играли в футбол. После того, как мы все разъехались с Воротниковского, наше “футбольное поле” перекопали — что-то прокладывали и нашли горшок с серебряными монетами — об этом мы узнали из газет»».

\* \* \*

А у кого-то продолжением коммуналки было Бульварное кольцо. Татьяна Окуневская рассказывала: «Наша скамейка» — это скамейка на Никитском бульваре, напротив нашего подъезда. Мы недавно переехали из большой квартиры на Лесной, где я выросла, сюда, в восьмиметровую комнату на девятом этаже. Папа, мама, баби — это я так прозвала мамину маму, пес Бишка и я. И если все дома, ни сесть, ни даже говорить невозможно, и “наша скамейка” превращается то в кабинет, то в гостиную, если к нам приходят в гости, а звонить нам надо семь звонков, столько у нас соседей».

\* \* \*

Новые советские идеологи и затейники-массовики издавали какие-то немыслимые горы литературы по организации нового быта вообще и развлекательного досуга в частности. Однако наибольшей популярностью в советских коммунальных дворах пользовались дореволюционные игры. Видимо, они, совершенно свободные от идеологической составляющей, были гораздо человечнее, и дети это чувствовали.

Вот, например, игра в серсо, покинувшая наши дворы сравнительно недавно. Куприн писал в одном из рассказов: «Резвая нарядная детвора наполняла сквер. Подростки играли в серсо и веревочку».

«Он всегда в семь часов у себя над открытым цветником, на веранде, кофе с гостями пьет, а иногда с женою

и детьми в серсо играет», — говорил один из героев Николая Лескова о другом герое.

«Торговали магазины, выкрикивали газетчики, ребяташки играли на бульваре в серсо», — а это Александр Серафимович.

Жизнь без серсо представить себе было невозможно — как в дореволюционных городах, так и в советских.

Правила игры, в общем, просты. Нужны обруч и палочка. Можно либо катить обруч палочкой, либо подбрасывать и ловить — и то и другое опять-таки с помощью палочки. Однако же игра требует ловкости, хорошего глазомера и, без сомнения, является хорошим средством против гиподинамии.

Один из героев пьесы Виктора Славкина признаётся: «Я скверно играл в серсо. Никогда не успевал подставить свою шпажку вовремя. А появился тут один студент... уж запомнил, как его звать было... Так студента того превозмочь в серсо никто не мог. Он как-то ловко кольцо бросал — закручивал, что ли? — и поймать его никакой возможности не было».

Пьеса так и называется — «Серсо».

По легенде, серсо появилось во Франции. Якобы супруга маркиза де Анри (ее девичья фамилия была Серсо, что означает «обруч»), прознав об измене мужа, выбросила в окно свое обручальное кольцо. Тот же, проявив чудеса ловкости, не дал ему упасть, поймав на кончик шпаги. Это произвело впечатление на романтическую де Анри, урожденную Серсо. Брак, таким образом, был сохранен.

\* \* \*

Постепенно старинные игры заменялись на новые. Впрочем, это для нас они были такими — на самом-то деле история этих дворовых забав иной раз насчитывала не одно столетие. Взять хотя бы «классики», они же «классы» — «девчоночь» забаву, поразившую советские дворы в послевоенные годы. Она появилась еще в Древнем Риме, и в то время вовсе не была «девчоночьей» — на одной ножке прыгали если и не патриции, то уж по крайней мере дети горожан мужского пола.



Первое же упоминание о «классиках» относится к I веку н. э. О них писал великий Плиний.

Впрочем, в Россию «классики» пришли в конце XIX века. Игра довольно медленно входила в обиход, и только лишь в 1950-е годы кардинально поменялась ее гендерная составляющая.

Не было московского двора с неисчерченным квадратами асфальтом. Из квадрата в квадрат прыгает на одной ноге голенастая девица в школьной форме. Прыгает и одновременно пинает биты, которой может быть и хоккейная шайба, и яркая жестянка из-под леденцов «ландрин», и строгая коробочка с надписью «гуталин коричневый», да что угодно может быть, дело же не в том. Рядом стоит кучка таких же голенастеньких, ждут своей очереди. Под деревом сброшены ранцы и портфели, рюкзаков еще нет в обиходе. В некотором отдалении — мальчишки. Смотрят с нарочитым равнодушием, а сами наблюдают, к чему-то там приглядываются.

Весна. Великолепие.

В 1960-е годы невероятно популярным был цикл детского писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы», посвященный его сыну. Самым же популярным фрагментом из этих рассказов было стихотворение-песенка:

Мелом расчерчен асфальт на квадратики,  
Манечка с Танечкой прыгают тут,  
Где это видано, где это слыхано,  
В «классы» играют, а в класс не идут?

А в 1980-е в спортивные магазины страны даже поступили специальные разноцветные «биты» для «классиков» — по большей части украшенные изображениями популярных героев мультфильмов. Но коммуналки к тому времени были практически расселены и, соответственно, игра сделалась достоянием дворов обитателей отдельных квартир.

\* \* \*

Пользовалась популярностью скакалка. Выполненная из натуральных каучукосодержащих материалов, с натуральными же деревянными ручками, выточенны-

ми умельцем-рабочим на токарном станке, эта полезная вещь была в собственности чуть ли не каждого подростка из коммунального двора.

Скакалка была популярна и среди девочек, и среди мальчиков. Многие знали, что именно со скакалкой тренировал свою прыгучесть легендарный Брюс Ли. Особо посвященные даже передавали из рук в руки листок с его скакалочной гимнастикой: «Сначала прыгайте на одной ноге, держа другую перед собой на весу. Затем меняете ногу и прыгаете на другой ноге, всякий раз меняя ноги с каждым новым оборотом скакалки. Ногу едва поднимайте от пола так, чтобы могла пройти лишь скакалка».

Корней же Чуковский писал еще в 1926 году: «Сейчас вбежала ко мне Мурочка. Она учится прыгать через скакалку. Я даю ей уроки — теорию и практику этого дела. Вчера она еще не умела закидывать скакалку назад — а сейчас производит все нужные манипуляции, но медленно».

“Мама всегда по утрам такая печальная, но сегодня я так смешно прыгала, что она улыбнулась”, — это говорит шестилетняя девочка».

Мурочка — это Мария Корнеевна Чуковская, младшая дочь поэта и героиня нескольких его стихотворений, умершая в одиннадцатилетнем возрасте от туберкулеза.

Интересно, что сегодня по информации Минздравсоцразвития именно скакалка лидирует среди различных форм физически активного досуга. И уже за ней, родимой, следуют волейбол, бадминтон, пинг-понг, гантельные забавы, футбол, баскетбол, велопробулки и перетягивание каната.

\* \* \*

Не менее популярной была и ныне забытая жостка. Владислав Крапивин писал:

«Что такое жоска (или жостка), школьникам двадцать первого века неизвестно. А в середине двадцатого знали все. Это кусочек овчины с расчесанными на стороны длинными клочьями шерсти и прицепленным к коже свинцовым грузиком. Во время игры жоску подбрасывают боковой стороной ступни, подхватывают

башмаком, подбрасывают снова. Победитель — тот, кто делает самое большое число ударов и дольше всех удержит жоску в воздухе, не уронив. Были чемпионы, которые ухитрялись сделать полтысячи ударов.

Разумеется, учителя игру запрещали. И, конечно, “принимали меры”. Но храбрым пацанам девятнадцатой школы было “ништяк”. Ну поставят за поведение вместо пятерки четверку! Ну вызовут мать или даже отца, если он у кого-то есть. Делов-то! Хуже всего, когда обшарят карманы и отберут жоску. Это потеря! Хорошая жоска — вещь ценная, сделать ее непросто. Надо, чтобы шерстяное обрамление было легким, но плотным, помогало жоске мягко планировать. А грузик следовало отрегулировать для ровности полета. Не у всех это получалось, но Костику казалось, что у него получится. Потому что... ну должно же у него в жизни хоть что-то получаться!»

Герой книги Крапивина «Переулочек капитана Лухманова», как и большинство его сверстников (речь идет о событиях 1942 года), сам делал жоску. На грузило пошла часть шахматной фигуры:

«— Не сердитесь, ваше величество, эта штучка вам совсем ни к чему. А мне нужна до зарезу, — сказал Костик.

Величество молчало. Потому что было деревянным. Костик нашел его осенью в городском логоу, где лазил в поисках обрезков жести для самолета-вертушки. Жесть не нашел, зато увидел среди мусора шахматную фигуру с черным облезлым лаком и желтой шишечкой на точечной головке. Сразу видно — король. Небось не сладко оказаться на помойке, вдали от своих придворных. Костик пожалел короля, принес домой, отмыл, почистил и поселил на подоконнике. А в Новый год повесил на елку. Ветка слегка прогнулась: его величество был тяжеловат. Костик подумал, что у него в подставке, наверно, есть грузик — для устойчивости. Но тогда подумал мельком, а сегодня вспомнил, потому что грузик стал нужен для жоски».

И дальше — описание технологического процесса:

«Клок овчины для жоски Костик разыскал в кладовке. Там валялись меховые домашние туфли — “шубенки». Они были рваные и протоптанные насквозь, но отвороты с меховой оторочкой у них сохранились не-

плохо. Костик принес туфлю на кухню, к подоконнику, вырезал из нее кружок размером с пятак. Расчесал торчащие в стороны овчинные пряди. С удовольствием дунул на них — жоска зашевелила пушистыми “лапами”, как медуза.

После этого Костик занялся “грузилом”.

Он аккуратно (чтобы не обидеть “его величество”) отодрал от шахматной подставки байковую накладку. Под ней, как и ожидалось, была спрятана в углублении свинцовая блямбочка размером с двухкопеечную денежку, только потолще. Костик колупнул ее ножиком, уронил на ладонь. В самый раз — по размеру и по весу. Потом крепким гвоздиком он пробил в свинце две дырки. Пропустил через них скобки из медной проволоки, прикрепил ими свинец к овчинной “медузе”. Подкинул готовую жоску на уровень плеча. Она подлетела, распушила пряди и ровно спланировала на ладонь.

Костик выскочил в прихожую. Натянул там расхлябанные сапожки (без твердой обуви жоску не очень-то попинаешь), вернулся на кухню. Подбросил жоску снова и ударил кирзовой “щекой” правой ступни. Жоска взлетела плавно и послушно, как дрессированная.

“Умница!” Костик ударил снова. И опять удачно! Жоска аккуратно приземлилась на ногу. И снова, снова... Просторный сапожок бултыхался на тощей ноге, но это не мешало точности ударов. Костик подумал, что у него есть шансы сделаться... ну если не чемпионом, то игроком не хуже других».

Одна из жительниц Поморья вспоминала: «В 1942 году в жостку играли все школьники Архангельска. Упоминания об этой игре в литературе я не встречала. Видимо, жостка — местное явление.

Жосткой назывался маленький кусочек какого-то тяжелого металла (может быть, свинца) с прикрепленным к нему кусочком меха, обычно с длинным волосом. Чаще всего это была овчина.

Игра заключалась в том, что, стоя на одной ноге, другой подбрасывали и подбрасывали жостку.

Играли и на школьных переменах, и после, во дворе. И вдруг самым большим преступлением учителя стали считать именно игру в жостку. Они были обязаны все жостки отбирать. Замеченных в этой игре

вызывали чуть ли не к директору. Грозили исключением.

У мамы-учительницы скопилась небольшая коллекция жосток, отобранных у школьников. Я как-то тайно попробовала подбросить жостку. Ничего не вышло. Нужна была хорошая координация движений, определенная сноровка.

Почему эта игра, да еще в такое тяжелое для страны время, казалась педагогам врагом номер один? До сих пор не понимаю».

Это и вправду невозможно объяснить, однако же многие мемуаристы отмечают какую-то патологическую ненависть тогдашних школьных педагогов именно к жостке.

Интересное описание этой игры, а также одну из причин ее запрета привел в своих воспоминаниях музыкант Алексей Козлов: «Давно забыта и такая игра, как “жестка” или “пушок”, во всяком случае так ее называли в нашем дворе. Но, оказывается, в разных районах Москвы она имела разные названия, хотя смысл был один и тот же. Жестка представляла собой изделие из круглого кусочка меха с приделанным к нему грузом. Щечкой одной ноги жестка подбрасывалась вверх, и пока она опускалась вниз, играющий успевал переступить ногами, как бы сделать маленький шаг на месте, чтобы повторить удар. Задача состояла в том, чтобы как можно дольше не дать жестке упасть на землю, после чего очередь переходила к следующему игроку. Количество подбрасываний, или ударов, запоминалось и суммировалось у каждого из играющих. Побеждал тот, кто первым набирал заранее установленное число, ну, скажем, двести. Обычно за один раз средний игрок мог сделать пять-десять ударов, не больше. Жестка часто улетала в сторону по самым разным причинам: либо игрок терял равновесие, либо случайно бил по жестке пяткой или носком ботинка, вместо середины щечки, прямо под самой косточкой. Кстати, когда жестка попадала своим свинцовым грузом по этой косточке, было страшно больно. В принципе, эта игра требовала от участников настоящих жонглерских качеств. И в каждом дворе были свои виртуозы, которые могли держать жестку в воздухе бесконечно. У каждого настоящего любителя этого занятия была своя личная жестка,

которая изготавливалась самостоятельно. Из шубы, тулупа или любого мехового изделия, имевшегося дома, вырезался кусок лисы, цигейки, мерлушки... Естественно, без спроса и так, чтобы не было заметно, то есть из подвернутой части меха, ближе к подкладке. Из свинца на газу отливался груз в форме круглой блюдечки, в котором проделывались дырочки, как в пуговице. Груз, который иногда оборачивали в материю, пришивался к меховому кружочку снизу, к мездре. Мех был сверху. Стабильность полета жестки во многом зависела от того, как точно она была сделана. Если груз был пришит не совсем по центру, жестка виляла при падении. Большие размеры и доброкачественность мехового кружка способствовали тому, что жестка, опускаясь, расправлялась и замедляла падение, как парашют. А это намного облегчало безошибочность следующего удара. Если с расшибалкой и с пристеночком боролись участковые милиционеры, то с игрой в жестку вели беспощадную борьбу учителя и наиболее активные из родителей. Во-первых, жестка почему-то считалась игрой недостойной пионеров и комсомольцев, а присущей только шпане, хулиганам, уркам. Это был главный аргумент, но когда он не действовал, приводились запугивающие данные о том, что якобы длительное увлечение жесткой неизбежно приводит к грыже. В нашем дворе случаев с грыжей мы не наблюдали, но утверждать, что эти слухи были чистой выдумкой, не берусь».

А вот воспоминание, на сей раз относящееся к Курганской области: «В процессах адаптации к местным условиям подростки и молодежь спецпереселенцев приспособлялась быстрее, чем пожилые. Так, например, мой дед быстро смастерил мне жестку, чтоб в соревнованиях с местными ровесниками я мог добиваться хороших результатов. Суть состязаний состояла в том, кто больше всего сможет подбить ее ногой без прерыва. Жостка представляла собой кусок длинношерстной кожи, к которой прикреплялась круглая свинцовая пластина. Подбитая внутренней стороной ноги, жостка взлетала, подобно бадминтону, и спускалась парашютируя. Нужна была хорошая тренировка, чтобы жостка взлетала и опускалась, не прерываясь несколько десятков раз».

Еще одной исторической дворовой игрой (и снова никто не догадывался о том, что она историческая) был так называемый «штандер», или «штандер-стоп». «Штандер! — кричит на весь двор ведущий вслед разбегающимся игрокам. — Стоп!» И детская орава замирает в самых немислимых позах, в тех, что застала их команда ведущего.

Хотя уж тут-то можно было бы и догадаться. Что за штандер такой? Дело явно не чисто.

Кстати, что это за штандер, до сих пор неизвестно. Есть предположение, что «штандер» — русифицированное немецкое «Stand hier!», то есть «остановись!». И, соответственно, игра — немецкого происхождения, но, совершенно точно, не трофейная, то есть не «вывезенная» из Германии в Великую Отечественную войну. Она существовала в России значительно раньше. Вот воспоминания тогдашней школьницы Галины Зайцевой о событиях 1928 года: «Приставали к Чемоданихе с экскурсией. Было три урока, и так как было еще светло, то мы решили поиграть в мяч и пошли к Коцурека на двор, они живут недалеко от школы, во дворе у них большой сад. Мы играли в штандер, в лапту в разрывные цепи и в горелки. Было очень хорошо и весело».

Та же мемуаристка описывала: «Потом стали играть в лунки и Андрюшу расстреливали в штандер, мы не доиграли, потому что Андрюшу позвали домой».

Игра была явно не новая.

Популярность «штандера» была невероятной. Краевед Юрий Федосюк ставил эту дворовую игру на второе место — после пятнашек. У Александра Розенбаума есть даже одноименная песня:

Послушай, старик,  
Давай с тобою вспомним на миг  
Тот солнечный мир,  
Где теплые дни.  
Послушай, старик,  
Нам никогда не вырвать из книг  
Чудесных страниц.  
Напомнят они...

В штандер мы играем,  
Разноцветным раскидаем...  
Мне опять не повезло...  
И с веселым звоном  
Разлетается оконное стекло.

Слово «старик» никакого отношения к возрасту не имело. Наоборот, в 1960-е так обращалась друг к другу молодежь. В данном случае «старик» — композитор Виктор Михайлович Резников, которому посвящена эта песня.

«Раскидай», они же «раскидайчики» — самодельные легкие бумажные мячики на резинке.

Ну а «штандер» — он штандер и есть.

Кстати, в некоторых регионах вместо «штандер — стоп» кричали «черевички — стоп». Но сейчас не стоит заострять внимание на этом, просто примем к сведению.

\* \* \*

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,  
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду, —  
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубашке  
И для казни петровской в лесах топориче найду.

Это стихотворение Осипа Мандельштама 1931 года, без названия. Да, городки зашибали, притом зашибали нешуточно. И не только в сад (в первую очередь они все же считались игрой дачной), но и в коммунальных дворах.

С происхождением городков все более или менее прозрачно. Это — древняя спортивная игра и, хотя ее корни расположены в западноевропейских странах, сама игра в нынешнем виде считается сугубо русской.

В 1805 году в Лейпциге выходит альбом гравюр «Игры и увеселения русских из низших классов». Там среди прочих забав фигурирует и игра в городки. На одной гравюре изображены две группы городошников (эта конкретная игра была командной, по всей видимости), один из которых зверски замахивается битой в направлении городка. На другой же — триумф победителей, одна команда катается на спинах у другой. Надо сказать, что эта практика была весьма распространенной в нашем государстве.



Текст же сообщал: «Городки. Эта игра известна, строго говоря, только в России, поскольку требует значительной силы. Поэтому в нее играют только сильные и крепкие люди, волею судьбы обитающие в этой суровой стране. Правила игры следующие: игроки разделяются на две равные партии, каждая партия владеет кругом, начерченным на земле; эти два круга удалены друг от друга на десять или пятнадцать шагов. В середине круга ставят бруски длиной пять-шесть дюймов и шириной два-три дюйма. Этих брусков обычно пять; но иногда бывает семь или девять, — причем одни поставлены на другие, как показано на картинке. Игроки снабжены тяжелыми длинными палками. Каждая партия занимает свой круг, и один игрок за другим бросает палку в область противника; или, проще говоря, в соседний круг, так, чтобы выбить стоящие в нем бруски за пределы круга. Та партия, которой это удастся лучше и быстрее, одерживает победу, и тогда побежденные обязаны носить на себе победителей вокруг обоих кругов. Эта игра у русских одна из самых излюбленных. Когда собирается большая компания, обычно играют именно в нее».

Среди заядлых городошников еще до революции были замечены Лев Толстой, Максим Горький, Леонид Андреев, Федор Шаляпин, Иван Павлов и многие другие, всех не перечесть.

Правила элементарные. Из деревянных столбиков, напоминающих сардельки, складываются разнообразные фигуры, названия которых не имеют ничего общего с их внешним видом. Пушка не похожа на пушку, колодец на колодец и т. д. А ведь еще есть бабушка в окошке и дедушка на крыше!

Как раз эти фигуры и называются городками, то есть маленькими городами. Потом фигуры разбивают специальной палкой — битой. И складывают новые.

В чем привлекательность игры, не ясно абсолютно. Тем не менее городки завораживают. Кстати, это самая легитимизированная игра из всех дворовых игр. По городкам проводятся и проводились в XIX и XX столетиях вполне представительные спортивные соревнования. Интересно, что на протяжении долгого времени их выигрывали исключительно москвичи — видимо, вследствие того, что именно в Москве было более прочих ком-

мунальных квартир и, соответственно, коммунальных дворов. Спортсмены шутили, что призовые места распределяются еще в поезде, который везет участников из столицы к месту состязаний.

У городков на удивление много разных альтернативных названий. Самое распространенное — рюхи. Без сомнения, бездарный поэт Сашка Рюхин из булгаковского романа «Мастер и Маргарита» ведет свой достойный род именно от городошников.

Несколько менее распространенными — но тоже присутствующими в обиходе — были чушки, сракли, порсята, стропила и попы.

Остались воспоминания племянника академика Ивана Павлова: «Я играл очень неважно, а Иван Петрович звал меня “мазилой”, так как я мог своим ударом только развалить городок, почему бить по нему первым мне не давали, а большей частью вообще ни во что не попадал... Если Иван Петрович, Дмитрий Петрович и Воля играли отлично, то первенство среди них держал все-таки Иван Петрович, чем очень дорожил и гордился. Бил он всегда не правой, а левой рукой, потому и считался левшой (известно, что и все операции на животных, даже самые сложные, он проводил только левой рукой). Конечно, он прекрасно владел и правой рукой, но левая у него была более развита».

Впрочем, и у Павлова были проблемы с городками. Мешала нога, а точнее, неправильно сросшийся перелом правого бедра. Нередко во время игры он кричал: «Ах, проклятая нога!» Это означало, что великому физиологу в который раз не удалось во время броска прочно опереться на выставленную вперед правую ногу, как того требовали правила игры.

Но, разумеется, это не было поводом для расставания с любимым и столь популярным в России занятием.

И неудивительно, что в 1927 году маститый советский скульптор-пропагандист Матвей Манизер вылепил гипсовую фигуру под названием «Городошник». А четырем годами раньше в стране впервые были разработаны единые правила для этой игры. Естественно, советские коммунальные дворы относились к этим правилам с высокомерностью, вообще присущей этому необычному социальному образованию.

А городки между тем набирали свою популярность.

Пик ее пришелся на два послевоенных десятилетия. После чего началось медленное угасание, замена дворовым футболом, а затем — при Леониде Ильиче — и дворовым хоккеем. Тем не менее городки успели войти в одну из серий популярнейшего мультика «Ну, погоди!» — там, где бегущий Волк разрушает все фигуры, любовно выстроенные совершенно умилительным Бегемотом.

\* \* \*

Память о некоторых играх стерлась напрочь. Вот, например, описание о послевоенной дворовой игре под названием «юрта»:

«На грунте, обычно с большим количеством гальки, очерчивается круг диаметром полметра, называемый дом. Игроки поочередно пытаются воткнуть в него юрту — заостренную железяку, изготовленную из ножа, большого гвоздя, напильника или даже кинжала. Постепенно выявляется единственный проигравший, называемый заваженный башмак, у которого юрта чаще других не втыкалась в землю, а падала набок, которому в наказание предстояло отваживаться. Для этого первый выигравший делает три больших шага от дома и уже в этом месте пытается воткнуть юрту. Если получилось, отдалается на дальнейшие три шага и так далее, пока воткнутая юрта не завалится набок. Далее, таким же образом, все остальные выигравшие последовательными тремя шагами удаляются от дома и, в конце концов, когда последнего из них постигает неудача, ставят на земле крест. От этого креста и предстоит заваженному скакать на одной ножке до дома под улюлюканье выигравших.

И вдруг мода на юрту исчезла неожиданно резко из-за двух новых факторов прогресса. Во-первых, увеличились площади, покрытые асфальтом, в связи с чем, уже во-вторых, пацаны изобрели новую конструкцию юрты из маленького трехгранного напильника с тончайшим цилиндрическим жалом диаметром около 2 миллиметров, практически исключавшим неудачу втыкания в однородный, обычно размягченный, асфальт. Новые тротуары мы, конечно, быстро изуродовали. Но причина отказа от юрты была отнюдь не в на-

шем приобщении к цивилизованности, а в вырождении самой игры, на заключительном аккорде которой мне было суждено трагически солировать. В последней игре с большим количеством старших пацанов меня заводили километра на три от дома. Такое расстояние мне было не допрыгать. Я заплакал. И вот тут случилось чудо: пацаны, чувствуя явный пережест, посоветовавшись, решили простить мне неотводу совершенно без наказания или каких-либо корыстных компенсаций. А ведь среди них были и те, кто меня, мягко говоря, недолголюбивал. Раньше такой возвышенной этики при старых условиях игры никогда не наблюдалось. Но больше в эту игру не играли».

Тот же мемуарист — Петр Новыш — вспоминал о другой игре, «чижике»:

«Оригинальной также была игра в чижик. Это такой квадратный брусок из дуба или бука с заточенными на конус краями с габаритной длиной около 10 сантиметров. На сторонах вырезаны судьбоносные цифры I, II, III и X, что в арабской интерпретации означает, соответственно, 1, 2, 3 и 10. В основе игры лежит выбивание чижика лаптой из дома, после чего противник пытается вручную забросить его обратно. Не попал — наказание дальнейшими ударами в количестве, указанном на верхней грани. Выбивание чижика ведется в два приема: вначале короткий вертикальный удар по его конической части для подскока и тут же размашисто со всей силы горизонтальный удар. Игра достаточно сложная, имеет несколько фаз, и уж не дурнее гольфа или крикета, причем может быть достаточно чинной, так что удивляюсь, почему ее не освоили законодающие в спорте англичане. Может быть, не придумали травмобезопасного чижика? Но ведь сегодня можно сделать его и из материала помягче дерева.

А у нас, к сожалению, и эта игра исчезла достаточно быстро в процессе саморазвития. Виной оказалась эволюция лапты: ее стали изготавливать все более эффективной и, в частности, настолько широкой, что забрасывающий вручную противник оказался неконкурентоспособным. Ограничить ширину лапты законодательно пацанам не удалось. В результате игра умерла».

Он же — об игре в «лямку», аналогичной жостке:

«Еще одна игра — в лямку. В начале ее делали в виде

маленького упругого шарика-мячика из резины или смолы, затем стали приделывать к этому шарiku мех или шерсть (вроде теперешних воланов бадминтона), и, наконец, завершила эволюцию конструкция из свинцовой картечины с кусочком длинношерстного меха овцы. Игра сама по себе простая: кто большее количество раз подбросит лямку ногой, не допуская падения на землю. Усовершенствованную, ее легко пинать без перерыва, особенно, если снабдить обувь со стороны лодыжки специальной кожаной накладкой. Но все же находились фанаты, которые занимались этим делом часами. Некоторые для игры в лямку шили специальные штаны с подшивными заплатами из кожи для гарантированного отсутствия складок в необходимых местах. Иногда злоупотребление этим спортом приводило к заметному искривлению костей ног. В конце концов пинать лямки иногда по тысяче и более раз стало признаком дегенеративности. И здесь то же самое: эволюция конструкции лямки привела к полной утрате интереса к ней».

А вот еще одна дворовая игра, описанная Лидией Либединской: «Не без влияния бабушки одна из любимых игр, в которую с упоением играли все дети нашего двора, заключалась в том, что мы целые дни просиживали на крыше или в извлеченном из сарая (когда-то служившего бывшим владельцам конюшней) поломанном экипаже без колес, но с драным кожаным верхом, обложив себя узелками с игрушками, кульками с песком, камешками и сушеными травами. Мы ехали в Сибирь, к декабристам. Мы мечтали их спасти или разделить с ними их горькую и гордую участь».

Дети в старых дворах вообще очень часто придумывали свои, оригинальные игры. Иногда довольно странные. Юрий Никулин вспоминал:

«Кроме обычных игр, мы любили довольно странные развлечения.

Кто-то придумал розыгрыш — “проведите меня”. Из компании ребят, собиравшихся у ворот нашего дома, выбирался один — “заводила” (обычно выбирали меня, так как я, по мнению товарищей, делал все очень натурально). “Заводила” должен отойти по переулку метров за сто от нашего дома и, выбрав кого-нибудь из прохожих, обратиться с просьбой:

— Проведите, пожалуйста, меня, а то ребята вон из того дома хотят меня побить.

И тут разыгрывалась сцена нападения. Толпа у ворот кричала издали:

— Вот он, вот он! Бей его, бей!

Я, моля о защите, прижимался к прохожему. Женщина или мужчина, сопровождавшие меня, начинали кричать на ребят, взывали к милиции. А друзья делали вид, будто нападают на меня.

Когда опасность, якобы угрожавшая мне, миновала, я благодарил защитника и нырнул во двор какого-нибудь дома, где некоторое время пережидал. А потом начиналось все сначала. Один раз нас “купили”. Здоровый дядька в меховой дохе, взяв меня крепко за руку, сказал:

— Идем со мной, не бойся.

А когда поравнялся с группой моих товарищей, вдруг, подтолкнув меня к ним, крикнул:

— А ну-ка дайте ему как следует!

И стал ждать, что будет.

Друзья мои растерялись, а я стоял как дурак. Надо же, попался такой кровожадный дядька. Мой приятель Толя, по прозвищу Паташон, с обидой крикнул ему вслед:

— Тебе самому надо дать!

Мистификация не состоялась».

А вот еще одна довольно необычная забава, описанная Юрием Никулиным: «В маленьком чуланчике в подвале нашего дома мы проводили регулярно тайные собрания общества. Окошко без стекла, выходящее в палисадник, служило нам тайником. Если просунуть руку в окошко и сбоку у стенки отодвинуть доску, то в нише можно обнаружить наши сокровища: красную маску из бархата, старинную металлическую пороховницу, наполненную настоящим порохом, ржавый кинжал в ножнах и, главное, свернутую в трубку бумагу, на которой мы записали клятву верности друг другу. Клятву мы подписывали кровью — выдавливали ее из пальцев, предварительно уколов их гвоздем. Во время тайных совещаний наши сокровища извлекались, а текст клятвы непременно перечитывался. Потом мы по очереди играли кинжалом, а иногда, отсыпав щепотку пороха, поджигали его. Красную маску Коля надевал только один раз, когда мы подписывали клятву. С тех пор я доверял Николаю все свои тайны, он рассказывал мне все о себе».

А вот еще пара своеобразных дворовых ноу-хау, описанных Леонидом Пржепюрко: «Наш дом был царской постройки. До его капитального ремонта в 1956 году двери во всех квартирах открывались только вовнутрь квартиры. Это обстоятельство четко усвоили теоретики шалостей — старшие подростки. У многих детей были санки военного образца: большие, со стальными полозьями и довольно тяжелые. Наша шалость с использованием этих санок была ближе к хулиганству. Что же мы делали? Ставили санки вертикально на дверь, нажимали на звонок и “тикали” в укромные места. Хозяйки открывали дверь и получали по ногам удары разного уровня! Сила удара санок по ногам хозяйки была связана с характером хозяйки: чем быстрее она открывала дверь, тем сильнее она получала удар по ногам. Единственно, что я могу сказать в наше оправдание: эта шалость нами применялась к вредным хозяйкам нашего двора, которые не давали проходу нам во дворе и часто жаловались нашим родителям на наше поведение. Нам потом все равно попадало, так как по санкам определялись авторы шалости, и нас, конечно, наказывали, но круговорот природы взаимоотношений поколений продолжался обычно не в нашу пользу! За такие шалости был гарантирован солдатский ремень для мягкого места или стояние определенное время на полу на соли в углу одной из комнат квартиры на голых коленях. Должен отметить, что в зимний период мы также не сидели дома сложа руки. Готовили себе длинные почти полуметровые крючки в виде кочерги, как для плиты, которую топили углем. Эти крючки нам нужны были для того, чтобы цепляться за большие подводы с колесами на литых шинах, запряженные лошадьми породы “Сибирский тяжеловоз”. Мы одевали (привязывали веревками или ремнями) коньки типа “Снегурок” или “Дутышей” на валенки или бурки и поджидали подводы, затем цеплялись за тыльную часть подводы и катались, таким образом, по улице. Возчики очень не любили нас и старались крепко ударить нас кнутом, поэтому для нас такое катание превращалось почти в спортивное соревнование: кто дольше продержится с зацепленным за подводу крючком, то есть дальше проедет по улице! Должен признать, что такое неофициальное соревнование было очень популярным среди детей близлежа-

щих дворов, особенно среди школьников переростков военного времени, а они для нас были примерами смелости, смекалки и мастерства в катании на коньках. Самый большой успех имели те ребята, которые мастерски могли увернуться от кнута возчика и вывести его из равновесия своим поведением. Окрики возчиков, их матерщина не оказывали на них никакого воздействия, только остановка подводы и погоня возчика за ними прекращали процесс катания этих удалых ребят! Должен отметить, что родители по-разному относились к этим затеям ребят: так, например, матери осуждали их затеи, а отцы, наоборот, восторгались успехами своих сыновей. Их речи во время игры в козла или в карты были, например, следующие: “Послушайте, соседи! Мой Воцька-то, какой молодчина! Десять раз увернулся от кнута возчика Егора и доехал аж до Садовой (царское название улицы, теперь она называется улицей Серова). Им тогда в голову вообще не приходила мысль, что ребенок мог получить просто увечье головы или глаз, действительно матери своими чувствами были на порядок выше отцов по отношению к своим детям».

Он же описывал довольно любопытный и, по всей видимости, достаточно редкий для коммунального мира случай:

«Из воспоминаний детства хочу рассказать еще одну историю, которая обратит внимание читателя на тот факт, что детвора не только шалила, а целенаправленно стремилась к знаниям, к овладению специальностями и мастерством в различных сферах деятельности. Так, например, мой старший брат занимался авиамоделизмом, строил различные модели самолетов: соломенные, кордовые и для дальних полетов. Обычно авиамоделизм начинался с построения соломенных моделей самолета. Они опускались в корыто с мыльной жидкостью и когда модель вынимали из корыта, то его крылья покрывались пленкой и самолет уже мог тогда летать по комнате, направляемый потоками воздуха. На кордовых моделях самолетов и самолетах для дальних полетов применялись бензиновые авиадвигатели, которые ревели в зажатом пространстве двора на уровне двигателя мотоцикла. На общем балконе в то время стояла довоенная металлическая табуретка с металлическими колесами.



На ней закреплялись двигатели и начинались их испытания. Нас по очереди усаживали на эту табуретку и катали на ней по балкону, при этом одновременно регулировали тяговую способность авиадвигателя. Шум во дворе был страшный, и, конечно, реакция соседей двора была неординарная! Многие жаловались в компетентные органы, но дети периодически возобновляли испытания двигателей. Остановить этот процесс испытаний авиадвигателей по своей популярности среди детей практически было невозможно! Несмотря на жалобы жильцов двора, испытания авиадвигателей продолжались пропорционально охвату детей авиамоделизмом.

Так однажды сидим мы (примерно десять детей вокруг корыта с мыльной пеной) в большой полупустой комнате нашей коммунальной квартиры, в углу ее топится углем печь, и теплые потоки воздуха идут от нее по всей комнате. Все дети из соломы делают самолеты и окунают их в корыто, затем самолет направленно бросают от себя вперед, и самолеты летают по комнате, увлекаемые теплыми потоками воздуха от горячей плиты. Раздается звонок в дверь, моего старшего брата Владимира нет дома, родители на работе, время примерно 15.00, иду открываю дверь, в дверях стоит милиционер, который говорит, что прибыл по заявлению соседей. Завожу его в комнату, он видит детей от восьми до двенадцати лет, которые мастерят и пускают самолеты. Дальше была немая сцена. Милиционер снял сапоги и сел к корыту и стал мастерить самолет, а затем пускать его по комнате. Увлечшись самолетостроением, он совсем забыл, зачем пришел сюда, и просидел с нами примерно 1,5 часа, а когда пришел домой брат и показал ему настоящие модели самолетов с бензиновыми двигателями, то вопрос его посещения стал совсем в другой плоскости. Он сказал: «Покажите мне, где живут такие-то ваши соседи?» Мы показали милиционеру квартиры соседей, которые написали на нас жалобу, и он пошел нас защищать! Мне тогда было восемь лет, и я до сих пор помню все до мелочей, потому что в детском возрасте, очевидно, хорошо запоминается добро и серьезное отношение к детям со стороны взрослых, да еще милиционера».

Послевоенное поколение самозабвенно играло в войну. Юрий Никулин писал:

«Во дворе мы часто играли в войну. На соседнем дворе в бывшей старообрядческой церкви находился “Театр рабочих ребят”. (Был такой в тридцатые годы.) И как-то через щель в заборе мы увидели, что грузовик подвез к театру массу диковинных вещей: пальму, уличный фонарь, собачью будку и стог сена. Стог — фанерный каркас, обклеенный крашеной мочалкой, — мы притащили к себе во двор. Лучшего помещения для штаба и придумать невозможно.

Играли допоздна в войну. Вечером во дворе появился милиционер с пожилым человеком, у которого был растерянный вид. Потом мы узнали, что он работает реквизитором в театре.

Милиционер, увидя на “стоге сена” надпись “Штаб”, деловито спросил:

— Где начальник штаба?

Я вышел вперед. На голове пожарная каска, руки в старых маминых лайковых перчатках — вполне начальственный вид.

— Так, — сказал милиционер. — Стог — быстро в театр. Там через пять минут начинается спектакль. А сам пойдешь со мной в милицию.

Стог мы отнесли, а до милиции дело не дошло. Простили по дороге».

Николай Погребняк посвятил этой старой дворовой игре рассказ, который так и называется — «Войнушка»:

«Мы, собирающаяся со всей улицы ватага ребятешек и девчонок от восьми до двенадцати лет, вот уже вторую неделю с упоением играли в войнушку в заброшенном доме без крыши. Постоянных “армий” у нас не было, а каждый раз перед началом игры командиры выбирали, кто с кем будет. Разделившись на пары примерно одинакового возраста, в сторонке мы загадывали, кто будет левым, а кто правым кулаком. Затем подходили и загадывающий спрашивал: “Какая рука?”

— Эта! — ударив по кулаку, отвечал один из командиров.

Кто выпал по жребию, шел в команду.

Одна команда защищала дом, другая нападала. Чи-

тателям, думающим, что обороняться за стенами легче, чем атаковать снаружи, скажу: это совсем не так. Оборонять полуразрушенный, без крыши, дом было гораздо труднее. Дело в том, что с одной стороны подступали густые заросли смородины, за которыми росли старые клены и тополя. С другой стороны стояла почти целая банька, у которой не было только дверей, окошек да нескольких досок в крыше — идеальное место для обстрела дома. А с третьей стороны — завалившийся погреб и дальше посадки картофеля. И кругом — заросли бурьяна, высоких лопухов да дикой конопли. Все это создавало идеальные условия для того, чтобы подкрадываться и стрелять по оборонявшимся.

Да, еще нужно рассказать про оружие. Мы были уже большими (по крайней мере, так о себе думали), чтобы просто бегать с игрушечными автоматами и пистолетами и громко «та-та-такать». Поэтому у каждого из нас было самодельное ружье, выпиленное из деревянной лопасти от жатки комбайна. Стреляло ружье с помощью «авиационной» резинки (от резиномотора модели самолета) пулями, накусанными и выгнутыми из алюминиевой проволоки. На близком расстоянии стреляли такими же пулями из рогатки с «авиационной» резинкой. В кого попала пуля, тот считался убитым».

Одежде, оружию и боеприпасам уделялось внимание особое. Журналист Виктор Саяпин вспоминал:

«Для мальчишек одной из основных игр стала «войнушка». Чтобы получалось «взаправду», необходимо было вооружение и экипировка. Пилотку и солдатский ремень находили легко, а вот с оружием выходило сложнее. Везунчики из тех, кто постарше, где-то доставали настоящие пистолеты. Что касается патронов, то их хватало в избытке. Запомнилось, что больше всего было снаряженных боевых патронов в обоймах от карабинов — целые арсеналы. Из патронов высыпали порох, бросали их в костер.

Мастерили самодельные пистолеты и автоматы. Когда мне было лет шесть-семь, дедушка изготовил деревянный пулемет «Максим», который выглядел как настоящий. С помощью трещотки позволял даже «стрелять». Мой «рейтинг» в глазах друзей-дошколят вырос до небес. Жаль только, что пулемет при активной помо-

щи друзей быстро поломали. Война не обходилась без штаба, устроенного на чердаке, в подвале, в шалаше или выкопанной землянке».

А Юрий Никулин описывал весьма характерный и впечатляющий случай:

«Во дворе мы часто играли в войну, пользовались пистолетами, выпиленными из дерева, пугачами, игрушечными саблями. Моя тетка в то время работала в детском саду. Помню, пришла она к нам и, увидев кочергу, которой мама помешивала головешки в печке, сказала:

— Хорошая у вас кочерга. А мы в детском саду мучаемся, у нас вместо кочерги ружье.

— Как ружье? — не поверив, спросил я.

— Да так, настоящее ружье, дуло есть, приклад.

— Вот бы мне его! — сказал я мечтательно.

— А чем же мы печку мешать будем? — спросила тетка.

После того вечера теткинo ружье не давало мне покоя — я все время думал о нем. Проводя каникулы в Смоленске у бабушки, я уговорил ее сходить на рынок и купить кочергу. Вернувшись в Москву, торжественно вручил кочергу тетке и получил от нее ружье — малокалиберную винтовку выпуска 1890 года, с чуть оплывшим от огня дулом и настоящим прикладом. Стрелять из нее, конечно, было нельзя: нет ни пружин, ни затвора, но разве это имело какое-нибудь значение? Во дворе все ребята играли по очереди с винтовкой, а я даже с ней спал».

Активно играли в «войнушку» и девочки. Писательница А. Луговцова вспоминала, глядя на свою детскую фотографию:

«Мы конечно же играли тогда в войну. На фотографии (я — третья справа в среднем ряду) у меня за поясом наган. Я была Анкой-пулеметчицей в чапаевском отряде и без нагана просто не выходила во двор. А вот и сам Чапай — второй слева в верхнем ряду — Витька Рыхлов. Мы только что помогли ему стереть нарисованные углем лихие чапаевские усы. У отряда был штаб — отвоеванная у дворников маленькая темная кладовка под лестницей. Сюда приводили на допрос “пленных беляков”, захваченных во дворе соседнего дома, с которым мы воевали. Здесь разрабатывались планы предстоящих атак. Здесь сосредоточенный Чапай при свете

огарка свечи склонялся над картой, и тогда у дверей штаба замирал вестовой Эдька Оржешковский (первый слева в нижнем ряду), шепотом предупреждая входящих: “Тише, Чапай думает...”

Рядом с Эдькой — Зоя Муравник, Валя Юдина, Галя Ахметова, Галя Плешанова — наши “сандружинницы” и “врачи”, — к ним доставляли “раненых”.

Сразу понятно, что речь идет о довоенном дворе — роль врага отведена «белякам», а не «фашистам».

Впрочем, эта добрая игра существовала еще до революции, еще до всяких «беляков». Педагог и историк Нина Александровна Гуляева писала в своем детском дневнике в 1912 году: «Ребята, то есть Анюта, Лида, Сережа, Люся, Соня, Ляля, стали играть в войну, а я стала кататься с горы, так как у меня болела нога. Игра в войну состоит из того, что ребята разделяются на две партии, а потом нападают друг на друга и утаскивают неприятелей в плен. Вообще весело так играть! Даже мне смотреть было весело. Я хохотала, глядя, как Анюта и Лида валялись по снегу».

Просто две партии — и никому не обидно. Идеологическое наполнение возникло уже при советской власти. Что в общем-то неудивительно. Это не была идеология сверху. Эта идеология была выстрадана и отфильтрована через страшные потери, боль, смерть. А многие дети, играющие во дворе в «войнушку», видели настоящую войну.

Это состояние очень точно зафиксировал Высоцкий в «Песне о новом времени»:

И еще будем долго огни принимать за пожары мы,  
И еще будет долго казаться нам скрип сапогов.  
О войне будут детские игры с названиями старыми,  
И людей будем долго делить на друзей и врагов.

А вот воспоминания Александра Филиппова:

«Конечно же, обычно играли в войну. Всегда была проблема, кто же за немцев будет. Договаривались, что по очереди.

Но были игры и с оружием.

Рассказываю кратко несколько эпизодов.

1. Ящик с патронами под сеньями.

В своем доме под сеньями через много лет после вой-

ны нашел ящик с патронами для немецкого автомата. Очень много пороху добыли.

2. Один из двоюродных братьев (в деревне много родственников) нашел патрон от пулемета и стал долбить по пистону гвоздем, ударяя молотком.

Небольшой взрыв, руки ранены, много оспин на лице. Чудом остались целы глаза.

3. Случай в интернате.

Начиная с пятого класса учился в интернате (в моей деревне четырехлетка) в тех краях, где проходил Волховский фронт, недалеко от Мясного Бора (название на слуху у тех, кто интересуется историей ВОВ). Стою, смотрю в окно. Вижу, что примерно в 80 метрах трое второклассников нашли какой-то предмет и бьют его об лед. Взрыв. И помню такое, что описывать здесь не буду. Это была граната.

4. Самопалы.

Опиливали дуло винтовки, с одной стороны заливали свинцом, делали напильником маленькую щель. Вырезали из деревянной доски пистолет, прикручивали проволокой дуло. Засыпали порох, дробь, забивали бумагой, селитру с головок спичек сыпали в щель и спичкой же поджигали и стреляли.

5. Взрыв бомбы в лесу и гибель моего троюродного брата.

Нашли ребята в лесу бомбу, что с ней делали — неизвестно, но как-то взорвали. Погиб мой троюродный брат, другой тяжело ранен.

6. Набросали патронов в костер, сидим рядом и ждем. Пришел взрослый парень (15 лет), узнал про наши дела и срочно заставил спрятаться в ближайшую канаву. Немного подождали, и из костра такой фейерверк посыпался, что, как говорится, мало не покажется.

7. Артиллерийский порох.

Нашли снаряд. Как-то сняли головку. А в патроне порох в виде тонких макарон.

Хорошая забава.

Конечно, взрослые пытались нас контролировать, но разве за сорванцами уследишь.

Мораль. А никакой морали. Такие были игры у послевоенных детей».

До войны, разумеется, тоже играли в войну — чаще всего разделяясь при этом на «красных» и «белых». Но после 1945 года начался ажиотаж «войнушки». «Красных» и

«белых», разумеется, сменили «наши» и «фашисты», при этом фашистом никто быть не хотел. Неудивительно — ведь это враг, и он в конце игры должен погибнуть. Других вариантов концовки не было и быть не могло.

Позорная роль «фашиста», или «немца», либо навязывалась дворовым изгоям, либо распределялась жеребьевкой. В некоторых случаях «фашистов» не было вообще. То есть он, разумеется, был, но воображаемый. Все мальчишки играли за «наших» и фактически дрались с пустотой или с какими-нибудь поленьями.

А девочки, естественно, были медсестрами, делали перевязки, иногда даже поленьям. Советский солдат должен быть великодушным.

И, разумеется, многие помнят рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово». О том, как большие дураки звали маленького мальчика играть в войну, поставили часовым и успешно про него забыли. А тот все стоял и стоял — потому что дал «честное слово»:

« — Так почему ж ты идти не можешь?

— Я — часовой, — сказал он.

— Как часовой? Какой часовой?

— Ну, что вы — не понимаете? Мы играем.

— Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

— Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.

— Послушай, — сказал я ему. — Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь — с кем?

— Да, — сказал мальчик. — Не знаю. Я на скамейке сижу, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: “Хочешь играть в войну?” Я говорю: “Хочу”. Стали играть, мне говорят: “Ты сержант”. Один большой мальчик... он маршал был... он привел меня сюда и говорит: “Тут у нас пороховой склад — в этой будке. А ты будешь часовой... Стой здесь, пока я тебя не сменю”. Я говорю: “Хорошо”. А он говорит: “Дай честное слово, что не уйдешь”.

— Ну?

— Ну, я и сказал: “Честное слово — не уйду”.

— Ну и что?

— Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.

— Так, — улыбнулся я. — А давно они тебя сюда поставили?

— Еще светло было.

— Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

— Я думаю, — они ушли.

— Как ушли?

— Забыли.

— Так чего ж ты тогда стоишь?

— Я честное слово сказал...»

К счастью, мужчина, от лица которого идет повествование, догадался отловить самого настоящего военного, который и снял мальчика «с часов»:

«— Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

— В чем дело?

— Видите ли, в чем дело, — сказал я. — Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик.. Он не может уйти, он дал честное слово... Он очень маленький.. Он плачет..

Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он... подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

— При чем же тут я? — сказал он.

Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито.

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал:

— Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскивали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять — но на этот раз очень тихо — плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

— Ну, вот, я привел начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

— Товарищ караульный, — сказал командир. — Какое вы носите звание?



— Я — сержант, — сказал мальчик.

— Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

— А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек..

— Я — майор, — сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

— Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Все в этом рассказе закончилось благополучно.

\* \* \*

Но это все, как говорится, детский сад. Гораздо серьезнее были игры на деньги. Иногда на приличные. Лидировала здесь так называемая «расшибалка», она же «расшибай», «расшибалочка», «расшибец», «рашиши», «расшиши» и «бе-бе».

Научный редактор В. Беликов вспоминал: «Я в московском детстве (конец 50-х — начало 60-х) любил играть в расшибец. На определенном расстоянии от чирь, с которой надо было бросать битку, проводилась другая чира, к ней с дальней от бросающих стороны примыкал небольшой прочерченный квадрат (казна, в котором стопкой укладывались монеты (орлом или решкой вверх — не помню, но одинаково). Потом по очереди бросали битку, иногда каждый свою, иногда все одну (свинцовую самодельную, у некоторых бывали царские пятаки, что было большим шиком, но функциональных преимуществ они не имели). Тот, кто разбивал кучку, сразу выигрывал; кажется и тот, кто попал в казну, тоже. У кого битка перелетала чирю, не оставаясь в казне, выходил из игры (“сгорал”). Остальные приступали к вышибанию монет, начинал тот, чья битка остановилась ближе к чире. При выбивании надо было стукнуть биткой по монетам, перевернувшиеся доставались бьющему, он выбивал по очереди и разлетевшиеся монеты. Если не переворачивалась ни одна, очередь переходила к следующему. Монеты на кон

ставились равного достоинства, чаще копейки, но и по гривеннику играли».

Музыкант Алексей Козлов писал об этой замечательной забаве:

«Хотелось бы припомнить совсем забытые дворовые игры на деньги. Одной из самых популярных здесь была расшибалка, или, как иногда ее звали — “расшиши” или даже “рашиши”. Играть в нее мог только тот, у кого была наличная мелочь. Если ты, сэкономив от завтраков или выпросив у бабушки, выходил во двор с несколькими гривенниками, пяташками или двугривенными монетами, чтобы сыграть в расшибалку, то была реальнейшая возможность моментально этого лишиться. А это были немалые деньги для школьника в послевоенные годы. Но ты мог и выиграть, а значит, получить возможность играть дальше. Если вдруг кто-то сразу выигрывал много, снимая весь кон, и хотел тут же уйти с деньгами, то чаще всего его просто так не отпускали, заставляя играть еще. Но это не было обязательным правилом, и если выигравший очень настаивал, его отпускали, ведь все были свои, из одного двора. Игра эта требовала большой сноровки и особого типа ловкости и глазомера. Играли только на земле, причем только на сырой и утрамбованной поверхности, так как на асфальте возникало столько случайностей, что плохой игрок мог оказаться в выигрыше, а хороший проиграть, как повезет. Весной с нетерпением ждали, когда сойдет снег и подсохнет хотя бы небольшой участок земли, пригодный для расшибалки. На земле чертилась глубокая прямая линия длиной метра полтора, которая называлась “чира”. К ней в центре пририсовывался квадратик, размером примерно десять на десять сантиметров, под названием “казенка”. В казенке размещался “кон”, то есть стопка из монет, поставленных участниками этого захода, или этого кона. Смысл игры состоял в том, чтобы ударом битки перевернуть как можно больше монет, поставленных на кон. Все монеты клались столбиком друг на друга, одной стороной вверх, скажем — решкой. Если после удара монета переворачивалась вверх орлом, то ударивший моментально забирал ее себе и продолжал бить до тех пор, пока очередная монета не оставалась после удара в прежнем положении. Таким образом, если тот, кто бил первым, ни разу не промах-

нул, то он мог снять весь кон, а остальным участникам не предоставлялось даже возможности ударить. Но такое бывало редко, и право бить по монетам переходило по очереди ко всем игрокам. Если после того, как все играющие проббили, на земле еще оставались неперевернутые монеты, то били по второму разу в той же последовательности до тех пор, пока последняя монета не исчезала в чьем-нибудь кармане. Поэтому важнейшее значение имело то, кто бьет первым, кто вторым и т. д. Первая половина этой игры и была направлена на установление очередности — кто за кем. А происходило это так: после того как расчерчивалась чира с казенкой, от нее отмерялось шагов десять и отчерчивалась вторая черта. Именно с этого места каждый из игравших бросал свою битку в сторону чир, да так, чтобы обязательно забросить ее за чир, но как можно ближе к ней. Идеальным был бросок, когда битка ложилась на саму чир. Это означало, что такой игрок будет бить первым. Если же битка после броска оказывалась в казенке, где стоял столбик из монет, то ловкач, попавший туда своей биткой, забирал весь кон, и игра начиналась снова. Но такое случалось не часто. Каждый, кто бросал свою битку, отчерчивал на земле место ее остановки. Очередность ударов по монетам зависела от соотношений этих черточек. Чья отметка оказывалась ближе к чире, тот и бил раньше. Последним бил тот, у кого битка улетела дальше всех. Для того чтобы попасть в чир, надо было кинуть битку очень тихо и осторожно. Здесь-то и заключалась вся острота игры — “или пан, или пропал”, так как не добросивший битку до чир автоматически исключался из данного кона, терял право на розыгрыш, и его монетка пропадала. Если в чир попадали двое или трое, то они разыгрывали право первого удара уже между собой.

Когда очередность устанавливалась, все подходили к казенке, садились на корточки вокруг кона, и наступал волнующий момент. Все зависело от того, как первый бьющий ударит по столбику из монет. Если играющих было много, десять или пятнадцать человек, то столбик был высоким и неустойчивым. Бить можно было только вертикально сверху. Часто бывало так, что после первого удара образовывалась так называемая “колбаса”, когда столбик падал и монеты располагались на земле, лежа

друг на друге в виде колбаски. Тот, кому предоставлялась возможность бить по “колбасе”, мог перевернуть почти все монеты одним ударом, если сильно и точно ударить краешком битки по кромке нижней монеты. “Колбаса” переворачивалась, деньги забирались, оставалась только нижняя монетка. Но обычно каждый кон длился гораздо дольше, борьба велась за каждую монету. Чтобы перевернуть монету, лежащую на земле, одним ударом битки, требовалось особое мастерство, связанное с ощущением веса битки, а также с динамикой удара. Многие зависело от битки, и каждый предпочитал иметь свою и никому ее не давать. Битки изготавливались разными способами. Наибольшей популярностью пользовались битки, сделанные из медных царских монет, больших и тяжелых. После войны они не были редкостью и ходили по рукам, добытые, чаще всего, из старых бабушкиных сундуков. Обычная плоская монета, как показала практика, не подходила для битки. Ее надо было выгнуть определенным способом, чтобы она приняла форму чечевицы. Это делалось острой частью молотка, долго и кропотливо. Был и более грубый способ. Монету или металлический плоский кругляк подкладывали на трамвайный рельс и ждали, когда пройдет состав. Получалась расплюснутая круглая вещь, из которой затем делали битку, подравнивая края и прогибая середину.

Расшибалка считалась азартной игрой и преследовалась милицией. Поэтому, когда начиналась игра, надо было все время оглядываться, чтобы успеть вовремя разбежаться, если появится участковый. Если в порыве азарта подходившего милиционера никто не замечал и он заставал всю компанию на месте преступления, то как минимум один из игроков попадал в отделение милиции. Там записывали его данные и, продержав некоторое время, отпускали на руки родителей. Такое задержание называлось “привод”. О приводе сообщалось в школу, в ФЗУ, в техникум и куда угодно. Накапливание приводов могло стать причиной того, что неисправного нарушителя в конце концов отправляли в исправительно-трудовые заведения разной степени суровости, и на разные сроки. Все зависело от того, какая у него семья, кто родители и есть ли они вообще. Азартные игры во дворе были, конечно, не самой главной причиной приводов, тем не менее, играя в “расшибаши”,

мы всегда были начеку. Надо сказать, что в послевоенные годы на каждые несколько дворов был свой участковый, который ежедневно обходил свой участок, и не просто, а со знанием дела. Обычно хороший участковый был прекрасно осведомлен обо всем, что происходит во дворах, он знал по именам главных “героев” и не боялся вступать в сложные взаимоотношения со шпаной, которая нередко уважала его».

Отношение общества к «расшибалочке» было неоднозначным. С одной стороны, она действительно всяко преследовалась, в том числе и в первую очередь милицией, как и прочие игры на деньги. Но ведь и домашнее, семейное лото — тоже игра на деньги. На кон ставятся какие-то копейки, в результате сын-отличник на следующий день покупает себе мороженое не на деньги бабушки, а как бы на свои, честно выигранные.

Неудивительно, что многие считали «расшибалочку» игрой достаточно невинной. Играли-то по-маленькой — хотя бы потому, что больших денег у дворовой детворы в принципе не было.

У Валентина Распутина есть пронзительный рассказ под названием «Уроки французского». О школьной учительнице, стремящейся помочь своему ученику из малоимущего семейства, которого все время бьют во время игры в «расшибалочку». Хотя на первый взгляд никаких проблем быть не должно: «Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывая на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова».

«Расшибалочке», что называется, были все возрасты покорны. Один из участников съемок фильма Андрея Тарковского «Сталкер» вспоминал:

«Помню, однажды мы не снимаем, ждем тучки. И все бросились играть в расшибай. Солоницын, Гринько, Кайдановский, да и мало ли свободного люда на площадке... Но когда туда же переметнулся стоявший около камеры Тарковский, я чуть не застыл на подскоке.

У меня в голове: “Через минуту-другую съемка. Вон уже тучка нашла... Где те самые муки творчества, где, наконец, горделивая стойка великого режиссера?”

И легкомысленнее всех — как мне показалось — вел себя Саша (исполнитель главной роли Александр Кайдановский. — А. М.). Проигрывая, требовал пересмотра игры, клянчил в долг... Просил деньги у кого ни попадая. Играли хоть и по мелочи, но на деньги... проигрывали там все и тот же Андрей. На площадке почему-то всегда выигрывают осветители».

Впрочем, и здесь были свои мастера, признанные авторитеты и даже кидалы. Одному из них писатель Вячеслав Десяткин посвятил небольшой рассказ, который так и назывался «Расшибалочка»:

«Послевоенное наше поколение играло в расшибалочку во всех московских дворах. Самым удачливым игроком в “расшибай” был ловкий Манечка. Он лучше всех бил по монете, переворачивая ее с орла на решку. И еще он хитрил, зажимая меж пальцами “серебряную” монетку, а в кулаке держал лишь две-три копейки. Если он выигрывал, то раскрывал кулак и бросал на землю “серебряную” монетку и медяк. А если проигрывал, то быстро сбрасывал медяк, оставляя меж пальцами свои 10–20 копеек, сразу пряча руку в кармане, якобы доставая новые монеты, чтоб быстрее отыграться. Мы чувствовали подвох, но долго не догадывались о его шулерстве. Нам всем хотелось выиграть хоть немного на сладости или кино.

Мы сэкономили на школьных завтраках, находили на улицах, нам давали понемногу родственники, выигрывали в расшибалочку... Но больше всего нам перепало мелочи, когда взрослые пацаны из нашего двора получали зарплату. Еще вчера они учились в ремесленном училище, а теперь шумно появлялись во дворе и, проходя мимо нашей мелкоты, кричали во всю глотку:

— Лови — держи, на шарап!!!

И какое счастье — над нашими головами вдруг горстями взлетали “алтухи” и со сладким звоном разлетались по земле! Мы, кучей малой, бросались на колени,

пытаясь выхватить друг у друга заветные монеты. “Благотворители” навешивали нам увесистые пинки, отчего мы вскрикивали от боли, но ловко увертывались от подвыпивших парней. Зато вскоре наши карманы звенели от неожиданного богатства! Но сегодня, разбросав на шарап кучи монет, взрослые ребята уже собрались уходить по своим делам.

Но самый длинный из них, Гера, по прозвищу Сохатый, вдруг отделился от друзей. Он самоуверенно уселся напротив нашего непробиваемого Манечки:

— А ну, пробей, что в руке! — азартно заявил он парнишке.

Маня с обезьяньей ловкостью вдарил и перевернул лежащий на земле пятак! Герка недовольно разжал кулак и высыпал целую кучу двадцатикопеечных монет.

— А ну-ка, дай я ударю — в горячке заупрямился шестнадцатилетний парень.

Ударил, но не выбил, зато с тоской увидел в кулаке у сопливого противника кучу своих же двадцаток. Шутки шутками, но игра вскоре уже пошла на рубли и тройки!»

Игра приносила парнишке реальный, очень даже немалый доход.

В некоторых же дворах «расшибалочка» была как раз, наоборот, привилегией старших. Владимир Сафронов писал в документальной повести «Дорога к победе» о традициях своего двора в Улан-Удэ: «Есть такая игра расшибалочка, по-уличному — “расшиши”. Принцип ее предельно прост. Ставится кучка монет и расшибается специальной биткой, лучше всего старым царским пятаком. Мы тогда, по молодости, еще не освоили всех ее тонкостей. Но в соседнем дворе жили ребята постарше. Называли они себя “огольцами”. В переводе на доступный язык они были просто мелкими хулиганами. Все как один носили хромовые сапоги гармошкой, кепки-малокозырки, матросские тельняшки. Они-то и играли целыми днями в популярную игру “расшиши”. Нас они в свою компанию не принимали. Мы для них были чем-то вроде рабов. Использовались исключительно для “принести”, “подай” или, если им становилось очень скучно, они ловили нас и мучили».

Увы, и такое случалось.

«Расшибалочка» ушла из советских дворов в 1970-е годы, одновременно с окончанием эпохи коммуналок.

Еще одной игрой на деньги был так называемый «пристенок», известный всем как минимум по песне Владимира Высоцкого «Баллада о детстве»:

Сперва играли в фантики,  
в пристенок с крохоборами.  
Но вот ушли романтики  
из подворотен ворами.

Фантики оставим в стороне, а вот «пристенок» — он же «чика», «замеряшки» и «котел» — рассмотрим внимательно. Алексей Козлов писал: «Другой азартной игрой в деньги был “пристенок”, правила которого были просты. Играли у каменной стены. Первый игрок ударял своей монеткой по стенке так, что она отлетала и падала на землю или на асфальт на некотором отдалении. Следующий игрок делал то же самое, стараясь, чтобы его монета отскочила как можно ближе к первой. Если расстояние между лежащими монетами позволяло дотянуться до чужой монеты мизинцем, поставив на свою большой палец, то второй игрок забирал монету себе. Если нет, то в игру вступал следующий участник, у которого была возможность выиграть две лежащие монеты, и так далее. Монетка ударялась о стенку специальным приемом. Она зажималась между большим и указательным пальцами, игрок прислонял тыльную сторону ладони к стене, фиксируя положение руки где-то на уровне плеча. Затем, не отрывая ладонь от стены, он резко ударял монету ребром о стену, одновременно отпуская пальцы. Она отскакивала, летя параллельно земле и ни в коем случае не кувыркаясь. Только так можно было достичь планирования монеты, а значит, точности ее попадания в нужное место и не укатывания от этого места далеко в сторону. Если бьющий умудрялся попасть своей монеткой в чужую, то он получал от ее владельца вдобавок еще одну монету. Пристенок был популярен, поскольку был предельно прост по своим правилам и не оставлял никаких следов и улик».

«Пристенок» был игрой несправедливой по определению — кисти рук у всех разных размеров. Разумеется, выигрывали старшие. Часто «пристенок» становился



более или менее узаконенным отъемом денег у малышни.

Николай Ващилин писал в книге «Истории СССР. Краткий курс»:

«Пристенок это любимая игра шпаны по отъему денег у младших “шнурков”. “Шнурок” первым должен был ударить своей монеткой о стену, чтобы она со звоном отскочила подальше. Крутой бил своей монетой о стену, она отлетала и падала поблизости от монеты “шнурка”. Верзиле оставалось только дотронуться до обеих монет своими заgreбущими растопыренными пальцами, и денежки уплывали в его карман под грустный, тихий стон “шнурка”.

В пристенок и другие азартные игры с деньгами играть мама мне не разрешала. Поэтому чаще всего я играл с девчонками в магазин или в больницу. Где-то удавалось погонять в колдуна или в пятнашки».

А возраст у этой игры был довольно почтенный. Известна картина «Дети, играющие в “пристенок”», написанная Святославом Рерихом в 1918 году. А еще раньше один из героев пьесы Александра Островского «Свои люди — сочтемся» мальчик Тишка жаловался на хозяйна: «Эх, житье, житье! Вот чуть свет — тут ты полы мети! А мое ли дело полы мести! У нас все не как у людей!.. У добрых-то людей для разгонки держат дворника, а у нас он с котятами на печке лежит либо с кухаркой прокладывается, а на тебе спросится... Вот она жисть-то какая анафемская! А уж это чтобы урваться когда из дому, с приятелями в три листика, али в пристенок сразиться — и не думай лучше!» Пьеса была написана в 1849 году.

Фраза же «в пристенок с крохоборами» означала вовсе не наличие среди игроков каких-то жалких жадных крохоборов. «С крохоборами» — значит, если пальцы сами не растягиваются, но остается какое-то совсем минимальное расстояние, то можно второй рукой взять палец первый и насильно дотянуть его.

В игре «с крохоборами» всегда находилось место подвигу. И вот какому. Писатель Марк Наумов вспоминал: «И тут у них игровой момент: вновь сыгранная бита ложится вроде бы в досягаемости от одной из уже отыгранных. Догоняла примеряется, растягивает, растягивает пядь — никак! С корточек, не оборачиваясь, спрашивает: “С крохоборами?” В ответ ему этакое общее

утвердительное мычание. Он тянет мизинец теперь уж с помощью левой руки – опять никак! Ну, еще чуть-чуть! Даже нас захватило. Нет, не натягивает. Ну, еще бы с ноготок! Нет, опять облом! Мы уже выдохнули, было из зрительской эйфории в свою горькую реальность, и не заметили, как в левой руке у догонялы оказывается лезвие, половинка обыкновенной безопасной бритвы, и он рассекает ею складку, или, как назвать, перепонку между большим и указательным пальцами своей растянутой пятерни. Есть! Очередная монета в казну и кровь на асфальте».

Но к такому был, конечно же, готов не каждый.

Кстати, уже упоминавшаяся учительница из распутинского рассказа «Уроки французского», чтобы материально помочь своему ученику, научила его играть в пристенок, а потом специально проигрывала:

«Лидия Михайловна покачала головой.

— Мы играли в “пристенок”. Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, — значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатила в угол.

— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далекко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такого?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить

и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя... Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в “замеряшки”.

— Но мы не играем ни в какие “замеряшки”. Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай».

Увы, упомянутый Василий Андреевич застучал игроков. Закричал на учительницу: «Вы играете на деньги с этим?... Играете с учеником?! Я правильно вас понял?... Ну, знаете... Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Раствление. Сокращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, выдывал всякое, но такое...»

Надо ли говорить, что добрая учительница была сразу же уволена из школы.

Особенно же везло тем, кто жил рядом с железной дорогой. Почему? Ответ дает писательница Наталья Яскевич в автобиографической повести «Долгопрудный — город детства»: «Время шло, мы подросли и уже бегали на ветку самостоятельно. Родители были не в восторге от этого, но поезда там ходили редко, а если и появляется паровоз, то он еле-еле тянул платформы, груженные огромными камнями, при этом дымил, пыхтел и гудел так, что слышно было на всю округу. Заслышав приближение паровоза, мальчишки бежали к железной дороге, чтобы сделать себе битую для игры в пристенок. Они подкладывали на рельсы, перед идущим паровозом, пятаки, а потом выхватывали из-под колес расплюснутую и еще горячую металлическую лепешку».

Вот счастье-то!

Самой же простой игрой на деньги была, разумеется, орлянка. Игра эта древняя, еще дореволюционная. Собственно, отсюда и название — на дореволюционных монетах реверс украшался двуглавым державным орлом. Отсюда и название — орел. Решка — соответственно, аверс монеты. Не кричать же, право, во дворах «реверс» и «аверс». Как-то оно совсем не по понятиям.

Смысл же игры состоял в том, чтобы угадать, какой стороной кверху упадет подброшенная монета. Угадал — она твоя. Кстати, монеты совершенно не обязательно должны быть современными и имеющими полноценное хождение на данной территории. Но лучше, чтобы это все же было так — иначе сразу возникают требования к нумизматической подготовке играющих.

Любопытно, что орлянка существует во многих странах мира. И в каждой у нее свое название, в зависимости от особенностей национальной монеты. В Британии, например, «голова или хвост». А в Римской империи — «корабль или голова».

А возраст ее — не менее почтенный, чем у того же «пристенка». Александр Куприн писал в «Большой новогодней книге»: «Люди ловкие, умеющие найтись в каких угодно обстоятельствах, говорят, хвастаясь своими способностями, что им решительно все равно, играть ли в орлянку или убить человека, хотя между обоими этими занятиями лежит целая пропасть».

Упоминал эту игру и Юрий Карлович Олеша: «Может быть, потому, что дети, приходя сюда — в такую запретную отдаленность, — знали, что, вернувшись, будут наказаны, и потому очертя голову шли на опасность — на выбегающую из-за кочек собаку, которая могла оказаться бешеной, на двух бродяг, играющих в орлянку, на мальчика в лохмотьях, показывающего солдатский с медным черенком нож, и, наконец, на водопроводную башню, единственно в такой лишь местности позволяющую приблизиться к себе вплотную».

«Проходя мимо первой батареи или флагштока, я увидел внизу под скалою кучку солдат, играющих в орлянку. Сначала я не обратил внимания на эту весьма обыкновенную картину. Но мне как будто шепнул кто-то: не здесь ли Фиялковский? Всматриваюсь и глазам не

верю: мой Фиялковский, спустив с правого плеча шинель, с ловкостью знатока дела бросил что-то вверх; кружок игроков быстро поднял головы и потом медленно опустил, крикнувши: орел! Фиялковский нагнулся очистить кон, а я, пожелав ему успеха, пошел далее». Это Тарас Шевченко, 1857 год.

А вот и Достоевский, повесть «Двойник», написанная в 1845—1846 годах: «Я их знаю, — просто мальчишки, которых еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только...»

На этом про орлянку и вообще про денежные игры — все.

\* \* \*

Дворовые игры, естественно, были не только подвижные. Действительно — стоял же для чего-то в центре каждого советского двора его главный атрибут — огромный, человек на десять, и тяжелый стол. А на столе играли большей частью в домино. Именно оно считалось своего рода королем дворовых настольных игр.

Сбивают из досок столы во дворе,  
Пока не накрыли — стучат в домино.  
Дни в мае длиннее ночей в декабре,  
Но тянется время — и все решено, —

пел Владимир Семенович Высоцкий в своей прекрасной «Песне о конце войны».

Домино — игра элементарная. 28 костяшек с цифрами. Цифры наносятся с помощью точек — так они одинаково хорошо считываются с любого ракурса. Самый высокий номинал костяшки домино: «шесть — шесть». Самый низкий: «пусто — пусто».

Знатоки уверяют, что костяшки домино произошли от игральных костей, а сама игра в домино — соответственно, от игры в кости. Отсюда и название.

Что ж, очень похоже на правду.

Материал — либо слоновая кость, либо пластмасса, реже металл или дерево.

Существует множество разновидностей домино. В советских дворах фактически прижился единствен-

ный — так называемый «козел». «Забить козла» — значит, сыграть партию в домино. Есть также «телефон», «осел», «блоха», «маггинс», «колбаса», «чэчэвэ» (расшифровывается как «человек человеку волк»), генерал (он же «генеральский козел») и множество других вариантов. Но советский коммунальный двор предпочитал следовать принципу бритвы Оккама — «не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости». Есть «козел» — и достаточно.

Одна из распространенных пьяных шуток — дать капустный лист соседскому ребенку, чтобы он отнес его «тому козлу, в которого играют дяди за столом». Игра может закончиться выигрышем, а также «рыбой» — своего рода патовой ситуацией. Устроитель «рыбы» чаще всего громко кричит: «Рыба!» А вообще эта игра довольно тихая, пенсионерская.

Игра в домино расхолаживала. Художник Михаил Гробман писал в дневнике: «Этот день прошел в бездействии и чтении книг, я играл в домино с мужиками».

Известно стихотворение Александра Твардовского:

Люди, не играйте в домино:  
На том свете  
Надоест еще оно.  
Днем не спите —  
Отоспитесь там, за гранью...  
На тоску дней не тратьте —  
Хватит времени потом.  
Выпить — выпейте, и тут, —  
На том свете не дадут.

Но как раз за эту медитативность, за возможность провалиться глубоко во времени домино и любили.

После ужина (ужинали все примерно в один час — между семью и восьмью) за домино уже не садились. Стол, однако же, не пустовал. За ним размещалась своего рода дворовая элита — люди совершенно разные по половому, возрастному, национальному, имущественному и социальному статусу. Их объединяло одно — они пользовались во дворе авторитетом. Они многое прошли и видели. Большинство из них сидело. Они знали жизнь.

Эти граждане могли торчать своей компанией за общим дворовым столом до поздней ночи, пить дешевый

портвейн и вести увлекательнейшие беседы. Им было что друг другу рассказать.

Иногда кто-то из них перебирал струны гитары. Но это реже. Чаще просто велись разговоры. Иногда праздные, а иногда и по делу. Проблемы во дворе случались, и, как правило, возможности этой дворовой элиты позволяли любые проблемы решить.

\* \* \*

Впрочем, о гитарных струнах — чуть подробнее.

Дворовая песенная лирика была самая разная — героическая, любовная, экстремальная, даже историческая. Преобладала, разумеется, любовная. Где только брали эти песни — совершенно непонятно. Пели их с подвыванием, закатывая глаза.

Пары шли и проходили мимо  
Старого зеркального пруда.  
Я мечтал о девушке любимой,  
Что недавно мной пренебрегла.

Прошрое мое ты презираешь,  
Прошрое мое так далеко,  
Ты прошла, и ты теперь не знаешь,  
Как в любви признаться нелегко.

Мне волос твоих теперь не гладить,  
Алых губ твоих не целовать.  
Не сумели мы с тобой поладить,  
Не сумеем встретиться опять.

Хочется к груди твоей прижаться,  
Хочется тебя поцеловать,  
Хочется навек с тобой остаться,  
Хочется так плакать и рыдать.

Или, например, такая песня — одновременно и любовная, и героическая, и даже с сюжетом, что, кстати, не редкость в дворовом песенном эпосе. Действительно, песни, в которых «что-то происходит», пользовались повышенной популярностью.

Из-за пары распущенных кос,  
Что пленили своей красотой,

С оборванцем подрался матрос,  
Подстрекаемый шумной толпой.

Оборванец был молод, силен,  
В нем кипела, играла любовь,  
А матрос был войной изнурен,  
Он упал, с горла хлынула кровь...

Оборванец на корточках сел,  
Чтоб лицо у врага увидеть.  
В нем родного он брата узнал,  
Но не мог его раньше узнать.

И шумела, ревела толпа,  
И стоял оборванец босой,  
А в сторонке стояла она,  
Белокурой играя косой.

Наш современник, знаменитый музыкант Алексей Козлов вспоминал:

«Одной из важных составляющих дворовой жизни после войны были песни. Они так и назывались — дворовые песни. Их пели все. И благочинные пионеры, и школьники, и шпана, огольцы, блатные, жулики, которые все были перемешаны в одном дворе. Но были среди этих песен настоящие блатные, тюремные, лагерные, хулиганские, с матом, похабные, а были и чистые, детские, пионерские песни, но они были дворовые. Их не пели у костра в пионерлагере или на сборах в школе. Это была своя подпольная детская музыкальная култыга... Если давать характеристику этим пионерским дворовым песням, то можно сказать, что они были романтическими и экзотическими. Дело в том, что там пелось о каких-то пиратах, ковбоях, просто моряках, джунглях, и о том, о чем мы, в общем, не имели никакого представления. Отсутствие такой информации восполняла литература, в частности, повести и рассказы Александра Грина, этого очень необычного, странноватого писателя, который выдумал какую-то особую страну со своими названиями городов и портов, с необычными именами героев, с гипертрофированными злодеями и прекрасными героями. Эта литература, она не просто у нас вызывала интерес к экзотике, она и воспитывала в детских душах лучшие тогда качества. В те детские годы образ моряка был очень популярен. И у меня был тоже



такой короткий период увлечения этой тематикой. Я пытался носить какие-то клеши самодельные, доставать тельняшки, бескозырки, делать наколки. Это было такое поветрие. Мы пели песни о разных иностранных моряках, которые дерутся между собой. А действие происходило в каких-то неизвестных городах с названием, например, Кейптаун. Это было название, которое ни о чем не говорило. Так же как Зурпаган из рассказов Александра Грина...

Музыка тогда звучала в дворовой жизни довольно часто. И ее роль была очень велика. Это были не просто только дворовые песни. Мы пели песни из кинофильмов, вот из тех самых трофейных фильмов, которые тогда были так популярны. В первую очередь, конечно, фильм “Три мушкетера”. Этот фильм принес увлечение шпагами. Мы начали все во дворах сражаться, нанося друг другу жуткие травмы. В результате этого увлечения появилось довольно много детей калек с поврежденными глазами, но остановиться было невозможно. Мы делали самодельные шпаги, щиты и, разделяясь на две команды, сражались, невзирая ни на что. И при этом пели замечательные мелодии из этого кинофильма. Я помню, что кто-то тогда придумал дурацкие слова на эту мелодию и во всех дворах ее пели.

Вори-вори-воришка  
Залез ко мне в карман,  
Он вытащил рублишко  
И смылся в ресторан».

Помню, присутствовала даже историческая, можно сказать, краеведческая тематика. У нас она была представлена песней на стихи Леонида Филатова «Пушкин»:

Тает желтый воск свечи,  
Стынет крепкий чай в стакане,  
Где-то там, в седой ночи,  
Едут пьяные цыгане.

Полно, слышишь этот смех?  
Полно, что ты, в самом деле?!  
Самый белый в мире снег  
Выпал в день твоей дуэли

Знаешь, где-то там вдали,  
В светлом серпантинном зале  
Молча встала Натали  
С удивленными глазами.

В этой пляшущей толпе  
В центре праздничного зала,  
Будто свечка по тебе,  
Эта женщина стояла.

Встала и белым-бела  
Разом руки уронила,  
Значит, все-таки была,  
Значит, все-таки любила!

Друг мой, вот вам старый плед!  
Друг мой, вот вам чаша с пуншем!  
Пушкин, Вам за тридцать лет,  
Вы совсем мальчишка, Пушкин!

Тает желтый воск свечи,  
Стынет крепкий чай в стакане,  
Где-то там, в седой ночи,  
Едут пьяные цыгане.

О Филатове мы толком ничего не знали, о том, что это его песня, даже не догадывались. Дворовые песни вообще как будто не имели авторства. Оно, во всяком случае, ровным счетом никого не интересовало.

Зато это незнание позволяло врать песни безбожно. Я не про мотив, это и так понятно. Сами тексты от бесконечного повторения перелицовывались до неузнаваемости и теряли последние признаки логики.

Вот, например, как у нас пелся «Пушкин». Прошли десятилетия, а помню ее так, как будто только что допел последние слова, отложил в сторону гитару, отломил от протянутой сигареты фильтр (кстати, весьма распространенное дворовое пижонство) и самая красивая девушка протянула мне горящую бензиновую зажигалку (одноразовых газовых в то время, естественно, не было).

Тает белый воск свечи,  
Стынет крепкий чай в стакане.  
Слышишь, Саша, как в ночи  
Едут пьяные цыгане?

Друг мой, вот вам теплый плед.  
Друг мой, вот вам чаша с пуншем.  
Вам всего семнадцать лет,  
Вы еще мальчишка, Пушкин!

Где-то там, в ночной дали,  
Где-то в серпантинном зале  
Встала ночью Натали  
С удивленными глазами.

Встала, вся белым-бела,  
Молча руки опустила.  
Значит, все-таки ждала,  
Значит, все-таки любила!

Начисто лишенная темы дуэли, с Пушкиным, помолодевшим ровно на два десятилетия, наполненная множеством несуразностей, песня пользовалась бешеным успехом. Желтый воск, ставший белым — это еще туда-сюда. Но чего ради Натали, которой в тот момент было всего четыре года, вставала ночью, опускала руки, словом, проделывала все эти телодвижения?

Сейчас-то ситуация более или менее понятна. Мы знали, что у Пушкина была жена, некая Натали, красавица. И что в какой-то момент что-то пошло не так. На этом наши знания заканчивались. О том, что Натали могла быть моложе своего супруга на целых тринадцать лет, мы, разумеется, не догадывались, да особенно и не гадали. Пушкину, как и нам, было семнадцать. Ну, нормально, ей, наверное, тоже.

Главное мечтательно закатывать глаза и старательно подвывать в конце каждой строки:

Значит, все-таки жда-ала-а-а-а-а,  
Значит, все-таки любви-ила-а-а-а-

Выше голос, выше:

а-а-а-

И еще выше:

а-а-а-а!

И успех местных красавиц, некурящих, но вооруженных на подобный случай зажигалками, вам обеспечен.

Поэт Алексей Дидуров даже посвятил дворовым песням московских коммуналок отдельную песню под названием «Шанхай» (другое название — «Песня о песнях детства»):

Злачный полночный Шанхай,  
Караван шейха Али —  
В песнях двора, в детской дали  
Сколько баллад я слышал!  
Сколько там было вранья,  
Столько же было огня —  
Этот огонь, злой, как жаргон,  
Вшит семиструнно в меня!

Мир черно-белых чудес,  
Драк и фиксатых принцесс —  
Я твой двойник и ученик  
Племени хмурых повес...  
Рвал я решетку тюрьмы,  
Раненый, падал с кормы —  
В парадниках, в чреве Москвы  
Песни пьянили умы!

Брел я сквозь стужу времен,  
Щурясь на льдистый неон —  
Сдвинулся быт, но не забыт  
Идолов тех пантеон,  
И в чернобыльской пыли  
Рядом со мною шагай  
В злачный Шанхай, в мрачный Шанхай  
Караван шейха Али...

Лейтмотивом же здесь следуют отсылы к известной дворовой песне «Из Ташкента в Иран». Такое ощущение, что эта песня была вечная. Ее пели в послевоенные годы — годы детства Алексея Алексеевича Дидурова. Пели и раньше. И мы в 1970-е ее тоже пели. Основным инструментом была, разумеется, все та же гитара — в дидуровское время семиструнная, а в наше уже шестиструнка. Кроме того, я, на правах дворового интеллектуального хулигана, спаял нечто наподобие синтезатора на батарейках и с колонкой. Для игры на этом синтезаторе был необходим такой же безупречный музыкальный слух,

как для игры на скрипке. У скрипки нет ладов, а у моего чудовища не было вообще ничего, кроме пимпочки, которую можно было крутить либо по часовой, либо против часовой стрелки. И тогда мерзкий звук, издаваемый колонкой, плавно менял свою высоту. На большее я, к сожалению, не был способен.

Абсолютным музыкальным слухом не обладал никто из нас, но это не смущало. Пимпочка самозабвенно крутилась, лилась над московской окраиной вечная песня:

Из Ташкента в Иран  
Все идет караван.  
Он везет для паши  
Сорок тонн анаши.

Сорок дней без воды  
Все идут верблюды.  
О, Аллах, помоги  
До воды им дойти.

Караванщик Али  
Вынул маузер свой —  
Показался вдали  
Пограничный развод.

Караванщик Али  
Вдруг привстал в стремях.  
Показался вдали  
Их родимый Иран.

Вариантов этой песни было множество — вместо Ирана иногда встречался Пакистан, вместо паши — байбаши.

Откуда взялась эта песня и куда потом делась — неведомо.

\* \* \*

Гитара, как главный инструмент для аккомпанемента дворовым песням, неизменно присутствовала на протяжении всего существования советских коммуналок. Почему именно гитара, а не, например, аккордеон (лишь промелькнувший в середине прошлого столетия и снова канувший в кружковые помещения рабочих клубов)? Не скрипка? Не саксофон?

В общем, все более или менее понятно. Скрипка сложная, саксофон тоже, да плюс с ним еще не споешь. Аккордеон вызывающе неромантичен, похож больше не на музыкальный инструмент, а на гипертрофированный сапог для раздувания самовара. А гитара как раз очень даже романтична. Происхождение — испанское, лучше и не придумаешь. Именно на гитаре молодые кабальеро исполняли серенады под балконами своих грандесс. Которые, в качестве поощрения, швыряли им вниз мятый цветок из собственной прически. Кабальеро же откладывал гитару в сторону, припадал на одно колено и прикладывал цветок к губам. После чего закатывал глаза от распиравшей его романтики — совсем как дворовые исполнители песни Филатова «Пушкин».

Гитара стала популярным инструментом еще в XVIII столетии — с того момента, как она сделалась шестиструнной, а не пятиструнной, а сами струны стали одинарными, не сдвоенными, как это было поначалу.

И. Бунин в «Чистом понедельник» описывал цыганский хор: «Входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевала с низким лбом под дегтярной челкой».

Еще раньше был заворужен Александр Дюма, посетивший Москву в 1858 году:

«Старик вдруг ударил по струнам гитары и запел нечто вроде кантаты, которую подхватил другой мужчина и две женщины. Когда он кончил, запела, словно проснувшись, молодая цыганка, запела на редкость мягким, хватающим за душу голосом, и ей стали вторить остальные. Так оба они — старик и молодая — пели по очереди под аккомпанемент хора... Вдруг струны взвизгнули под пальцами старика, трое цыган мигом вскочили и, взявшись за руки, стали кружить вокруг молодой цыганки, которая лишь покачивалась в такт музыке. Но как только их круг распался, она сама приняла участие в танце. Что это был за танец? Это была скорее пантомима, чем танец. Танцоры, казавшиеся вначале утомленными, вялыми, оживились, полусонные глаза их расширились, губы сладострастно вздрагивали, открывая ряд жемчужных зубов. Молодая цыганка превратилась в вакханку.

Вдруг мужчина, танцевавший вместе с другими женщинами, бросился к ней и прильнул губами к ее плечу. Она вскрикнула, точно ее коснулось раскаленное железо, и отскочила в сторону. Казалось, он преследует ее, а она убегает, но, убегая, манит его за собою. Звуки гитары становились все более призывными. Пляшущие цыганки издавали по временам какие-то крики, били в ладоши, как в цимбалы, и, наконец, словно обессилив, две женщины и цыган упали на пол. Прекрасная цыганка одним прыжком оказалась у меня на коленях и, обхватив мою шею руками, впилась в мой рот своими губами, надушенными неведомыми восточными травами. Так, видно, она просила оплатить свою волшебную пляску.

Я вывернул свои карманы и дал ей что-то около 300 рублей. Если бы в эту минуту у меня были тысячи, я бы не пожалел их для нее.

Я понял, почему русские так увлекаются цыганами!»

Поэт Дон Аминадо (он же Аминад Шполянский) ставил цыганскую гитару в один ряд с самыми распространенными символами обывательской роскоши:

«В Эрмитаже Оливье, на Трубной площади, в белом колонном зале — банкеты за банкетами.

В отдельных кабинетах интендантские дамы, земгусары в полной походной форме, всю ночь звенят цыганские гитары; аршинные стерляди, расстегаи, рябчики на канапе, под собственным наблюдением эрмитажного метрдотеля знаменитого Мариуса; зернистая икра в серебряных ведерках, покрытых морозным инеем; дорогое шампанское прямо из Реймса, из героической Франции; наполеоновский коньяк, засмоленный черным сургучом.

Смокинги, шелка, страусы, бриллианты, не хуже, чем год назад, на фестивале принцессы де-Брой».

А вот и «Цыганская венгерка» Аполлона Григорьева:

Две гитары, зазвенев,  
Жалобно заныли...  
С детства памятный напев,  
Старый друг мой — ты ли?  
<...>  
Квинты резко дребезжат,  
Сыплют дробью звуки...  
Звуки ноют и визжат,  
Словно стоны муки.

Что за горе? Плюнь да пей!  
Ты завей его, завей  
Веревочкой горе!  
Топи тоску в море!

Вот проходка по баскам  
С удалью небрежной,  
А за нею — звон и гам  
Буйный и мятежный.

Перебор... и квинта вновь  
Ност-завывает,  
Приливает к сердцу кровь,  
Голова пылает.

Чибирияк, чибирияк, чибирияшечка,  
С голубыми ты глазами, моя душечка!..

Словом, коммунальная дворовая гитара, что называется, упала на унавоженную почву.

Во всем мире гитара была шестиструнная, а у нас — семиструнная. Неудивительно, что семиструнку называют либо русской, либо цыганской гитарой. Впервые ее сконструировал наш соотечественник Андрей Осипович Сихра еще в позапрошлом веке. Он же написал для своего изобретения около тысячи произведений, по большей части — обработок русских народных и цыганских песен.

Журнал «Московитянин» так писал об этом энтузиасте: «Сихра играл также на шестиструнной гитаре, и, будучи одарен сильным музыкальным талантом и достигши степени виртуоза на арфе, он в конце прошлого столетия был в Москве, придумал сделать из шестиструнной гитары инструмент, более полный и близкий арфе по арпеджиям, а вместе с тем и более мелодический, нежели арфа, и привязал седьмую струну к гитаре: вместе с тем он изменил ее строй».

Она отличалась от гитары классической не только количеством струн — семи вместо шести. Сами струны у нее несколько тоньше (и сам инструмент, соответственно, звонче). Но за счет того, что металл менее эластичный, гитаре потребовались ребра жесткости. Они расположены внутри деки. Гриф не был жестко прикреплен к корпусу, с помощью специального гитарного ключа приводился в действие особый винт, и уже с помощью винта гриф менял угол наклона по отношению



к деке. А главное — у нее был другой строй. Не минорный, а мажорный.

В Советском Союзе гитары выпускало всего несколько заводов. Самый популярный — подмосковный, расположенный в поселке Шихово. Его гитары были самыми дешевыми (порядка восьми рублей за инструмент), самыми прочными и самыми жуткими в смысле звучания. К тому же они были семиструнными. Вся страна давно уже играла на классических шестиструнных инструментах, но шиховская фабрика оставалась верна никому уже не интересным традициям.

Да и тех гитар было не достать. В магазинах музыкальных инструментов чаще попадались скрипки и причудливые духовые механизмы. Жители Москвы и Подмосковья, разумеется, ездили в Шихово, в небольшой магазинчик при заводе. Но и там никто не гарантировал наличия столь вожаделенной «шиховки». Тем не менее гитары как-то появлялись у любителей простых, так называемых «блатных» аккордов.

Приобретая гитару, человек покупал своего рода полуфабрикат. Следовало переделать семиструнку в шестиструнку. По-другому распилить пластинку грифа. Засунуть в освободившийся колок сложенную в несколько раз бумажку — чтобы не дребезжал. Поколдовать со струнами — избавиться от лишней. Выпилить и вставить специальную пластинку в том месте, где струны крепятся к деке. Серьезно поорудовать ключом и убедиться, что порожки грифа имеют разную высоту. Снять струны с помощью молотка и надфиля привести их в более или менее одинаковое состояние. Снова поставить струны, поорудовать ключом и с сожалением обнаружить, что гитарный гриф перекосило и играть на полученном инструменте нельзя.

Удача, впрочем, иногда сопутствовала, но рассчитывать на это было опрометчиво. Проще купить заграничную гитару — в магазинах продавались гэдээровские, чехословацкие и болгарские. Но на это не у всех хватало денег. Тогда шли на компромисс — покупали все ту же «шиховку», но переделать ее несли мастеру, искушенному в этих делах. Такой мастер присутствовал в каждом дворе, и когда за деньги, когда за струны, пластинки, за выпивку, а когда просто так переделывал шиховский ужас в нечто более цивилизованное. Одна,

лишняя струна — как один щенок из благородного помета — в любом случае доставалась этому мастеру переделок.

Но даже подобная квалифицированная обработка не отменяла, так сказать, плановое техническое обслуживание — подоткнуть карандаш под расшатавшийся гриф. Впрочем, карандаш был нужен в любом случае — иначе, под напором жесткого металла струн, гриф мог проткнуться насквозь слабую деку. Подкрутить винт узкогубыми пассатижами (гитарный ключ, разумеется, постоянно терялся). А главное — время от времени менять обтрепанную наклейку-переводилку на новую. У некоторых дворовых музыкантов на гитаре дерева вообще не было видно — сплошь одни наклейки.

Сегодня целомудренность этих переводилок вызвала бы слезы умиления — какие-то самолетики, автомобили, крокодильчики.

Многие были всерьез уверены, что в Шихове находится некая мебельная фабрика, которая, помимо тумбочек и гардеробов для чего-то клепают еще и гитары. Это мнение было ошибочно — изготовление струнных музыкальных инструментов было здешним промыслом еще в XVIII веке. Просто при советской власти кустарей объединили в фабричные цехи, основав в 1929 году фабрику музыкальных инструментов. К мебели же это производство не имеет никакого отношения. Разве что в 1990-е фабрика, дабы удержаться на плаву, стала кроме музыкальных инструментов выпускать теннисные ракетки, плечики для одежды и рукоятки для напильников и неожиданно ставших востребованными паяльников.

Многие десятилетия шиховская фабрика снабжала обитателей наших дворов этими полуфабрикатами. И покупали — а куда же денешься. Качество при этом падало и падало. Не только у гитар — у всего шиховского ассортимента ряда. Год от года становились все хуже и хуже балалайки и домры, мандолины и лютни.

В качестве спасения решили обратиться к старым мастерам-надомникам. Не помогло. А с наступлением капитализма появился выбор и продукцию гитарной фабрики брать перестали. В 2007 году фабрика окончательно закрылась.

Научиться играть на гитаре было делом чести. Металлические струны превращали подушечки пальцев в

бесчувственные покрытые сплошной мозолью брусочки с ногтями. Лишь потом стали пользоваться медиатором, да и то далеко не все.

В качестве учителей выступали дворовые авторитеты. Списывали друг у друга аккорды. Кто не умел списывать — срисовывали. Ходили на концерты Окуджавы и Высоцкого — смотрели, в каком именно месте они зажимают струну.

Передавали друг другу захватанные самоучители гитарной игры. Гитарные кружки действовали в каждом, без исключения, клубе — но их как раз не посещали. Тем более не посещали «музыкалки» — музыкальные школы — по классу гитары.

Видимо, сам дух этого инструмента требовал свободы и спонтанности принятия решений, а регулярные уроки у преподавателя — совсем другого: размерности, дисциплины и приготовления домашних заданий. Поэтому истинные дворовые гитаристы оставляли клубы любителям вязания и выжигания по дереву, школы — послушным мальчикам со скрипками и девочкам за фортепиано, а сами осваивали инструмент более подходящими, флибустьерскими способами.

Ходило выражение «испанский воротник». Это когда в подвыпившей компании кто-нибудь надевал кому-нибудь на голову гитару дыркой вниз, да так, что трескались и верхняя, и нижняя деки, переламывались так называемые пружины — маленькие деревянные брусочки, можно сказать, арматура гитары, и в результате вся эта конструкция повисала у несчастного на шее.

Я никогда не видел, чтобы делали испанский воротник. И никто из моих знакомых тоже, разумеется, не видел. Я даже не думаю, что это технически возможно. А если и возможно, то исход, боюсь, был смертельным.

С приходом хрущевской «оттепели» гитара обрела свою вторую жизнь.

В магнитофонах — многочисленные барды, все с гитарами. Подражание бардам стало частью обязательной программы. На «черных» книжных развалах — «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре», с руками рвут. Сами гитары тоже рвут. В громадном музыкальном магазине «у Савеловского» очереди занимали с ночи.

Хороший игрок на гитаре — душа всякой компании.

А для интеллигентного и робкого отличника освоить гитару — единственный способ хоть как-нибудь социализироваться. И даже не как-нибудь — по высшему разряду, пользуясь восторженным покровительством заправских дворовых хулиганов.

Гитара была много больше, чем просто музыкальный инструмент. Она была предметом культа, средством заработка, оболыщения и еще много чем.

Небожителями были члены КСП — Клуба самодеятельной песни. Они собирались рядом с «Белорусской» у пивнушки с народным названием «Гульбарий». Ходить туда было намного статуснее, чем, к примеру, в ресторан «Метрополь». До дворовых компаний, разумеется, лишь доносились отголоски этих сборищ. Но все-таки доносились.

На московском памятнике Высоцкому, установленному на пересечении Петровки и Бульварного кольца, прекрасно видно все семь колков гитары Владимира Семеновича. Правда, струн на этой бронзовой гитаре всего-навсего четыре, но, видимо, в этом присутствует некая авторская аллегория, непостижимая для нас, обычных обывателей. Время от времени поклонники Высоцкого привязывают к этому инструменту яркий бант, от чего он становится еще загадочнее и чуднее.

А вот к другому памятнику Высоцкому — на его могиле, на Ваганьковском кладбище — поклонники приносят настоящие гитары. Там же их и оставляют — вместе с рюмками водки, накрытыми хлебом.

И в этом плане совершенно неожиданны воспоминания поэта Евтушенко:

«Пушинки медленно и мягко кружились в воздухе, плавали, как стайки крошечных утят на поверхности луж, оставшихся после вчерашнего дождя, запутывались в волосах продавщиц вафель, потихоньку набивались в кобурку милиционера, большого любителя этих вафель, а вечером, влетая в открытые окна, садились на черные крутящиеся пластинки. Такими вот тополиными вечерами ходили мы вместе по Четвертой Мещанской: Римма, Роза, Степан и я. Мы все жили в одном доме, были ровесниками и помнили друг друга столько, сколько вообще могли что-нибудь помнить.

У Степана в руках была гитара. Я в принципе этот инструмент считал атрибутом пошлости, но Степанову

гитару любил. И голос его любил, негромкий, я бы сказал, грустно улыбающийся голос, которым Степан напевал нехитрую песенку, сочиненную мною и им:

На этой тихой улочке,  
Где бродит столько пар,  
Когда-то с кремом булочки  
Тебе я покупал.  
Смотрел на платье синее  
У дома твоего  
И называл по имени,  
А больше ничего.  
Счастливая, несчастная,  
Кружилась голова.  
Четвертая Мещанская,  
Дом семь, квартира два!»

Почему вдруг гитара была для молодого Евгения Александровича «атрибутом пошлости»? И вдруг при всем при том — такая избирательность. Позерство, свойственное в некоторой степени этому стихотворцу? Или и вправду настроение определенного сегмента советской молодежи?

Скорее все же первое. Очень уж вездесущим был этот инструмент. Все равно что разглядеть пошлость в вилке, лестничных перилах или жестянке монпансье.

\* \* \*

Круче умения играть на гитаре было в дворовой иерархии разве что уголовное прошлое, настоящее, а также будущее. Этого не стеснялись, а, напротив, всячески кичились тем, что часть бесценной жизни проходила за решеткой.

Впрочем, одно с другим — гитара и решетка — было связано крепчайшими канатами. Алексей Козлов вспоминал:

«Среди блатных песен, которые пелись всем двором, независимо от степени принадлежности поющих к настоящему блатному миру, была отдельная категория, относящаяся к теме взаимоотношений воров с их родителями. Чаще всего это было покаяние вора перед матерью, которая страдала от того, что ее родной сын погибает в зоне. Вспомнить хотя бы такие фразы:

“У всех дети как дети, а ее — в лагерях...”, “А мать по сыну плачет и страдает, болит и стонет надорванная грудь...” В песенных сюжетах зэк нередко вспоминал о матери в тяжелую, роковую минуту — “...Я тебя не увижу, моя родная мама, вохря нас окружила, ‘руки в гору!’ кричат...”. Отец у вора чаще всего оказывался подлецом, бросившим мать с маленьким сыном, что и определяло его дальнейшую судьбу — “Вот вырос сын, с ворами он сознался, он стал кутить и дома не бывать, он время проводил в притонах и разврате и позабыл свою старушку-мать...”. В одной из песен таким отцом оказывался даже прокурор, который, узнав, кого он послал на расстрел, сам повесился “над двойною могилою”. Надо сказать, что песни этого типа и сейчас кажутся образцом довольно высокой морали, очевидно утраченной в наше время. А учитывая огромное влияние двора на его обитателей, не побоюсь сказать, что многие из таких песен имели определенное воспитательное значение, как ни парадоксально это звучит. “Классические” блатные песни типа “Топ со смыком”, “Мурка”, “На Дерибасовской открылась пивная” или “Жора, поддержи мой макинтош” уже тогда воспринимались как нечто традиционное и немосковское (о нэпе и Одессе узнали позднее). Извечная же тема продажной махрухи “МУРки” была отражена в ряде других песен, в таких шедеврах, как: “В кепке набок и зуб золотой” или “Я помню день, когда тебя я встретил”. Эти песни пелись безо всякого юмора, на полном серьезе. Такие сакраментальные фразы, как “Костюмчик серенький, колесики со скрипом я на тюремный халатик променял, за эти восемь лет немало горя видел и не один на мне волосик полинял...” или “Он лежал так спокойно и тихо, как гитара осенней порой, только кепка валялась у стенки, пулей выбило зуб золотой...” — воспринимались как большая поэзия и западали в душу безоговорочно и надолго.

Была неуловимая грань, за которой для пионеров ложный пафос романтики игры в блатных заканчивался. В каждом дворе было немало настоящих уркаганов, щипачей, форточников, фуфлыжников, майданщиков и представителей других профессий, самых разных возрастов, от психически неуравновешенных шкетовогольцов с “мойками”, до великовозрастных “лбов”, не-

которые из которых уже отсидели сроки и были знакомы с тюремным пафосом отнюдь не по песням. Когда вечерами большая, разношерстная компания собиралась в нашем дворе, чтобы попеть, мне кричали в окно, и я “выходил во двор”, беря свою гитару. Если костяк такой компании составляли взрослые, имеющие отношение к уголовному миру, то исполнялись главным образом настоящие лагерные и тюремные песни, где не было никакой романтики, а была тоска, ненависть и безнадега. Достаточно вспомнить — “По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута — Ленинград” или “Я помню тот Ванинский порт”. Пионеры тоже иногда подпевали, но в то же время понимали, что лучше в этот ад не попадать, лучше прожить в какой-нибудь другой “романтике”, не связываясь с законом».

\* \* \*

Самое, пожалуй, страшное дворовое увлечение, взрывоопасное в прямом смысле этого слова описал уже неоднократно здесь упоминавшийся и с огромнейшим почтением цитируемый саксофонист Алексей Козлов: «Опасным, если не сказать криминальным, было увлечение “поджигами”, представлявшими собой самодельные пистолеты по типу первых средневековых. Рукоятка выпиливалась из дерева, на нее прикреплялось дуло, изготовленное из медной или латунной трубки небольшого диаметра. В дуле запаивалась задняя дырочка, а рядом, сбоку пропиливалось небольшое отверстие для поджигания пороха, который предварительно туда набивался. В качестве пули служили любые кусочки металла, соответствующие диаметру трубки-дула, дробинки, обрезки проволоки, капли свинца. Приготовленный к стрельбе поджиг брался в одну руку, а другой надо было поджечь запал, вставленный в боковое отверстие трубки. Запалом часто служила спичечная головка, по которой чиркали коробком. Пламя попадало в трубку, порох воспламенялся, и заряд вылетал как из настоящего нагана. Я было тоже увлекся изготовлением поджига, но меня остановило сознание того, что я должен буду во что-то или в кого-то стрелять, а это в мои намерения, как выяснилось, не входило. Кроме того, стрельба из поджига оказалось делом крайне опасным, практически в каждом дворе появи-

лись первые жертвы, в основном среди тех, кто стрелял. Так как поджиг являлся имитацией настоящего оружия, то стрелять из него, не целясь, отворачиваясь в сторону или зажмуривая глаза, было недостойным. Поэтому стрелявший, как правило, делал вид, что целится, и глаз не отводил. А поджиги довольно часто взрывались прямо в руках у их владельцев по простой причине отсутствия расчетов соответствия толщины трубки и мощности заряда. Все делалось на глаз, а в результате страдали в первую очередь глаза. Полуслепые мальчишки с синими пятнышками ввевшегося пороха на лице были не редкостью в те послевоенные годы. Иногда, при большой силе разрыва трубки, могло и покалечить руку, оторвав одну-две фаланги от пальцев. Когда я был уже в классе седьмом, мне подвернулся случай дешево выменять самодельный металлический пистолетик, похожий на настоящий. Патроны к нему отсутствовали, калибр неизвестен. Успокоенный тем, что теперь я вооружен, я нашел в квартире тайник, куда надежно спрятал его. Характерно, что я случайно вспомнил о его существовании через много лет, когда стал взрослым и учился в институте. Заглянув в тайник, я там ничего не обнаружил. Кто и когда его изъял, я так и не узнал. Либо соседи, либо мои родители наткнулись на него, но никто не подал вида».

В наши дни социальную и культурную нишу старых добрых поджигов успешно заняли дешевые китайские фейерверки.

\* \* \*

Главным же развлечением коммунального двора была, конечно, голубятня. Голубятников боготворили.

Юрий Коваль писал в повести «Пять похищенных монахов»:

«В этот же вечер мы вернулись домой и еще успели погонять голубей. Весь двор, конечно, был заполнен жильцами, многие залезли даже на крышу, чтоб увидеть это чудо — монахов, летающих в вечернем небе.

Вдруг со стороны Красного дома послышался пронзительный свист. Это свистел Тимоха-голубятник. И вслед за свистом из глубины Зонточного вырвался голубь. Белый как снег, он стремительно прошел мимо монахов, прямо поднимаясь вверх.



Это был знаменитый Тимохин Тучерез.

Завидев его, Моня оторвался от стаи и дунул следом.

Тут бешено засвистел Крендель, засунув в рот буквально все пальцы, и я поддержал, и дядя Сюва, и Райка Паукова, и тетя Паня ужасно засвистела со своего этажа, и даже бабушка Волк засвистела тем самым свистом, который называется “Воскрешение Лазаря”.

А Тучерез поднялся уже высоко и все шел вверх, чуть с наклоном, набирая высоту... Просто жалко, что не было в небе тучи, которую он бы с ходу разрезал пополам.

Вот он встал, как жаворонок, на месте, сложил крылья и камнем стал падать вниз.

Тут же Моня подхватился вокруг него — завил спираль.

Тучерез упал на крышу Красного дома, раскрыв крылья в самый последний момент, а Моня перевернулся через крыло, через голову, пролетел у самой Тимохиной головы и снова взмыл кверху, догоняя монахов».

(На всякий случай в скобках поясню. «Тучерезами» в Москве первое время называли высотные дома — нынешнее слово «небоскреб» возникло много позже. Так что чудо-голубь ничего не резал, тучи в том числе. Он был фактически назван в честь здания.)

Голубятников уважали, прощали им всяческие мелкие прегрешения — в основном они касались чрезмерного употребления бодрящих напитков. Созданная в 1920 году комиссия по разработке стратегической связи в России приняла доклад «О необходимости разработки стратегического плана военной связи республики», в котором уделили внимание и голубятникам. В частности, в докладе был раздел, предписывающий «уточнять места станций голубиной связи».

В 1925 году начали издавать журнал «Голубеводство». Тогда же при Осоавиахиме даже открыли подсекцию почтового голубеводства — настолько популярным было это увлечение. Работа этой секции сыграла огромную роль в Великую Отечественную войну — всего через фронт было передано более 15 тысяч так называемых голубеграмм.

Тогда же голубятников подвергли некому давлению, но это как раз было абсолютно оправданно. В декабре 1941 года военный комендант Москвы издал приказ: «В целях недопущения использования враждебными эле-

ментами голубей, находящихся у частных лиц, приказываю в трехдневный срок сдать голубей в Управление милиции (ул. Петровка, 38). Лица, не сдавшие голубей, будут привлечены к ответственности по закону военного времени».

Враг подходил к Москве, и ситуация была нешуточная. На Петровке выстроилась очередь из голубятников.

А в Ростове-на-Дону, в самом конце главной улицы, находится и парк имени пионера Вити Черевичкина (бывший Александровский городской сад Нахичевани). Подвиг этого героя заключался в том, что он, будучи заядлым голубятником, срисовывал во время оккупации фашистов расположения их войск и с голубями их переправлял брату в Батайск, за что и был расстрелян.

О подвиге этого школьника после войны была сложена песня:

Жил в Ростове Витя Черевичкин,  
В школе он отлично успевал  
И в свободный час всегда обычно  
Голубей любимых выпускал.

Песня пользовалась популярностью.

А на тех, кто гуляет по парку, смотрит бюст пионера-героя со взрослым и строгим лицом. И, разумеется, голубь.

В следующий раз о голубятниках вспомнили лишь в 1957 году, перед открытием VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В Москву прибыло 34 тысячи делегатов из 131 государства.

Советскую столицу наводнили иностранцы с самым разным цветом кожи и разным разрезом глаз. Такого древний город на реке Москве не видел никогда. Интернациональные дружбы и романы заводились в эти дни с необычайной легкостью. Железный занавес, уже с десяток лет как отделяющий СССР от Западной Европы, на две недели вдруг поднялся, а потом вновь опустился. Но именно в те две недели были заложены основы для его окончательного обрушения. Фраза «глоток свободы» надолго закрепилась за этим событием.

Открытие фестиваля проходило на новом стадионе «Лужники». Он был построен специально к этому событию, и на его сооружение ушло ровно 450 дней.

Главными символами фестиваля были разноцветная пятилепестковая ромашка и «Голубь мира», специально придуманный и нарисованный к этому мероприятию художником Пабло Пикассо. Организаторы решили обыграть работу знаменитого живописца, и на церемонии открытия в небо было выпущено более 35 тысяч голубей. Для этого их активно выращивали по всему городу, ради чего московские голубятники получили от властей всевозможные преференции. В частности, их на несколько месяцев освободили от работы — фестиваль важнее.

Журнал «Огонек» публиковал снимки и голубей, и голубятен, снабжая их духоподъемными подписями: «На нашей фотографии голубей немного. Но ведь это лишь репетиция. Вы видите голубей с завода “Каучук”, под самым небом, на высоте десятиэтажного дома, комсомольцы и молодежь завода оборудовали для птиц отличное помещение с центральным отоплением и горячей водой».

А в местах скопления голубей установили оригинальные дорожные знаки «Осторожно, голуби!». История у этих знаков была трогательная. Журнал «Смена» сообщал:

«Совсем недавно в Москве, на Петровских линиях, где по мостовой разгуливают большие стаи голубей, вывешен никогда и нигде до сих пор не виданный дорожный знак: в желтом круге с черным треугольником изображены два белых голубя. Он предупреждает водителей автомашин: “Осторожно! Голуби!” Езда на этом участке разрешена со скоростью не более пяти километров в час.

История нового знака такова. Однажды ученик 170-й школы Свердловского района Москвы Юра Вайнштейн увидел, как быстро промчавшаяся по Петровским линиям легковая автомашина помяла голубя. Юра подобрал птицу и выходил ее. После этого мальчик написал письмо в “Пионерскую правду”.

“Я очень люблю голубей, — говорилось в письме. — Это не просто красивые птицы, а символ мира. Но некоторые шоферы ездят невнимательно и давят их. Заставьте, пожалуйста, водителей машин соблюдать осторожность в тех местах, где много голубей. Мы, пионеры, будем вам за это очень благодарны”.

Редакция переслала письмо пионера в Отдел регулирования уличного движения. Прошло некоторое время, и на улицах столицы появился новый дорожный знак. Таких знаков нет ни в одной стране мира».

Увлеченнейшими голубятниками были футболист и тренер «Динамо» Константин Бесков и московский режиссер, создатель легендарного театра кукол Сергей Образцов. При этом советское голубеводство пользовалось пикантной славой чего-то не совсем законного. Оно как бы было из того же мира, что и фиксатые парни с нехорошими ухмылками и заточенными финками в голенищах сапог. Видимо, их объединяла в один мир пресловутая дворовая романтика, воспетая уже не столько Булатом Окуджавой, сколько Владимиром Высоцким.

Вообще же дворовое голубеводство при всей своей видимой простоте и даже примитивности было делом нелегким и, в общем, затратным. Следовало как минимум разбираться в породах — у человека неподготовленного при одном только перечислении всех этих тиграшей, монахов, николаевских и кувыркунистых уже пойдет кругом голова. И, разумеется, голубеводам следовало быть и птичьим психологом, и ветеринаром, и много кем еще. Так что принадлежность дворовой шпаны и дворовых же голубеводов к одному миру — скорее все-таки миф, чем реальность. А вот связь, безусловно, присутствовала — как и многое другое, их связывал, по крайней мере, собственно двор.

При этом двор мог быть не обязательно московским. Вот воспоминания старожилы Нижнего Тагила И. Орлова:

«В Тагиле любили держать голубей. Много было любителей-голубятников. Разводили голубей не только для забавы, это был своего рода спорт. Некоторые голубятники держали большие стаи, для голубей делали специальные голубятни, обычно в торцевой части сарая, на залобке, с решетчатым “загоном” и “захлопкой”, закрывающей этот загон. К загону со двора и по крыше делали лестницу. Тут же у них на крыше лежало “махало” — шест с тряпкой в конце для отпугивания, по мнению хозяина, рано опускающейся стаи.

Гоняли голубей обычно рано утром одновременно все голубятники. Стая поднималась очень высоко, что и

ценилось. Иногда казалось, что это не голуби, а порхающие бабочки, освещенные ярким утренним солнцем...

Голубей... называли по их оперению, окраске, или по другим каким голубиным свойствам: Рябок, Сорока, Кисастый (с отросшими твердыми перьями на лапах), Турман, особенно ценившийся. Турман с большой высоты из стаи падал, кувыркаясь какое-то время, и снова догонял свою стаю.

Бывали случаи нападения на голубей ястребов. Спасаясь от него, голубь на большой скорости разбивался насмерть о крышу, не сумев вовремя сдержать скорость. Чтобы отпугнуть ястреба, голубятник пронзительно свистел. Это они умели в совершенстве».

Во всех коммунальных дворах — одна и та же история.

\* \* \*

Своего рода паллиативом голубям были воздушные змеи. Алексей Козлов писал: «Одним из летних развлечений было запускание “воздушного змея”. Я некоторое время занимался этим, хотя в пределах двора развернуться особенно не удавалось — не хватало места для разбега. Это занятие лучше подходило для открытого пространства, где-нибудь в деревне, но мы занимались этим и во дворах, между домами. Быстро запустить змея можно было только при хорошем постоянном ветре. Тогда можно было никуда не бежать и контролировать положение змея в вышине, изредка подтравливая его за веревку. Змея делали дома, каждый для себя. Где-то доставали тонкую, плотную провощенную бумагу типа кальки. Наклеивали на нее тонкие деревянные рейки, по периметру и крест-накрест. Верхнюю часть получившегося прямоугольника немного изгибали и закрепляли в таком положении шпагатом. К нижней части приделывался хвост из длинных кусков мочала, а к верхней — конец длиннющей тонкой веревки, намотанной на палку. Когда змей взлетал под напором ветра, веревка быстро разматывалась, давая ему простор. Змея обычно запускали вдвоем. Один держал его на вытянутых вверх руках, а другой, отойдя подальше, начинал разбег. Так они оба бежали некоторое время вместе, пока змей не набирал воздух и не взмывал вверх, вырвавшись из рук. Дальше все

зависело от техники того, кто держал моток с веревкой. Чтобы змей не потерял высоты, надо было все время следить за натяжением веревки, в то же время постепенно разматывая ее. Только так змей уходил далеко ввысь. Но если веревка разматывалась слишком быстро, то змей заваливался набок и начинал падать зигзагами. Увлечение это требовало от детей не только ловкости и сноровки, а также умения делать вещи своими руками, причем пользуясь неписаными правилами, передававшимися от поколения к поколению».

О возрасте этой забавы вообще говорить не приходится — в Китае змея запускали еще во втором столетии до нашей эры. А возможно и раньше.

\* \* \*

В войну же приоткрылась еще одна часть коммунального пространства, вынесенная за пределы квартиры. Речь о бомбоубежищах, оборудованных большей частью в подвалах все тех же коммунальных домов. Вход в них мог быть и в подъезде, и отдельным бункером. Второе было технологичнее — в случае обрушения здания доступ к убежищу не перекрывался.

Разумеется, бомбоубежища существовали и раньше. Более того, жильцы были с ними довольно неплохо знакомы — в стране то и дело проводились так называемые учебные воздушные тревоги и прочие обязательные для всех без исключения граждан игры в войну. Подобное мероприятие прекрасным образом описано у Ильфа и Петрова в «Золотом тельняшке»:

«Над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам становится как-то не по себе, хочется почему-то просить прибавки к жалованью по причине опасной службы. Сирена продолжала надрываться. К ней присоединились сухопутные гудки и другие сирены, более далекие и еще более грустные. Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнало ливень. При этом все ухмылялись и поглядывали на небо. Торговки семечками, жирные старухи, бежали, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара подскакивали стеклянные стаканчики... Прогалопировал на разноцветных лошадаках взвод конного

резерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась...

Но Корейко не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очами и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул.

— Что это за шутки? — грозно сказал он, протягивая руку к противогазу...

Но в эту минуту набежала группа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко. Остапа взяли под руки, и молодецкий голос сказал:

— Товарищ! Вы отравлены!»

И вот, собственно, убежище. Правда, в романе Ильфа и Петрова оно было газовым:

«Газоубежище расположилось в домовом клубе. Это был длинный и светлый полуподвал с ребристым потолком, к которому на проволоках были подвешены модели военных и почтовых самолетов. В глубине клуба помещалась маленькая сцена, на заднике которой были нарисованы два синих окна с луной и звездами и коричневая дверь. Под стеной с надписью: “Войны не хотим, но к отпору готовы” — мыкались пикейные жилеты, захваченные всем табунчиком. По сцене расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, с шумом пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил:

— По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на удушающие, слезоточивые, общетоксические, нарывные, раздражающие и так далее. В числе слезоточивых отравляющих веществ можем отметить хлор-пикрин, бромистый бензол, бром-ацетон, хлор-ацетофенон...»

И так далее.

Но с наступлением войны игра стала опасной, а подчас и трагичной действительностью. Завывала уже настоящая сирена, и, не дожидаясь, пока к ней присоединится гул вражеских бомбардировщиков, жители московских коммуналок спешили в убежище — пересидеть очередной налет.

В убежище обычно проводили по несколько часов. Комфортными эти условия никак нельзя было назвать.

«Удобства» — из расчета один унитаз на 80 человек. В отсутствие канализации устанавливали так называемые «пудр-клозеты», по сути, несколько усовершенствованные параша. Жесткие деревянные скамейки, ночью на них пытались спать, но безуспешно — места для сидения еще хватало, а для лежания с большим-большим трудом. Спертый до невозможности воздух. Стенды с неизбежной в СССР наглядной агитацией. Письменный стол для очередного ответственного работника. Пользуясь случаем, он проводил очередную лекцию — совсем как его коллега в «Золотом теленке». Только теперь все было уже всерьез.

Психиатр Евгений Краснушкин писал: «Первые воздушные тревоги, первые налеты немцев на Москву загоняли москвичей в бомбоубежища, именно первые налеты давали и наибольшее количество психогенных реакций и провоцировали и иные психозы. Очень скоро у москвичей образовался “иммунитет” в отношении воздушных налетов и бомбардировок, и в самое горячее время их, в октябре и ноябре 1941 или 1942 года, все меньше и меньше людей пользовались бомбоубежищами, а психогенные реакции и психогенно-спровоцированные психозы в психоприемнике почти исчезли».

Тем более бывало так, что это самое убежище давало не спасение, а гибель. Так случалось, если в дом попадала особенно мощная бомба и полностью разрушала его. Тогда сидящие в убежище оказывались в буквальном смысле слова погребенными под руинами здания. И даже если они не погибали в момент разрушения, то умирали от ран, нехватки воздуха, жажды — у городских властей в то время не было физической возможности оперативно разгрести подобные завалы.

Один мемуарист, переживший войну в Сталинграде, писал: «Помню бомбежку: хотел посмотреть битву самолетов в воздухе, они летят, гудят, а бабка меня тащит за руку: “Скорей, скорей”, а я упираюсь, очень не хотел идти с ней... Мы собирались в стаи и бегали к Волге, к заводу, бегали смотреть зенитки, потом бегали к госпиталю... Интересно было смотреть на бои наших самолетов с немецкими, хотелось болеть за наших... Как спасались от самих бомбежек, не помню, бежали в дом, старались нас не выпускать, но мы бегали к Волге, к заводу. Потом с мальчишками смотрели на самолеты через черные стекла, летом старшие мальчишки коптили стекла, и че-



рез них мы все глядели на небо, на самолеты. Самолеты были большие четырехмоторные с резким гулом».

А вот еще одно воспоминание:

«Во время бомбежек сидели в “щелях”. Научились по звуку различать наши самолеты и немецкие. А еще придумали такую затею-игру. Когда начинался налет и слышался гул тяжело груженных бомбами немецких самолетов, мы кричали протяжно:

— Везе-ем, везе-е-ем.

Дальше коротко:

— Подарки!

На отрывистых звуках наших зениток часто:

— Кому-кому-кому?

При вое падающих на нас бомб опять с протягом:

— Ва-а-ам! Ва-а-а-м!

Это помогало переживать налеты».

Невообразимо страшным было это время.

\* \* \*

А после войны заурядным явлением коммунальных дворов стали пленные немцы. Они выполняли всякую тяжелую, неквалифицированную работу и, вопреки строгим запретам, иной раз вступали в контакт с окружающим миром в лице обитателей коммунальных квартир. В первую очередь, естественно, детей.

Алексей Козлов писал: «Пленные стали появляться уже во дворах в качестве рабочей силы на различных строительных и ремонтных работах. Когда в нашем дворе проводили какие-то подземные трубы, то траншеи для них копали немцы. Это была команда из двух-трех пленных под охраной одного автоматчика. Мы подходили к краю глубокой ямы и смотрели, как в зоопарке, на тех, кого раньше показывали только в кино, в исполнении наших актеров. И вот однажды, когда я разглядывал раздетого по пояс немца, орудовавшего лопатой в траншее, он вдруг обратился ко мне и жестами показал, что хочет есть и предлагает обменять на еду колечко, которое он вынул из кармана и показал мне. Мне было тогда лет десять, но романтические замашки уже проявлялись вовсю, и перспектива хвостануть перед ребятами двора кольцом на руке представлялась заманчивой. Кольцо, явно сделанное из медной трубы и отполиро-

ванное до золотого блеска, имело еще и красный камешек, он же обработанный кусочек пластмассы. Мне страшно захотелось ходить с таким кольцом на пальце, вызывая восторг и зависть как девочек, так и мальчишек. Я срочно побежал домой. Родители были на работе, дома была только бабушка, которая мне ни в чем не отказывала. Но тут и отказывать было не в чем, потому что я ни слова ей не сказал про немца и кольцо, а просто заявил, что хочу есть, и попросил какой-нибудь бутерброд. Получив его, я спустился во двор и выменял на кольцо. В глубине души я сознавал, что ношение кольца в моем возрасте вещь преждевременная, а уж с точки зрения моих родителей — и подавно. Поэтому я решил кольцо им не показывать, а носить его только во дворе. Но произошло неожиданное. После того как я примерил кольцо на один из пальцев, выяснилось, что оно не снимается. Палец моментально отекает, стал толстым и начал как-то подозрительно пульсировать. К горлу подкатил комок ужаса, я понял, что палец, очевидно, придется отрезать. Дождавшись прихода отца с работы и подавив уже ненужное чувство стыда, я в ужасе показал ему свою руку с распухшим пальцем. Он, даже не ругая меня, быстро достал из инструментального баула большие кусачки, перекусил кольцо, разогнул его и выбросил в полойное ведро. Все оказалось так просто, но после этого мое доверие к взрослым значительно укрепилося».

\* \* \*

Впрочем, не будем о грустном.

Самым счастливым жителям советских коммуналок — в первую очередь, конечно, детям — доставался личный пруд. Это, пожалуй, единственное, перед чем голубятня могла спастись.

При этом размеры его не имели значения. Даже чем меньше — тем лучше, тем острее ощущение того, что он и вправду свой.

В частности, Алексей Дидуров вспоминал про микроскопический Антропов пруд:

«Раньше его обступали одноэтажные хибары с палисадниками и хрущевские пятиэтажки, в густой сирени палисадов ночные птахи энергично дискутировали с братьями, откликавшимся в листве тополей вокруг пруда...

Антропов пруд — маленькая страна моих страстей шекспировского накала и такого же жанрового разнообразия. Начать с того, что лет до тридцати я приходил на рассвете в теплое время на пруд писать стихи и для этого садился на те скамьи, на которых в разное время сживал с разными своими дамами сердца... А сам пруд — его история не для “Мурзилки”: до революции купец Антропов, как рассказывали мне старухи, вырыл его под плавучий ресторан и отправил-таки ресторацию по зеркалу вод, но посетители взялись, упившись, тонуть, и градоначальник приказал заведение закрыть — и закрыли. Купец Антропов, вгрохав в плавучий кабак все состояние и не окупив затрат, последним, как капитан с судна, идущего на дно, гордо шагнул в воду в запредельном подпитии и утопился на глазах пристава и рассчитанной по совести obsługi ресторана. С тех пор пруд получил у окрестного люда прозвание “Антропова яма”.

В тот же год, как мы с матерью въехали в “хрущевку”, городские власти учинили Антроповой яме чистку и обустройство. Воду спустили. Вся ребятня округи сбежалась глазеть на это невиданное зрелище; по дну в резиновых сапогах... ходили менты с баграми, лопатами, граблями и носилками (пруд к тому же был оцеплен) и собирали несметные сокровища — черепа и человеческие кости, револьвер, стеклотару всех времен и народов, обувь, какие-то части каких-то механизмов. Трудились с утра до вечера. На следующий день берега, такие удобные для нашего вождения самодельных лодок и кораблей, ловли пиявок и купания, стали цементировать. Через неделю к пруду, окантованному по кругу уложенными брусками бетона, подъехала цистерна и два мужика по шлангу спустили в пруд мальков. Спустя два месяца на берегах плечом к плечу встали рыболовы. Их разгоняла милиция, штрафовала (почему-то) — без мазы».

Истории же в тех дворах случались самые разнообразные и неожиданные. Тот же Алексей Дидуров вспоминал поразительный случай, случившийся с жителем коммуналки по кличке «За фук»:

«В другой раз он упал головой с турника. Он сказал, что провисит вниз головой десять минут. Он провисел не знаю сколько, но голова его раздулась, глаза закатились и, кажется, потеряли цвет, губы стали синими, а ли-

цо красным с бордовыми пятнами. Мы стали его стаскивать, но он расщепил стиснутые зубы и прохрипел: “Не трожь!” Слишком ужасен был его вид, мы отпрянули, как обожглись. Он опять раскрыл рот, и из него полилась по лицу слюна, а из глаз закапали слезы. Мы опять кинулись к нему, но за мгновение до нас он вдруг соскользнул мягко с перекладины, как соскальзывает, наверное, резиновый половик. “За фук” падал перпендикулярно. Он упал на голову. Упал и застыл. Теперь уже заорали мы...

Выскочила мать:

— Голубчик мой, кормилец!! Куда же ты бросил свою мамочку, а?! А?! А?! Умер!!

“За фук” пошевелился. Повращал глазами. Потом, как бы что-то вспомнив из своего обморока, заплакал тихо, печально, красиво... Встал, пошел к воротам, вышел на улицу, сел на тротуар и зарыдал. Он рыдал так, как может рыдать человек умерший, похороненный и очнувшийся в гробу...

Вокруг него встали люди, женщины плакали. Толпа росла. Стали останавливаться машины. Кто-то, видно, позвонил в милицию, что человек сошел с ума или у него кого-нибудь убили. Приехала милиция. “За фук” был оштрафован».

\* \* \*

Но не только игре и забавам была посвящена жизнь двора. Теснота коммунальных квартир будто физически выпихивала из четырех стен на открытое пространство все, что только поддавалось этому самому выпихиванию. Двор был продолжением хозяйственной жизни. Здесь на веревках сушилось белье. В многочисленных сараях, снова обращенных в нежилые помещения, столярничали и слесарничали, притом не всегда эффективно. Классический пример — слесарь Полесов из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроторным и чаще других попадавшим впросак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать

его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы “Треугольник”, ржавые замки — такие огромные, что ими можно было запирать города, — мягкие баки для горючего с надписями “Indian” и “Wanderer”, детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сырмятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнущей и давленной дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика».

Подобные энтузиасты находились практически в любом коммунальном дворе. Это были люди артистичные, нуждающиеся в зрительских симпатиях. И эти симпатии они чаще всего обнаруживали в горящих глазах собственных соседей по двору, преимущественно из числа вдовушек в возрасте.

Здесь и пилили, и кололи дрова, чинили автомобили — когда последние начали входить в обиход, а в южных широтах грудастые, шумные женщины даже стирали в корытах белье. Сушили же его во всех широтах, от Мурманска до азиатских песков. И, разумеется, выбивали ковры — летом просто так, а зимой со снегом.

\* \* \*

Были, впрочем, и сараи дровяные. Неудивительно — дровами отапливалось пол-Москвы и прочих крупных городов тоже по половине. Мелкие города отапливались таким образом полностью. Уютный запах поезда дальнего следования накрывал на зиму Советскую страну. Теоретически эти сараи были общественной собственностью, как, впрочем, и вообще вся собственность в те времена. Практически они, естественно, были поделены между квартирами и комнатами. Недовольные, ясное дело, находились. Способ выразить свое недовольство напрашивался вполне логичный — подпустить соседу «петуха».

И подпускали. Именно дровяные сараи лидирова-

ли в отношении поджогов. Часто поджоги совпадали по времени с другим, более романтичным использованием тех же сараев. Что, в общем, неудивительно — и поджигали сараи, и предавались телесной любви, как правило, в темное время.

Человеческие жертвы были крайне редки — сараи изнутри, как правило, никто не запирали. А вот позором якобы добропорядочные семьянины покрывали себя в несколько слоев, когда скакали без штанов при свете пламени по коммунальному советскому двору.

Именно из подобных дровяных сараев топливо попадало на кухню и в комнаты — топить дровяную плиту (у кого она действовала) или печку-буржуйку (последних, естественно, было значительно больше).

Дрова прямым образом ассоциировались с абсолютным счастьем. Будет топливо — значит, удастся перезимовать, сохранить жизнь еще на несколько месяцев. А именно выжить в то время считалось за счастье.

Осип Манделъштам писал:

Принесли дрова на кухню,  
Как вязанка на пол бухнет,  
Как рассыплется она —  
И береза и сосна, —  
Чтобы жарко было в кухне,  
Чтоб плита была красна.

А москвичка Н. Злобина писала в своих мемуарах: «В районе Тихвинской до очень позднего времени сохранялась еще одна характерная московская особенность — дворы, сплошь застроенные дровяными сараями, в которых обязательно присутствовали особые “норы” — замаскированные комнатки, где в непогоду отсиживались дворовые компании и о которых не знали взрослые. Туда с помоек стаскивались обломки всякой мебели, обрывки ковров — в общем, устраивался уют. Подозреваю, что этими “норами” пользовалась не только и не столько детвора, но и марьиноорошинские воры. А мы, дети, об этих “норах” знали — потому как все свободное время проводили на улице, детей лет с трех выпускали гулять одних — сначала в песочницу, а потом уже и не особо контролировали наше перемещение».

\* \* \*

А дети, разумеется, использовали все эти дворовые постройки в своих целях. Алексей Козлов писал: «Сарай всегда был поводом, чтобы туда залезть, а потом спрыгнуть. Иногда сарай использовался как способ оторваться от преследования, когда тот, за кем гнались, умудрялся быстро залезть на него и тут же спрыгнуть в другой двор. Преследование на этом чаще всего прекращалось. Но были и просто развлечения в виде прыганья с сараев различной высоты, на землю, в кучу песка, или зимой — в сугроб. Эти прыганья были в какой-то степени видом спортивных соревнований, где выяснялись наиболее храбрые ребята. У нас во дворе было несколько таких сараев, но один, с крышей на уровне второго этажа, был особенно заманчивым. Прыгать с него могли не все. Как выяснилось, дело было в особом страхе высоты, который некоторые, вполне отважные в других ситуациях ребята преодолеть не могли. Зато были такие, для кого прыгнуть с высокого сарая не составляло труда, и дело здесь было не в возрасте, даже пол не играл роли. Я помню, как безо всякого страха, а главное сразу, не стоя долго на краю крыши, прыгала одна девочка, в то время как более взрослые ребята подолгу не решались на это. Здесь был двойной страх, во-первых, подвернуть или сломать ногу при приземлении, а во-вторых — острое ощущение захватывания духа в процессе самого полета. С гордостью могу сказать, что я преодолевал эти страхи и прыгал со всех сараев. Сильных травм не было, может быть, пару раз подворачивал ногу».

\* \* \*

Главным же человеком во дворе был, как нетрудно догадаться, дворник. Он жил в своей полуподвальной дворницкой, национальность имел — преимущественно татарскую, самоотверженно следил за порядком, а когда считал нужным — доносил в КГБ. Стукач он также был ответственный, идейный.

Дворник знал всех жильцов своего двора и большинство жильцов дворов соседних. Знал не только по фамилии и имени — был полностью в теме. Подчас знал даже больше, чем сам человек знает про себя. Неудивительно — работа такая.

Когда во дворах были ворота — закрывал и открывал эти ворота. За операцию с воротами в неурочный час (чаще всего это было позднее возвращение после приятельской пирушки) дворнику полагался небольшой гонорар. В принципе есть что-то порочное в том, чтобы платить гонорар человеку, про которого ты точно знаешь — вообще без вариантов, — что он стучит на тебя в КГБ. Но почему-то это обстоятельство не смущало ровным счетом никого. Да и понятно почему — эта традиция совать дворнику-осведомителю в карман свой влажный гривенник существует еще со времен глубоко дореволюционных. Генная память.

И, конечно же, благодаря тем дворникам каждый обитатель коммунального двора следил за чистотой. Дворник был аккуратно и чисто одет, но при этом до одурения грозен. Особый страх этот ответственный работник наводил, ясное дело, на детей. Во дворах, за редким исключением, поддерживался образцовый порядок.

Даниил Гранин писал:

«У ворот дежурили дворники в белых фартуках, с железной бляхой на груди. Летом дворники поливали улицу из кишки, зимой убирали снег и топили его на жаровнях. На ночь дворники закрывали подъезды на ключ, запоздалые жильцы звонили дежурному дворнику в дворницкую. У всех ворот были звонки. В подворотне висели списки жильцов всего дома, кто в какой квартире живет.

Дворники были для нас высшей властью. Они указывали, где можно играть, где нельзя, разнимали драчунов. Они знали нас по именам, наставляли, им были известны наши убежища, и они помогали матерям нас разыскивать».

\* \* \*

В любом случае, двор — это та часть коммунальной жизни, о которой было принято испытывать — ее утратив — только светлую тоску. Еще бы — во дворе практически не ощущалось коммунальной тесноты, не пахло уборной и щами, не стояла очередь к телефонному аппарату. Он, освобожденный от недостатков коммуналь-



ного быта и обладавший исключительно его достоинствами, был воспет и обласкан в мечтах. Вот, например, стихотворение Вадима Шефнера «Стены дворов», написанное в 1963 году:

Загляну в знакомый двор,  
Как в забытый сон.  
Я здесь не был с давних пор,  
С молодых времен.

Над поленницами дров  
Вдоль сырой стены  
Карты сказочных миров  
Запечатлены.

Эти стены много лет  
На себе хранят  
То, о чем забыл проспект  
И забыл фасад.

Знаки счастья и беды,  
Память давних лет —  
Детских мячиков следы  
И бомбежки след.

У Вадима Сергеевича есть целый цикл стихотворений, посвященных дворам, преимущественно ленинградским.

Юрий Визбор пел:

Я гитарой не сильно владею  
И с ладами порой не в ладах:  
Обучался у местных злодеев  
В тополиных московских дворах.

Это уже московский двор.

Тополь, кстати, тоже был одним из символов советского двора. Избранный и обласканный властями за способность в считанные годы становиться полноценным, взрослым деревом, он пользовался невиданными привилегиями. Тополью прощалось все. В том числе дикое количество пуха, которое ветер гонял не только в подворотнях и дворах, но и в обычных московских квартирах. Дети страдали аллергией, взрослые чертыхались, кошки сходили с ума. И тем не менее дворы

и улицы советских городов из года в год засаживали именно этими злокозненными тополями.

А вот еще воспоминание, на сей раз прозаическое: «Ах, что за чудное воспоминание — мой старый двор... Как любили мы, послевоенные дети, здесь гулять. На лавочках сидели старушки, судача о чем-то своем. Расхаживали по двору ленивые кошки, никто их, кажется, тогда не трогал. А по весне во двор выходили все жильцы нашего дома, высаживали под своими окнами зеленую рассаду. И с приходом лета расстилались по двору ковровой дорожкой цветы. Что это была за красота! Это, увы, всего лишь сон. А наяву увидела свой старый двор совсем другим... Зброшенный двор имел такой унылый вид, что сжалось сердце, — не встретила здесь ни детворы, ни стариков. А перед глазами вставали и вставали картины радостного детства, наш двор, в котором проходила вся ребячья жизнь. И было самым страшным наказанием, если кого-то не выпускали во двор».

Действительно, у всякого мемуариста, вспоминающего дворы середины XX века, что называется, в подкорке прописано это противопоставление — было хорошо, а стало плохо. Характерно, что на коммуналки в целом это правило не распространяется.

---

## *Кто куда?* *Расселение коммуналок*

Освобождение страны — в первую очередь Москвы — от коммуналок началось, как ни странно, достаточно рано. Новые коммуналки еще продолжали создавать, а со старыми уже что-то предпринимали.

Далеко не всегда это было именно расселение. Булат Окуджава, например, вспоминал о своем легендарном доме 43 по улице Арбат: «Году в тридцать шестом над нашим домом надстроили еще два этажа, и в них с шумом и весельем поселились работники Наркомата мясной и молочной промышленности. Они получили отдельные квартиры, а все, буквально все, жили в коммуналках; у нас, к примеру, в бывшей квартире фабриканта Каминского — четыре семьи, и это было роскошью».

Совершенно фантастическую — и притом вполне реальную — ситуацию описывал Михаил Зощенко в рассказе «Пушкин»:

«На восемьдесят девятой годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать. Писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жилплощадь своим нестерпимым гением. Не худо бы в силу этого какую ни на есть досточку приклепать с полным обозначением события — в назидание потомству.

Иван Федорович Головкин тоже сдуру участие принял в этой дощечке, на свою голову.

Только вдруг в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают.

Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.

Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.

— Тут, — говорит, — когда-то Александр Сергеевич Пушкин две недели гостил у своего приятеля. И что же мы здесь видим спустя столетие? Мы видим, что в данной квартире форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стенам развеваются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения! Нет, вряд ли поэт посетил бы своего приятеля, если б знал, чем все это кончится.

Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения».

Формально вроде бы все хорошо — была коммуналка, и нет коммуналки. Но ведь жильцы остались вообще без площади. В том числе главный герой рассказа, тот самый Иван Федорович Головкин, который до заселения в пушкинский дом не имел собственного угла — «Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На какой-то подстилке. В передней комнате».

И теперь вынужден возвращаться все к той же подстилке, в «переднюю комнату».

«Хотел Головкин в Пушкинский заповедник поехать — ругаться, но после занялся подыскиванием помещения».

Он и сейчас еще ищет. Осунулся, поседел. Требовательный такой стал. Все расспрашивает, кто да кто раньше жил в этом помещении. И не жил ли здесь, оборони Создатель, Демьян Бедный или Качалов? А если жил, то он, Головкин, и даром не возьмет такого помещения».

А вот какая милая история случилась с Салтыковым-Щедриным. Правда, не самим писателем, а с его сыном. Но зато настоящим, живым. Ее описывал актер Алексей Владимирович Баталов:

«В начале тридцатых годов в Ленинграде жил в жуткой коммунальной квартире, буквально погибая от унижений и нищеты, глубокий старик — родной сын М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как известно писатель этот ценился и цитировался самим Сталиным, и вот несчаст-

ный старик решил написать вождю письмо с просьбой о помощи. Каким-то непостижимым образом это письмо дошло до адресата, и всемогущий тиран собственноручно начертил на нем резолюцию: “т. Медведю. Прошу помочь”.

Затем письмо было доставлено в печально известный серый дом на Литейном, а Медведь, как известно, возглавлял ленинградский НКВД вплоть до убийства Кирова. Получив бумагу с собственноручной резолюцией Сталина, Медведь разом нажал на все кнопки стоящего перед ним аппарата — вызвал к себе начальников всех отделов. Через минуту из коридора послышался топот сапог, а через две кабинет Медведя наполнился сотрудниками. Дальше хозяин кабинета произнес матерный монолог, смысл которого можно передать примерно так

— За что я вас, дармоедов, кормлю?.. Куда вы, сукины дети, смотрите?.. Мимо вашего носа письмо попадает самому хозяину, и я об этом ничего не знаю! Сию минуту найти этого, как его, Щедрина!.. И чтоб я завтра же мог рапортовать в Москву!..

А сын знаменитого сатирика сидел в своей жалкой комнатенке со своей старенькой женой и вовсе не подозревал, что вот-вот начнутся события, напоминающие сказку из “Тысячи и одной ночи”. А тем временем к его дому подъехали грузовые машины, и доблестные чекисты вошли в квартиру. Для начала они в принудительном порядке выселили всех прочих жильцов этой коммуналки, погрузили их скарб на грузовики и увезли на новые места жительства. И тут же несколько бригад маляров приступили к ремонту всей квартиры — красили, клеили обои... Еще два грузовика доставили со склада мебель, которую тут же расставили по всем комнатам. Привезли массу одежды и обуви для обоих — старика и старухи. Доставленный к ним работник отдела социального обеспечения тут же, на дому выписал им новые пенсионные книжки, где сумма пособия была доведена до максимальной. Привезли новую посуду — кухонную и столовую. И наконец, стали прибывать из елисеевского магазина корзины со всякой роскошной снедью... И все это в течение считанных часов. Затем чекисты стали прощаться с хозяевами обновленного роскошного жилища, и

старший, распорядившись всей грандиозной операцией, осведомился у оторопевшего старика:

— Нет ли у вас еще каких-нибудь просьб или пожеланий?

Тот немного подумал и, указав на свою жену, произнес:

— Вот она хотела в кино сниматься...»

\* \* \*

Коммуналками, впрочем, проблема не ограничивалась. Существовал еще один (а может быть, и не один) тип квартир, которые не были коммуналками, но и не являлись предметом мечтаний даже для коммунальных жителей:

«В... школе учились ребята с Ведерникова и Колбасного (в три дома) переулков, Сибирского проезда, улиц Угрешской, Малой и Большой Калитниковской, застроенных деревянными двух-трехэтажными домами. “Удобства” — чаще всего во дворе, а вода — в колонке на улице. Зимой колонки замерзали, и тогда приходилось идти с ведрами все дальше и дальше от своего дома, пока не находилась действующая колонка, к которой выстраивалась очередь... Но зато эти дома, как правило, не были коммунальными. Каждая семья имела пусть небольшую, но свою “квартиру” — с низким потолком и скрипущими половицами...

У каждого дома был свой двор, где собирались шумные детские ватаги. В 30-х годах многие бывшие частные дома и дворы сохранили имена своих прежних владельцев. Дворы моего детства — Чушкин и Колесников по улице Малой Калитниковской.

Сколь упоительны были часы, проведенные здесь! Мы играли в “лапту-салу”, “охотники и утки”, пряталки (многочисленные сараи и помойка очень помогали прятаться), “собирали мнения”, а когда немного подросли, простодушно признавались друг другу в любви с помощью “садовника”.

Первой приметой весны были прыгалки — двое ребят “крутили веревку”, остальные, по очереди, прыгали».

Конечно же, и с этим, с позволения сказать, жилым фондом, невзирая на весь подростковый романтический флер, следовало что-то решать.

На что только не шли жители коммуналок, чтобы въехать, наконец, в нормальные условия. Ильф и Петров писали в фельетоне «Журналист Ошейников»:

«Поздно ночью журналист Ошейников сидел за столом и сочинял художественный очерк...

Тема попалась Ошейникову суховатая — надо было написать о каком-то юбилейном заседании. Развернуться на таком материале было трудно. Но Ошейников не пал духом, не растерялся.

“Ничего,— думал он, — возьму голой техникой. Я, слава богу, набил руку на очерках”.

Первые строчки Ошейников написал не думая. Помогали голая техника и знание вкусов редактора.

“Необъятный зал городского драматического театра, вместимостью в двести пятьдесят человек, кипел морем голов. Представители общественности выплескивались из амфитеатра в партер, наполняя волнами радостного гула наше гигантское театральное вместилище”...

“Вот море голов утихает. На эстраде появляется знакомая всем собравшимся могучая, как бы изваянная из чего-то фигура Антона Николаевича Гусилина. Зал разражается океаном бесчисленных аплодисментов”...

“За столом президиума юбилейного собрания энергичной походкой появляется лицо тов. Чихаева. Зал взрывается рокочущим прибоем несмолкаемых рукоплесканий”...

“Так, так, — думал он,— этого Чихаева я описал неплохо. И фигура Гусилина тоже получилась у меня довольно яркая. Но вот чувствуется нехватка чисто художественных подробностей”.

Мысли Ошейникова разбредались.

“Черт знает что, — размышлял он,— второй год обещают квартиру в новом доме и все не дают. Илюшке Качурину дали, этому бандиту Фиалкину дали, а мне...”

Вдруг лицо Ошейникова озарилось нежной детской улыбкой. Он подошел к столу и быстро написал:

“По правую руку от председателя собрания появилась уверенная, плотная, крепкая бритая фигура нашего заботливого заведующего жилищным отделом Ф. З. Грудастого. Снова вскипает шум аплодисментов”.

— Ах, если бы две комнаты дал! — страстно зашептал автор художественного очерка. — Вдруг не даст? Нет, даст. Теперь должен дать.

Для полного душевного спокойствия он все-таки вместо слов “шум аплодисментов” записал “грохот оваций” и щедро добавил:

“Тов. Грудастый спокойным взглядом выдающегося хозяйственника обводит настороженно притихшие лица первых рядов, как бы выражающие общее мнение: ‘Уж наш т. Грудастый не подкачает, уж он уверенно доведет до конца стройку и справедливо распределит квартиры среди достойнейших’”.

Ошейников перечел все написанное. Очерк выглядел недурно».

Для конвертации в отдельное жилье шел в ход любой ресурс. У Ошейникова был ресурс медийный. У кого-то — административный. У многих — финансовый. Кто-то, напротив, выбирался на принципе «не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Участник еще одного фельетона тех же двух авторов, что называется, давил на жалость:

«В тревожном состоянии, давно и тяжело больной, к вам обращается почти старик.

Мои страхи так вероятны, что лучше их предупредить.

Десятый год я — пайщик РЖСКТ им. Дзержинского, — Садовая-Земляная улица, 37/1. Я внес 2150 рублей, более тысячи рублей сверх полного пая.

Я — транспортник с 1900 года. При советской власти более десяти лет был начальником эксплуатации и начальником дороги, из них четыре года на дорогах фронта. Сейчас доработался до полной инвалидности. Состояние здоровья ухудшается из-за очень плохих бытовых условий — на 19 квадратных метрах шесть человек, почти чужих друг другу. По стажу и паенакоплению я имею все преимущества. Предыдущая служба только укрепляет мое право.

Сейчас кооператив распределяет квартиры. Хотя мне говорят, что я получу, но говорят так неконкретно, так формально, что я теряю надежду. По состоянию здоровья я не в силах часто ездить и защищать свое бесспорное право. Более молодые сейчас уже получают.

Подумайте! Десять лет ждать, понимать, что в обста-



новке новой квартиры я еще проживу пять-шесть лет, пока не поставлю на ноги тринадцатилетнего сына, — и не получить.

Я страдаю двумя видами астмы, почти не могу ходить. Чтобы вернее себя обеспечить, я вместо трехкомнатной прошу двухкомнатную, но обязательно отдельную квартиру.

При всей моей личной заинтересованности, я думаю, что вопрос этот имеет общественное значение.

С большой надеждой Б. И. Григорович.

«Почти старик» настолько преуспел в своем умении жаловаться на жизнь, что даже достучался до сердец двух записных зоилов. «Нет, не видно здесь уважения к старости!» — сетовали они.

\* \* \*

Дело расселения шло с огромным скрипом. Снова Ильф и Петров: «Обычай таков: первым глухой ночью в новый дом въезжает председатель правления, комендант с ночными сторожами торопливо перетаскивает его вещи. За председателем, естественно, вкатывается в дом его заместитель; далее, естественно, следуют члены правления: они мчатся на быстроходных грузовиках, из которых в разные стороны торчат матрацы и фикусы. На рассвете, кусая друг друга, вселяются члены ревизионной комиссии, эти основные борцы за справедливость. И к утру обычно дом, в котором еще не везде есть стекла и полы, уже заселен. Бегай после этого, доказывай свою правоту, судись! Все равно — уже поздно».

Их современник Михаил Кольцов писал в статье «Здоровая горячка»:

«Злоба московского дня — постройки, застройки, достройки, перестройки, строительство.

Любимый герой дня — не лихой фронтовик-военный, не продработник, не журналист, не дирижер. Только архитектор, склоняющий хмурое чело над чертежами и сметами, изрекающий истины о кубатуре теплопроводности и доходности, разве только он один способен вызывать восторженный шепот позади себя.

И единственное золотое руно, что манит к себе несметное множество мечтателей, от батистового нэпача до кожаного председателя завкома, единственное со-

кровище, излучающее ослепительное сияние, — кирпич!

Что валюта! Что бриллиантовые и алмазные караты! Что кокаин! Что самогон! Нет на свете вещи нужнее, выгоднее, желаннее, драгоценнее простого, честного, четырехугольного кирпича!

Как правило, кирпича в Москве нет. Отдельные счастливицы обладают небольшими партиями, которые хранят, вероятно, в нескороаемых шкафах. Кое-кто добился разрешения на разборку старых зданий и выгрызает кирпич из стен развалившихся церквей или казарм, как дитя грызет леденец.

Прочие же рыщут вокруг Москвы, в радиусе до тысячи верст, и ищут строительный материал для московских построек. Кирпич идет в Москву из Киева! В каком виде он, трясясь в товарных вагонах, доезжает до места назначения, сколько это стоит, можно себе представить.

Если кирпич — валюта, то почему ее не подделывать? Правда, оборудование нужно более громоздкое, чем при кустарной фабрикации червонцев. Но прибыль, пожалуй, не меньше. И на рынке уже гуляют партии подозрительных рыхлых, плохо обожженных плиток унылого, лимфатического, грязно-желто-алого цвета. Остерегайтесь подделки, товарищи!

Кирпич — золото! Цемент — серебро. Глина и дерево, коими изобилует всяма Россия — несравненно дешевле. Посему процветает наряду с каменным строительством — деревянное».

\* \* \*

Коммуналки тем не менее постепенно расселялись. Для многих спасением были так называемые кооперативы. Михаил Кольцов писал: «Жилищная рабочая кооперация — совсем еще младенец среди своих собратьев. Она растет как в сказке. В январе 1924 года в Москве было десять жилищно-строительных кооперативов, через год — двести пятьдесят, еще через год — около тысячи. Этот рост — не случайный. Жилище простое — при нашем диком жилищном кризисе — и жилище благоустроенное, культурное, чистое, гигиеническое составляют чуть ли не главную основу для созидания

социалистического быта на ближайший и последующие периоды. Пусть побольше заглядывают партийцы в этот угол нашей работы».

В частности, в историю вошел писательский, в Москве, в Нащокинском переулке (в советское время — на улице Фурманова). Возможно, потому, что именно писатели более всех остальных склонны вести дневники и оставлять мемуары. А может быть, из-за того, что это был один из первых кооперативов подобного рода. Его начали заселять еще в 1934 году. Здесь проживали Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Юрий Нагибин, Константин Тренев, Сергей Клычков. Председателем правления был Александр Жаров, автор известной в то время поэмы «Гармонь». За строительством же надзирал Мате Залка.

Булгаков писал Вересаеву: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить на трамвае! Викентий Викентьевич!.. Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом!»

Булгаков ликовал. Со вкусом обустроивался. Это была первая его — по-настоящему его — квартира. Ни о чем другом он вообще не думал. Однажды невольно шокировал букиниста Циппельсона — на его традиционный вопрос: «А что вы сейчас ищете?» вместо названия книги сказал: «Газ для ванной».

Разумеется, ремонтные работы раздражали Михаила Афанасьевича:

«Квартира помаленьку устраивается. Но столяры осточертели не хуже зимы. Приходят, уходят, стучат.

В спальне повис фонарь. Что касается кабинета, то ну его в болото! Ни к чему все эти кабинеты».

А вот Андрею Белому не довелось пожить в этом прекрасном кооперативе. Один из друзей писателя, Петр Зайцев, вспоминал:

«Одним из первых решил вступить в этот кооператив Андрей Белый. Но денег на взнос у него не было. За тридцать лет своей писательской жизни и непрерывной работы он их не накопил. Ему пришлось продавать часть своего архива, чтобы уплатить взнос. Клавдия Николаевна

очень заботилась, чтобы Борис Николаевич своевременно получил оплаченную им жилплощадь. В нужных случаях она обращалась ко мне. Но стройка двигалась медленно, а число кандидатов на квартиры росло. И сам дом сдавался и заселялся частями, по мере готовности каждому из записавшихся. Белого все это тревожило, и он просил меня выяснить, когда будет готова его квартира...

17 июля Бугаевы собрались выехать в Москву. Были куплены билеты. 15-го сидели и беседовали со знакомыми в Доме творчества. Борис Николаевич был оживлен, весел, он загорел, как негр. И вдруг — дурнота, тошнота, обморок... Это был солнечный удар... Первое кровоизлияние...

Вернулись Бугаевы в Москву 1 августа 1933 года. Я сразу же приехал в Долгий. Зашла речь о кооперативе. Беспокойство и нервозность Бориса Николаевича относительно квартиры были обусловлены еще и тем, что на квартиры в писательском доме было много претендентов, и при жилищной тесноте и сильном квартирном кризисе в Москве юридические права не всегда соблюдались. Еще бытовало право наиболее юркого и проворного, и Борис Николаевич опасался, что его будущую квартиру захватят чужие люди...

В декабре Белому стало еще хуже, и 8-го числа мы отвезли его в клинику на Девичьем поле. С этого времени начались наши с Клавдией Николаевной поочередные дежурства у его постели...

6 января (уже 1934 года) я пришел в три часа дня, чтобы сменить Клавдию Николаевну, и пробыл у постели больного до девяти с половиной вечера. Борис Николаевич был очень тих, приветлив, сиял своей светлейшей улыбкой. Я покормил его манной кашей с клюквенным киселем. Был он значительно слабее, чем раньше. Доев кашу, попросил покурить. Но сам уже не мог держать папиросу и сделал две-три затяжки из моих рук...

8 января я хотел пойти вновь — сменить Клавдию Николаевну в два часа, как мы условились. Но около часа дня мне позвонил Г. А. Санников:

— Бориса Николаевича не стало».

Квартира была получена Клавдией Николаевной Алексеевой только через два года. Дом же был снесен в 1976 году.

Увы, многие коммунальные проблемы перемести-

лись и сюда. Актер Григорий Конский вспоминал один из разговоров Булгакова с соседом, признанным специалистом в области радиолобительства:

«— Скажите, дорогой Яков Борисович, если радиоприемник включить и не выключать, сколько времени он может работать не переставая?»

— Это, Михаил Афанасьевич, зависит от того, какой приемник. Может быть, и месяц, может быть, два, а может быть, и дольше.

Глаза Михаила Афанасьевича в зеркале несколько тухнут.

Сухарев продолжает:

— Вы знаете, Михаил Афанасьевич, если очень мощный приемник, то, может быть, даже и год. А что — покупать приемник собираетесь? — спрашивает он заинтересованно.

— Да нет, не покупаю, — говорит Михаил Афанасьевич и смотрит в зеркало. — Дело в том, что соседи, которые живут у меня за стеной, в соседней квартире, уехали на зимовку, дома никого не осталось, квартиру, натурально, опечатали, а они забыли выключить радио. Вот оно и бушует целые сутки, утром и вечером».

Да и арестовывали в кооперативе, к сожалению, не меньше, чем в старых коммуналках. В частности, Мандельштама забирали именно отсюда.

\* \* \*

Интересен в этом плане комплекс жилых домов на Щербаковской улице, сооруженный в 1962—1975 годы архитектором Борисом Иофаном. На первый взгляд здесь усматривается движение вниз — от престижнейших проектов, от Дома на набережной и так и не построенного Дворца Советов до каких-то чуть ли не хрущевков. Но в действительности все было не так. Перед архитектором была поставлена вполне определенная и по тому времени передовая задача — создать максимально экономичные, но при этом пригодные для комфортабельного проживания дома. И задача была решена. Однокомнатные квартиры для одиночек были площадью 11 квадратных метров, однокомнатные для небольших семей — 23,5 квадратного метра. Самая большая квартира — трехкомнатная располагалась на 45 метрах.

Да, не роскошный дворец. Но для скорейшего расселения московских коммуналок такое жилье подходило идеально.

Впрочем, и сами хрущевки были в то время очень даже социально значимым строительством.

Да, факт очевидный. С приходом к власти Никиты Хрущева московская архитектура, как таковая, завершилась. Под благовидным на первый взгляд лозунгом борьбы с «архитектурными излишествами» был, по сути, запрещен величественный послевоенный ампи́р. Главным архитектором Москвы был в то время Иосиф Ловейко, однако именно Хрущев определял архитектурную политику. Идеалом — и для жилого дома, и для делового здания, и для школы, и для магазина — стала ровная стена с одинаковыми оконными проемами. Архитекторы сделались градостроителями, начали мыслить целыми микрорайонами — но застраивали их все теми же скучными стенами. Брежневская эпоха, воследовавшая за хрущевской, принципиально ничего не изменила.

Одним из символов архитектуры того времени можно назвать дом 125 по улице Вернадского. Он был построен в 1972 году. Именно в нем снимался знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром»), сюжет которого строится именно на патологической схожести новых зданий.

Этот панельный дом серии И-99-47/406 — детище целого коллектива архитекторов под руководством Евгения Стамо. Дом Пашкова проектировал один только Василий Баженов, однако коллективный разум Баженова не превзошел. Вышел типовой многоэтажный дом, который выделяется из общей массы лишь мемориальной доской в виде портфеля с березовым веником, извещающей о съемках культовой ленты.

Интересен еще один столичный дом, выстроенный в том же 1972 году. Это знаменитый «круглый дом в Матвеевском». Это сооружение, спроектированное архитектором Евгением Стамо и инженером Александром Маркеловым, насчитывает десять этажей и имеет 26 подъездов. Притом, что немаловажно, чудо-дом собран из стандартных домостроительных панелей, только соединенных под углом шесть градусов.

Ему дают кличку «дом-бублик». И, разумеется, он сра-

зу же становится престижным. Сюда въезжают знаменитости — актер Савелий Крамаров и режиссер Эмиль Лотяну. Правда, есть проблемы с мебелью — как ни поставь, все выйдет криво. Но ради проживания в доме-сенсации можно и немного потерпеть.

\* \* \*

Граждане уже получили смотровой ордер, познакомились со своим будущим жильем, даже посидели на своем собственном унитазе и подергали за ручки собственную кухонную плиту. Но психология у новоселов пока что оставалась коммунальной. И они переезжали в свое новое жилище на открытых грузовиках, выставив свой скarb на обозрение всему городу. Эта характерная сцена — открытая полторка с торчащими из нее ножками кресел, спинками стульев, торшером и всепременной радостной собачкой, любопытно озирающейся по сторонам, — многократно отыгрывалась и в кинематографе, и в живописи, и в агитационных материалах.

Кстати, когда рассуждают о причинах августовских событий 1991 года, эти причины приводятся самые разные. Но совершенно не учитывается массовый переезд из коммуналки в современные квартиры. А зря.

Именно благодаря этой существенной перемене советские жители получили представление о том, что такое прайвеси. Самого слова еще не было, а представление уже было. Собственная кухня, собственная уборная, холодильник, в который никто не заглянет, ванная, которую не нужно дезинфицировать после соседа-алкоголика. Единожды попробовав такого счастья, отказаться от него было довольно сложно. Процесс был запущен.

И по прошествии нескольких лет переезд на открытых грузовиках уже был немислимым. Даже на летнюю съемную дачу. Кстати, мода на те самые обособленные дачи тоже началась вскоре после запуска механизма переселения из коммуналки. До них были турбазы, дома отдыха, пансионаты — с общей столовой, спортивными играми и одним телевизором на этаж.

Авоськи постепенно сменялись полиэтиленовыми пакетами. Торговля вразвес — фасовкой товара еще

до прилавка. И даже начавшееся в 1962 году внедрение трехпрограммного проводного радиовещания было явно рассчитано на отдельные квартиры — в коммуналке это было бы явно избыточно.

Прайвеси, обособленности хотелось все больше и больше. Но мешал сам общественный строй. Слишком уж глубоко влезала государственная машина в личную жизнь советских граждан. И за это была снесена.

Кинокритик Денис Горелов в заметке, посвященной фильму режиссера Льва Кулиджанова «Дом, в котором я живу», пишет: «Массовое жилстроительство Хрущева внезапно породило у миллионов ощущение частной, собственной, отдельной крыши. Чудесное остолбенение на лицах теток-новоселок в серых шерстяных платках и драповых пальто с цигейкой сыграть было невозможно — многочисленные хроники и картины живописцев решетниковской школы запечатлели первоорождение советского консерватизма. Город переставал быть обобществительной дробилкой, и миллионы наконец-то оседлых граждан принимались яростно прибивать гвозди — под санки и рейсшины, лохани и карнизы, портреты мамы-папы в самодельных рамках, сколоченных на уроках труда, карты мира и моей родины СССР. Эти люди еще сушили белье во дворах ввиду скудости полезных метров и унаследованного от общинного житья добрососедства — но уже начинали обзаводиться не собакевической мебелью, грузной, прочной, немаркой и удобной при вечных погрузках, а зеркальными шкапами с полиролью и подписными изданиями без вечной прогалины от веревки. И они втихомолку знали, что того же года пьеса В. Розова “В поисках радости” — полная дурнина, ибо не стоит делать из платяного шкафа фетиш скопидомства, рубить его дедовской шашкой и противопоставлять живым золотым рыбкам. Шкаф и рыбки — явления одного порядка. Родственные».

А вот он же — в заметке о фильме Ильи Фрэза «Вам и не снилось»: «Испорченные совместным проживанием на куцей жилплощади, общей кухней, туалетом и телефоном, предки регламентировали все — от времени возвращения домой до деньрожденных церемониалов, включая категорическое табу на завтрак у телевизора. Поколение тридцатилетних, кому в 80-м бы-



ло десять—тринадцать, и сегодня может порассказать о той поре немало душераздирающих историй. Как собственного первенца забацили пожаром в 19 лет, чтоб только мамочка с головы слезла — а вернее, перелезла на голову к внуку; как дом был закрыт для друзей, потому что гостей надо принимать со скатертью, айвовым вареньем в вазочках и разговорами о здоровье мамы, а не за закрытыми дверями под магнитофон; как мать и по сей день донимает звонками об изменении температуры на пять градусов и надел ли сыночек свитер и теплые трусики. Над макаревичевским «Позвоните родителям» хохотало полстраны: американский слоган, подразумевающий, что недурно было бы хотя бы раз в год звякнуть родне в Миннесоту, в России приобрел совершенно специфическую окраску: мама волнуется, мама уже четыре раза за ночь разговаривала с твоим автоответчиком, а тебя все нет, бесчувственная дрянь!»

Безусловно, это социальное явление — тотальное перемещение огромного народа из коммуналок в собственное жилье — еще ждет своих исследователей, в первую очередь, естественно, психологов, а то и психиатров.

\* \* \*

Впрочем, вернемся к теме коммунального жилья. Главным решительным ударом по советским коммуналкам стали советские же пятиэтажки, они же панельные пятиэтажки, они же хрущевские пятиэтажки, они же хрущевки. Именно Никита Сергеевич Хрущев решил раз и навсегда покончить с коммунальным бытом. 31 июля 1957 года было принято постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Таким образом был дан старт глобальной застройке всей страны и в первую очередь Москвы так называемыми хрущевками. Вступила в действие программа «индустриального домостроения».

Сегодня их активно сносят. Вместе с тем многие ведущие искусствоведы всерьез считают эти более чем скромные домишки памятниками. Правда, памятниками скорее не архитектурными, а градостроительными. Сама по себе хрущевка, в общем, ничего не значит, но в сочетании со своей незатейливой и трогательной ин-

фраструктурой — детские площадки, скамейки для бабушек, столики для доминошников, хоккейные «коробки», голубятни, турники, расчерченный для «классиков» асфальт и много-много зелени — являют собой неповторимый и бесконечно уютный мирок.

Эти хрущевки появлялись повсеместно. Началось с Москвы, с микрорайона Черемушки — и с тех пор это название сделалось словом нарицательным. Не стали исключением ни крупные региональные центры, ни маленькие поселки городского типа. Туда пятиэтажки пришли с некоторым опозданием. К примеру, в подмосковном поселке Северный первая хрущевка была выстроена в 1964 году. Этот дом сразу прозвали Новым. Радость была бесконечной — люди десятилетиями мечтали переехать из бараков в собственную квартиру. С ванной, индивидуальным теплым туалетом, телевизионной антенной и прочими достижениями цивилизации. Особенным счастьем виделся мусоропровод.

Впрочем, предвестники хрущевок — первые каркасно-панельные дома — были построены в 1948 году, когда Никита Сергеевич еще трудился в должности первого секретаря ЦК украинской компартии. И в 1956—1958 годах рядом с деревней Черемушки стали появляться новенькие пятиэтажные домики, начисто лишённые пресловутых архитектурных излишеств. Их Никита Хрущев ненавидел.

А в августе 1958 года ЦК КПСС и Совмин СССР принял совместное постановление «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства». Оно предусматривало сооружение на всей территории страны 402 заводов железобетонных изделий (в честь этих многочисленных ЖБИ почему-то модно было называть автобусные остановки).

Последняя советская хрущевка была сдана, когда СССР уже, что называется, дышал на ладан — в 1985 году. В то время всю уже строили «брежневки» — многоэтажные дома, отделанные голубым и желтым, с лифтами, более или менее просторными кухнями и холлами вместо узеньких коридорчиков.

Эксплуатационные характеристики хрущевок были и вправду назавидными — низкая звукоизоляция и

теплоизоляция (зимой на окнах образовывался лед, снаружи и внутри), кухня от пяти до семи метров, часто — смежные комнаты, совмещенные санузлы, отсутствие балконов. При подключении более или менее мощных электроприборов во всей квартире вырубался ток — перегорали предохранители в так называемых пробках.

Счастье новоселов тем не менее было беспредельным. Отдельная квартира в те времена ценилась высоко.

Валентин Катаев восхищался: «Я еду по Москве, и на моих глазах происходит чудо великого разрушения, соединенного с еще большим чудом созидания и обновления. В иных местах рушатся и сжигаются целые кварталы полусгнивших мещанских домишек, и очищающий огонь прочесывает раскаленным гребнем землю, где скоро из дыма и пламени возникнет новый прозрачный парк или стеклянное здание. В иных местах очищение огнем и бульдозерами уже совершилось, и я вижу древние — прежде незаметные — постройки неслыханной прелести и яркости красок, они переживают вторую молодость, извлекая из захламленного мусором времени драгоценные воспоминания во всей их подлинности и свежести».

\* \* \*

В 1983 году Евгений Евтушенко написал стихотворение «Плач по коммунальной квартире»:

Плачу по квартире коммунальной,  
будто бы по бабке повивальной,  
слабо позолоченного детства,  
золотого все-таки соседства.

В нашенской квартире коммунальной,  
деревянной и полуподвальной,  
под плакатом Осоавиахима  
общий счетчик слез висел незримо.

В нашенской квартире коммунальной  
кухонька была исповедальней,  
и оркестром всех кастрюлек сводным,  
и судом, воистину народным.

Если говорила кухня: «Лярва», —  
«Стерва» — означало популярно.  
Если говорила кухня: «Рыло»,  
означало — так оно и было.

В три ноздри три чайника фырчали,  
трех семейств соединив печали,  
и не допускала ссоры грязной  
армия калош с подкладкой красной.

Стирка сразу шла на три корыта.  
Лучшее в башку мне было вбито  
каплями с чужих кальсон, висящих  
на веревках в белых мокрых чащах.

Наволочки, будто бы подружки,  
не скрывали тайн любой подушки,  
и тельняшка слов стеснялась крепких  
с вдовьей кофтой рядом на прищепках.

Если дома пела моя мама,  
замирали в кухне мясорубки.  
О чужом несчастье телеграмма  
прожигала всем соседям руки.

В телефон, владевший коридором,  
все секреты мы орали ором  
и не знали фразы церемонной:  
«Это разговор не телефонный».

Нас не унижала коммунальность,  
ни в жратве, ни в храпе, ни в одеже.  
Деньги как-то проще занимались,  
ибо коммунальны были тоже.

Что-то нам шептал по-человечьи  
коммунальный кран водопровода,  
и воспринималось как-то легче  
горе коммунальное народа.

И когда пришла Победа в мае,  
ко всеобщей радости и плачу, —  
все пластинки, заглушив трамваи,  
коммунально взвыли «Кукарачу».

Взмыли в небо каски и береты.  
За столами места всем хватило.

Вся страна сдвигала табуреты,  
будто коммунальная квартира.

Плачу по квартире коммунальной,  
многодетной и многострадальной,  
где ушанки в дверь вносили вьюгу,  
прижимаясь на гвоздях друг к другу.

Неужели я сбесился с жиру,  
вспомнив коммунальную квартиру?  
Не бесились мы, когда в ней жили  
не на жире, а на комбижире.

Бешенство — оно пришло позднее.  
Стали мы отдельней, стали злее.  
Разделило, словно разжиренье,  
бешенство хватанья, расширенья.

Были беды, а сегодня бедки,  
а ведь хнычем в каждом разговоре.  
Маленькие личные победы  
победили нас и раскололи.

В двери вбили мы глазки дверные,  
но не разглядеть в гляделки эти,  
кто соседи наши по России,  
кто соседи наши по планете.

Я хочу, чтоб всем всего хватило —  
лишь бы мы душой не оскудели.  
Дайте всем отдельные квартиры —  
лишь бы души не были отдельны!

Со звериной болью поминальной  
плачу по квартире коммунальной,  
по ее доверчиво рискованной  
двери бесцепочной, безглазковой.

И когда пенсионер в подпитье  
заведет случайно «Кукарачу»,  
плачу я по общей победе,  
плачу я по общему плачу.

Подавляющее большинство советских граждан давно проживали в отдельных квартирах, и действительно иной раз появлялась ностальгия — не столько по са-

мим коммуналкам, сколько по собственной молодости, в коммуналках проведенной.

Но в конце 1960-х годов, в эпоху глобального переселения на «отдельную площадь», он вряд ли отважился бы написать такой опус — могли и побить.

\* \* \*

А вот еще одно произведение, созвучное евтушенковскому «Плачу». Юрий Визбор, «Волейбол на Средтенке»:

А помнишь, друг, команду с нашего двора,  
Послевоенный — над веревкой — волейбол,  
Пока для секции нам сетку не украл  
Четвертый номер — Коля Зять, известный вор.

А первый номер на подаче — Владик Коп,  
Владелец страшного кирзового мяча,  
Который если попадал кому-то в лоб,  
То можно смерть установить и без врача.

А пятый номер, наш защитник, Макс Шароль,  
Который дикими прыжками знаменит,  
А также тем, что он по алгебре король,  
Но в этом двор его несколько не винит.

Саид Гиреев, нашей дворничихи сын,  
Торговец краденым и пламенный игрок.  
Сергея Мухин, отпускающий усы,  
И на распase — скромный автор этих строк.

Да, вот это — наше поколение, —  
Рудиментом в нынешних мирах,  
Словно полужесткие крепления  
Или радиолы во дворах.

А вот противник — он нахал и скандалист,  
На игры носит он то бритву, то наган:  
Здесь капитанствует известный террорист,  
Сын ассирийца, ассириец Лев Уран,

Известный тем, что, перед властью не дрожа,  
Зверю-директору он партой угрожал,  
И парту бросил он с шестого этажа,  
Но, к сожалению для школы, не попал.

А вот и сходятся два танка, два ферзя,  
Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран:  
Идет походкой воровскою Коля Зять,  
Навстречу — руки в брюки — Левочка Уран.

Вот тут как раз и начинается кино.  
И подливает в это блюдо остроты  
Белова Танечка, глядящая в окно, —  
Внутрирайонный гений чистой красоты.

Ну что, без драки? Волейбол так волейбол!  
Ножи отставлены до встречи роковой,  
И Коля Зять уже ужасный ставит «кол»,  
Взлетев, как Щагин, над веревкой бельевой.

Да, и это наше поколение —  
Рудиментом в нынешних мирах,  
Словно полужесткие крепления  
Или радиолы во дворах.

Мясной отдел. Центральный рынок. Дня конец.  
И тридцать лет прошло — о Боже, тридцать лет! —  
И говорит мне ассириец продавец:  
«Конечно, помню волейбол. Но мяса нет!»

Саид Гиреев — вот сюрприз! — подсел слегка,  
Потом опять, потом отбился от ребят.  
А Коля Зять пошел в десантные войска,  
И там, по слухам, он вполне нашел себя.

А Макс Шароль — опять защитник и герой,  
Имеет личность он секретную и кров.  
Он так усердствовал над бомбой гробовой,  
Что стал членкором по фамилии Петров.

А Владик Коп подался в городок Сидней,  
Где океан, балет и выпивка с утра,  
Где нет, конечно, ни саней, ни трудодней,  
А также нету ни кола и ни двора.

Ну, кол-то ладно — не об этом разговор, —  
Дай Бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат.  
Но где найдет он старый сретенский наш двор? —  
Вот это жаль, вот это, правда, очень жаль.

Ну, что же, каждый выбрал веру и житье,  
Полсотни игр у смерти выиграв подряд.

И лишь майор десантных войск Н. Н. Зятьев  
Лежит простреленный под городом Герат.

Отставить крики! Тихо, Сретенка, не плачь!  
Мы стали все твоею общею судьбой:  
Те, кто был втянут в этот несерьезный матч  
И кто повязан стал веревкой бельевой.

Да, уходит наше поколение —  
Рудиментом в нынешних мирах,  
Словно полужесткие крепления  
Или радиолы во дворах.

Знаете ли вы, мои дорогие читатели, что такое полужесткие крепления? Это такие эрзац-крепления ложки к ботинку. Когда ложка сначала подворачивается, потом отваливается, а после исчезает в неизвестном направлении.

Но тоска по тем креплениям затмила солнце. Только и остается, что сочувствовать Владиду Копу, который мается в беспроблемной Австралии и, по всей видимости, полжизни отдал бы за то, чтобы переместиться с тихоокеанского пляжа в полукриминальный двор с его фиксатными хозяевами.

Сродни этим стихотворениям воспоминания Андрея Вознесенского, вошедшие в книгу «На виртуальном ветру»:

«Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: “Кто воспитал ваше детство помимо дома?” — я бы ответил: “Двор и Пастернак”.

4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом “Рио-риты” из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской “Муркой”, записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня



ня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братах можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Вольты, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...»

Есть что-то лукавое в этом «увы, доносящемся из собственного дома в Переделкине, из квартиры в сталинской высотке, из нью-йоркского отеля.

«В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферাপонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал “Баядеру”, возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и много не представлял».

Это тоже Вознесенский, и фокусировка здесь более честная — был счастлив. Как бывает счастлив негритенок в голливудском фильме про страшное гетто. Вокруг стреляют мафиози, ему нечем пообедать, у него только что повесился дедушка, а он счастлив — просто потому что молодой и относительно здоровый. Вовсе не потому, что жить в гетто так круто.

\* \* \*

Архитектор Елена Владимировна Трубецкая писала в дневнике:

«На Кропоткинской срочно вывозят жильцов: во дворе палат стоят грузовики и фургоны. Молодые ребята

та в военной форме грузят вещи, людей и увозят, многих насильно, кто куда, в разные края. Беременную Надю хотели увезти в далекий неблагоустроенный район новостройки Бибирево. Она с мужем еле успела выхлопотать квартиру поближе, пусть старую, “за выездом”. Старушки плачут, одна семья заперлась и никого не пускает. Некоторые, наоборот, довольны — в новые края... Все больше пустых развороченных квартир, куда мы сразу проникали с рулетками, молотками и скарпелями, продолжая исследование зданий: правда, еще сквозь очень мешавшие перегородки и перекрытия.

Настя — уборщица одна из первых покинула свое убежище под лестницей. Жившая в жутких условиях, она — хоть обычно слегка пьяненькая, но всегда приветливая, очень трогательно относилась к своей старенькой маме. Мама ее, жившая тут же, почти не передвигалась и не говорила, что-то мычала. Грязь у них была страшная и бедность. Контрастом, однако, посреди жизненного пространства стоял большой комод красного дерева со множеством ящичков, замыкавшихся занятыми медными замочками. Вход в ее комнатушку был под главной лестницей, единым маршем, с Кропоткинской, ведущей на 2-й этаж. Окно было со двора и почти вровень с землей из-за перепада земли. Потом, когда всех смело “могучим ураганом”, мы ходили из нижних палат в верхние через это окно.

Около Насти проживал просторно и вальяжно милиционер с женой и дочкой. Однажды он держал нам рулетку, а после страшно ругался, когда мы откололи у него за дверью кусок штукатурки, тщетно пытаясь найти металлическую кованую связь XVII века. Над ним располагалась квартира двух очень приятных старушек, которые искренне интересовались историей домов и искренне сожалели, что их должны снести.

В большой комнате как-то сбоку жили престарелые евреи — муж и жена. Они все выспрашивали “куда их” да “когда их”. В углу их комнаты был огромный камин, облицованный рельефными изразцами буро-коричневых тонов с двумя керамическими симметричными фигурками по сторонам. Жильцы гордились им, считали, что это очень древний камин, и никак не хотели верить, что он конца XIX века. Предметом их гордости была еще дверь, ведущая прежде в соседнюю комнату.

Дверь была обрамлена деревянными резными полуколоннами и завершена барочным каршущем из того же темного мореного дерева. В коммунальной кухне этих квартир свод оказался подшивной. Он опирался на перегородки и долго нас пугал. Так отделал свое жилье один из последних владельцев дома. А первые, то есть строители палат, пока оставались неизвестными, несмотря на изыскания в архивах наших искусствоведов...

Потомки последнего владельца дома № 3 Воскресенского жили на самом верху, со двора. Тихая, седая, маленькая старушка, с добрыми голубыми глазами, сидя со своим шумным обрюзгшим мужем, казалась юной и изящной, но рассказать о доме она почти ничего не сумела, хотя мы расспрашивали очень вежливо и тактично. Была ли тут дверь? Не было ли здесь за дорогами обоями окна? Обычным методом — методом зондажей — действовать мы пока не решались.

В одной из многочисленных квартирок сохранился узорный паркет из двух пород дерева — светлого и темного, того же времени, что и камин, и дверь. Множество перегородок, надстроек и внутренних лесенок не давали как следует обдумать первоначальный план палат и вычертить его, наконец. Получалось так, что в очень важных для исследования местах были или перекрытия, или панели, или туалеты и ванны плюс крайне сердитые хозяева. Нас кляли, не стесняясь.

И вот настал день, когда все завертелось, все пришло в движение, как по мановению страшной волшебной палочки: всем жильцам и этого дома выдали ордера на новое жительство и стали торопить с выездом».

Речь идет о расселении легендарных палат на пересечении улиц Пречистенки и Остоженки. И даже эту историческую недвижимость люди по большей части покидали с радостью. Что же говорить о тех, кто покидал простые, заурядные доходные дома.

Счастье действительно было безмерное. Из коммуналок уезжали все.

\* \* \*

Опытный житель коммуналок Сергей Довлатов посвятил такому переезду рассказ «Дорога в новую квартиру»:

«В ясный солнечный полдень около кирпичного дома на улице Чкалова затормозил грузовой автомобиль. Шофер, оглядевшись, достал папиросы. К нему подбежала молодая женщина, заговорила быстро и виновато.

— Давайте в темпе, — прервал ее шофер.

— Буквально три минуты.

Женщина исчезла в подъезде. Невдалеке среди листвы темнел высокий памятник. У постамента хлопотали фиолетовые голуби.

Женщина вернулась, на этот раз — с чемоданом.

— Уже несут.

Впереди, обняв громадную, набитую слежавшейся землей кастрюлю, шел режиссер Малиновский. Лицо его слабо белело в зарослях фикуса.

Режиссер устал.

Два пролета он тащил эмалированную кастрюлю на вытянутых руках. Затем обнял, прижал ее к груди. Чуть позже — к животу. Наконец, утопая в листве, Малиновский измято подумал: “Ну прямо Христос в Гефсиманском саду!”

Следом двое мужчин энергично тащили комод. Руководил майор Кузьменко, брюнет лет сорока в застиранной офицерской гимнастерке. Студент Гена Лосик прислушивался к его указаниям:

— Вывешивай! Я говорю — вывешивай! Теперь — на ход! Я говорю — на ход! Спокойно! М-мм, нога! Ага, торцом! Чуть-чуть левее! Боком! Стоп!..

Комод был шире лестничной площадки. Вынесли его чудом. Майор подмигнул Лосику и сказал:

— Принцип: “Не хочешь — заставим!”

Высказывался он немного загадочно. Шофер, не оборачиваясь, посмотрел в сияющее круглое зеркальце.

— Пока лежите так, — сказал он.

Мужчины, оставив груз на тротуаре, скрылись в подъезде. Высокая молодая женщина прощалась с дворничихой. Шофер читал газету. Малиновский, откинув левую руку, тащил чемодан. Лосику досталась связка картин, завернутых в осеннее пальто. Майор Кузьменко укрепил веревками ящик от радиолы, набитый посудой, захватил торшер с голубым абажуром и легко устремился вниз...

Малиновский нес кастрюлю с бурно разросшимся фикусом.

Среди вещей было немало удобных предметов: чемоданы, книги, внушительные по габаритам, но легкие тюки с бельем... Малиновский клял себя за то, что выбрал это гнусное чудовище, набитую землей эмалированную емкость.

Сначала режиссер брезгливо тащил ее на весу. Затем он устал. Через две минуты ему стало нехорошо. А еще минуту спустя он почувствовал, что близок к инфаркту.

Вслед за ним Кузьменко и Лосик тащили сервант. На узких площадках они сдавленными голосами шептались:

— Так... На меня... Осторожно... Правей... Хорошо!

Мужчины сложили вещи на асфальт. Предметы выглядели убого. Стекла из шкафа были вынуты. Изношенный чемодан не отражал солнечных лучей. Картины Лосик прислонил к стене. Изнанка была в пыли. На ржавых гвоздях повисли узловатые веревки.

«Отличный мог бы выйти кадр, — думал режиссер. — Улица, голуби, трамваи и эти вещи на мостовой... О, как легко человеческое благополучие распадается на груды хлама...»».

\* \* \*

По хрущевкам разъехалось и уже упоминавшееся «арбатское братство». Разъехалось с радостью, без особой тоски по родным переулкам. «Братство» первое время созванивалось, а потом перестало. Завязалась дружба с новыми соседями (уже по дому, а не по квартире), дети пошли в новые школы, на собачьих площадках (настоящих, предназначенных для выгула собак) появились новые приятели-собачники. Новые заботы вытеснили старые хлопоты.

\* \* \*

Не всё и не всегда на новом месте было идеально. Хореограф Евгений Кудряц вспоминал:

«В середине 80-х годов нам после многочисленных вариантов обмена все-таки удалось с соседями разъехаться. Дальнейшие 13 лет я провел в изоляции. В первое время было очень тяжело, так как не хватало музыки, постоянно бьющей по ушам. Создавалось такое ощущение, что я полностью оглох, — такая стояла мертвая

тишина. Я даже почувствовал себя Бетховеном. Но постепенно уши привыкли к покою, и началась обыкновенная жизнь в изолированной квартире.

Конечно, это не означает, что все было безоблачно и волшебно. Например, перебои с водой или отоплением приносили мало радости. Кроме того, на первом этаже у нас работал хлебный магазин, а вход был общий. Поэтому, для того чтобы попасть в подъезд, нам предлагали занять очередь. Уговоры типа того, что мы здесь живем, действовали на очередь крайне редко. Жизнь текла скучно и однообразно. Только один раз произошло событие, объединившее всех жильцов. Как-то ночью я услышал сильный треск. Оказалось, что мальчишки залезли на сарай и подожгли тополиный пух. Начался пожар, причем огонь разгорался с космической скоростью. Я понял, что без пожарных не обойтись, поэтому набрал номер 01. На том конце провода меня долго и нудно пытали: кто такой, где живу и т. д. и т. п. Я все сказал и намекнул, что неплохо было бы подъехать пока есть, что тушить. На наше счастье, депо пожарной службы находилось недалеко, поэтому пожарные прибыли очень быстро. Но потом выяснилось, что воды у них нет(!). А как раз накануне по телевизору показывали соревнования пожарных, где они в считанные секунды расправлялись с пламенем. Но не надо путать показательные выступления с реальной жизнью. Несколько подъездов вывалило во двор, чтобы лично поприсутствовать при историческом моменте. Я стоял на застекленном балконе, как капитан на рубке, и чувствовал, как постепенно раскаляется пластик, а народ внизу давал пожарным дельные советы по тушению огня, на что те кратко, но нецензурно отвечали. Весь дом стоял на ушах, дети не спали — еще бы, не каждый день случаются пожары. В три часа ночи мне все надоело. Я отправился спать, а утром выглянул на балкон. Стекло выгнулось и стало напоминать кривое зеркало, зато в кухне обычное стекло треснуло, и не только у нас. На месте вчерашнего сарая я увидел только пепел, так как ушлые соседи, встав спозаранку, растащили все, что можно было унести. Потом я выяснил, что пожарные, так и не потушив сарай, все же присутствовали при его кончине и залили угли водой, которая к тому времени все же появилась.

С соседями по подъезду мы общались мало, только здрасьте — до свидания, не более того. Правда, одной из более разговорчивых — тете Киле всегда было что сказать. Сначала она доставала нас вопросом, куда деваются украинские пенсии, на что сама и отвечала: они — в Израиле. Я не знал, откуда у нее были такие точные сведения, поэтому молча соглашался, чтобы не накалять международную обстановку. А однажды, уже перед самым отъездом, когда из нашей квартиры выносили пианино, тетя Киля нарисовалась вновь, и как всегда некстати: Вот вы пианино продаете, а мне на хлеб не хватает!.. Я не совсем понял, в чем тут связь, но и спорить не стал».

\* \* \*

Неумолимая статистика утверждает, что в настоящее время 70 процентов жилого фонда Невского проспекта — коммуналки. Несколько ниже процент у других улиц Адмиралтейского, Казанского, Петроградского и Васильевского островов. Всего в Санкт-Петербурге около 100 тысяч нерасселенных коммуналок.

Будучи своего рода исключением и, соответственно, не имея отлаженной практики поддержания жизнеспособности, коммуналки питерского исторического центра разрушаются просто с космической скоростью. Не работают унитазы. Вот просто вообще не работают. Нет, считай, там унитазов. Душ — дачный, иногда прямо в комнате. Порыжевшие и бесполезные ванны. Грибок.

Некоторые коммуникации просто обрезаны. За неимением полноценной канализации многие выливают помой прямо за окно. Чтобы согреться, жгут костры — за неимением керосина керосинку не запустишь.

Разумеется, там проживает далеко не самая богатая часть населения Северной столицы. Соответственно — тусклые лампочки, запах прогорклого масла, на котором целую неделю жарят что-то несъедобное, залежи мусора, с которым страшно расставаться — вдруг что-нибудь пригодится, а купить будет не на что.

Один из исследователей приводит объявление, висящее в питерской коммуналке в наши дни: «Дамы и господа, просьба не вывешивать на веревки предметы нижнего туалета, трусы и прочее. Можно сушить в ком-

нате на трубах и батареях. У нас не рабочее общежитие и не колхоз, а квартира в центре Санкт-Петербурга».

Невозможно представить себе, что прекрасные снаружи памятники дореволюционного процветания, на которые направлены объективы туристических фотокамер, внутри разлагаются, гниют, смердят. И это отнюдь не романтические дворики-колодцы Достоевского. Эта история совсем про другое.

В Москве статистика несколько лучше, особенно если учесть, что и сама Москва больше, чем Питер, — около 80 тысяч коммунальных квартир. И ситуация в них получше — все-таки в Москве гораздо больше денег, продержаться здесь несколько проще. Но все равно ситуация — отнюдь не сахар.

Еще лучше обстоят дела в региональных центрах. Но и там есть коммуналки, и притом довольно депрессивные. Есть коммунальные квартиры и в райцентрах.

Активно появляются и коммуналки нового типа — люди, лишённые возможности заработать на отдельную квартиру, снимают жилье в складчину.

Нет, коммунальная эпоха еще держится и пока что не намерена сдаваться окончательно.



## ЛИТЕРАТУРА

*Аксенов В.* Московская сага: Трилогия. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2017.

*Андреевский Г. В.* Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху: В 2 кн. М.: Молодая гвардия, 2018 (Живая история: Повседневная жизнь человечества). Кн. 1: 1920—1930-е годы.

*Бальмонт К.* Где мой дом? // Литературный меридиан. 2013. № 10. 28 июля.

*Бахнов Л.* Летят перелетные птицы // <https://etazhi-lit.ru/publishing/prose/529-letyat-pereletnye-pticy.html>.

*Белицкий Я. М., Полиновская Л. Д.* Пушечная улица, 9. М.: Московский рабочий, 1989 (Биография московского дома).

*Бродский И.* Полторы комнаты // Новый мир. 1995. № 2.

*Булгаков М. А.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Азбука-классика, 2002.

*Ваншенкин К. Я.* Писательский клуб. М.: Вагриус, 1998 (Мой XX век).

*Вацлилин Н.* Истории СССР: Краткий курс. М.: Издательские решения, 2016.

*Вересаев В. В.* Сочинения: В 4 т. / Сост. Ю. Фохт-Бабушкина. М.: Правда, 1990. Т. 1.

*Весник Е. Я.* Дарю, что помню. М.: Вагриус, 1996 (Мой 20 век).

*Вознесенский А. А.* На виртуальном ветру. М.: Вагриус, 1998 (Наш XX век).

Воспоминания родных и друзей Булгакова о квартире № 50 // <http://bulgakovmuseum.ru/odd-flat/>.

*Гаген-Торн Н. И.* Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый) // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М.: Советский писатель, 1988.

*Гельфанд В. Н.* Дневники 1941—1946 годов. М.: Российская политическая энциклопедия; Книжники, 2015.

*Гладков А.* Дневниковые записи. 1971 год // Знамя. 2015. № 5.

*Голицын С. М.* Записки уцелевшего // Дружба народов. 1990. № 3.

*Гопман В.* В тополинах московских дворах // Семь искусств. 2013. № 8 (45).

*Горбовский Г. Я.* Остывшие следы: Записки литератора. Л.: Лениздат, 1991.

*Гордон Н.* Меня она покорила сразу простотой обращения // Цветаева без глянца / Сост. П. Е. Фокин. М.: Амфора, 2008.

*Горенштейн Ф.* Чок-Чок: Философско-эротический роман. СПб.: Библиотека «Звезды», 1992.

*Гранин Д. А.* Ленинградский каталог. М.: Детская литература, 1986.

- Десяткин В. Г.* Расшибалочка // <https://www.proza.ru/2013/09/29/2148>.
- Дедков И.* «Как трудно даются иные дни!»: Из дневниковых записей 1953—1974 годов // Новый мир. 1996. № 4.
- Довлатов С.* Голос. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2011.
- Довлатов С.* Заповедник. СПб.: Азбука, 2002.
- Довлатов С.* Наши. СПб.: Азбука, 2013.
- Дуров Л. К.* Грешные записки. М.: Эксмо-Пресс, 2000.
- Евтушенко Е. А.* Четвертая Мещанская // <http://www.evtushenko.net/>.
- Зайцев Б. К.* Собрание сочинений: В 5 т. М.: Русская книга, 1999. Т. 2.
- Заяицкий С. С.* Человек без площади // [http://az.lib.ru/z/zajaickij\\_s\\_s/text\\_3\\_chelovek\\_bez\\_ploshadi.shtml](http://az.lib.ru/z/zajaickij_s_s/text_3_chelovek_bez_ploshadi.shtml).
- Золотухин В. С.* Знаю только я. М.: Вагриус, 2007 (Мой 20 век).
- Зотиков И. А.* Зимние солдаты. М.: Paulsen, 2010.
- Зоценко М. М.* Сочинения: В 3 т. Л.: Художественная литература, 1987.
- Зубрилина С. Н.* Владимир Высоцкий: Страницы биографии. Ростов н/Д.: Феникс, 1998.
- Ивнев Р.* О Сергее Есенине // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. М.: Художественная литература, 1986. Т. 1.
- Ильф И., Петров Е.* Граф Средиземный // <http://ilf-petrov.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st019.shtml>.
- Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев. М.: Вагриус, 1997.
- Ильф И., Петров Е.* Золотой теленок. М.: Азбука-Аттикус, 2014.
- Ильф И., Петров Е.* Фельетоны // [http://az.lib.ru/i/ilfpetrov/text\\_0210.shtml](http://az.lib.ru/i/ilfpetrov/text_0210.shtml).
- Кандель Ф. С.* Житие девятой квартиры // <http://midrasha.net/3-zhitie-devjatojj-kvartiry/>.
- Катаев В. П.* Алмазный мой венец. М.: Советский писатель, 1979.
- Коваль Ю. И.* Пять похищенных монахов. М.: Детская литература, 1977.
- Козлов А. М.* Козел на саксе. М.: Вагриус, 1998 (Мой 20 век).
- Кольцов М. Е.* Избранное. М.: Правда, 1985.
- Кориунов М. П.* Хлопоты // <https://www.litmir.me/bg/?b=266830&p=3>.
- Крапивин В.* Переулок капитана Лухманова. М.: Детская литература, 2017.
- Краснушкин Е. К.* Психогенный фактор душевных расстройств в военное время // Проблемы психиатрии военного времени. М., 1945.
- Кржижановский С.* Книжная закладка // [http://az.lib.ru/k/krzhezhanowskij\\_s\\_d/text\\_0110.shtml](http://az.lib.ru/k/krzhezhanowskij_s_d/text_0110.shtml).

- Кудряц Е. В.* Коммуналка // [http://samlib.ru/k/kudrjac\\_e\\_w/kommunalka.shtml](http://samlib.ru/k/kudrjac_e_w/kommunalka.shtml).
- Кузьмин Н.* Давно и недавно. М.: Советский художник, 1982.
- Куликовский Б., протоиерей.* Саша // <http://hramvkostino.ru/newspaper/sasha.html>
- Лебина Н. Б.* Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. СПб.: Нева; Летний сад, 1999.
- Левинтов А.* Собачья площадка // <http://www.port-folio.org/2004/part699.htm>.
- Левитан Ю.* Говорит Москва! // Юность. 1966. № 12.
- Лёвшин В.* Садовая 302-бис // Воспоминания о Михаиле Булгакове / Сост. Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес. М.: Советский писатель. 1988.
- Либединская Л. Б.* Зеленая лампа. М.: АСТ; Астрель, 2012 (Женский портрет эпохи).
- Луговцова А.* Ребята с нашего двора // Дети военной поры: Сборник / Сост. Э. Максимова. М.: Политиздат, 1988.
- Мандельштам Н. Я.* Мой муж — Осип Мандельштам. М.: АСТ, 2013 (Великие биографии / Времена).
- Мандельштам О. Э.* Путешествие в Армению // *Мандельштам О. Э.* Шум времени. М.: Вагриус, 2006.
- Мариенгоф А.* Роман без вранья: Циники: Мой век. Моя молодость... М.: Художественная литература, 1988.
- Маркус Б. С.* Московские картинки 1920—1930-х годов. М.: Эксмо, 1999.
- Московские дворики 1980-х: Ч. 3 // <https://zen.yandex.ru/media/id/5a53a10c77d0e6a5b46fb8fa/moskovskie-dvoriki-1980h-chast-tretia-5a7fe9e38651657fc4d37356>.
- Мухина Е. В.* Блокадный дневник Лены Мухиной. СПб.: Азбука, 2011.
- Нагибин Ю. М.* Тьма в конце туннеля // <http://www.rubiteka.ru/tma-v-kontse-tunnelya>.
- Наумов М.* Пристенок с крохоборами: Картинка из детства // <https://www.proza.ru/2017/09/13/1483>.
- Никулин Ю. В.* Почти серьезно... М.: Вагриус, 1998 (Мой 20 век).
- Новыш П. А.* Разноцветные воспоминания // <https://www.proza.ru/2010/01/09/225>.
- Одоевцева И. В.* На берегах Невы. М.: АСТ; Астрель, 2011 (Мемуарная диалогия).
- Окуджава Б. Ш.* Девушка моей мечты: Автобиографические повествования. М.: Московский рабочий, 1988.
- Окуневская Т. К.* Татьянин день. М.: Вагриус, 1998.
- Олтаржевский В. К.* Строительство высотных зданий в Москве. М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953.
- Орешников А.* Дневник: 1915—1933: В 2 кн. М.: Наука, 2010 (Научное наследство). Кн. 1.

*Осоргин М. А.* Времена: Романы и автобиографическое повествование. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное изд-во, 1992.

*Остерман Л. А.* Течению наперекор. М.: Грантъ, 2002.

*Панова В. Ф.* Собрание сочинений: В 5 т. Л.: Художественная литература, 1987. Т. 5.

*Пикер Г.* Застольные разговоры Гитлера / Общ. ред. И. М. Фрадкина. Смоленск: Русич, 1993.

*Погребняк Н.* Войнушка // <https://www.proza.ru/2014/08/22/376>.

*Полонская В. В.* Воспоминания о В. В. Маяковском // Вопросы литературы. 1987. № 5.

*Потресов В.* Вспомним «Собачку» // Наше наследие. 2013. № 106.

*Похлебкин В. В.* Кухня века. Минск: Полифакт, 2000 (Итоги века).

*Пржекторко Л.* Коммунальная квартира // [http://world.lib.ru/p/przhejtorko\\_l/kommunalnakvartira.shtml](http://world.lib.ru/p/przhejtorko_l/kommunalnakvartira.shtml).

*Пришвин М. М.* Дневники: 1923—1925. Кн. 4. М.: Русская книга, 1999.

Про коммунальные квартиры // <http://back-in-ussr.com/2016/11/pro-kommunalnye-kvartiry.html>.

*Райкин А. И.* В Кремле // <https://biography.wikireading.ru/138636>.

*Распутин В.* Уроки французского. М.: Искательпресс, 2016 (Школьная классика).

*Рекемчук А. Е.* Мамонты. М.: МиК, 2006.

*Рождественский Вс.* В Доме искусств // [http://grinworld.org/memories/memories\\_06\\_01.htm](http://grinworld.org/memories/memories_06_01.htm).

*Романов П. С.* Рассказы. М.: Художественная литература, 1988.

*Рыбаков А. Н.* Дети Арбата. М.: Терра-Книжный клуб, 1998.

*Саттак В. С.* Телевидение и мы: Четыре беседы. М.: Искусство, 1988.

*Сафронов В.* Дорога к победе // <https://old-ulan-ude.livejournal.com/140413.html>.

*Саятин В.* Машина времени: Во что играли дети после войны // <http://vgr.by/home/society/15749-mashina-vremeni-vo-chto-igrali-deti-posle-voyny>.

*Севела Э.* Мужской разговор в русской бане. М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2007.

*Сезал Р.* Из воспоминаний // Мандельштамовское общество: Т. 4: «Сохрани мою речь...». М.: Книжный сад, 1998.

*Скиталец С.* Повести и рассказы: Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1960.

*Слущкий Л. И.* Одесса — взгляд со стороны // [http://world.lib.ru/s/sluckij\\_l\\_i/odessa.shtml](http://world.lib.ru/s/sluckij_l_i/odessa.shtml).

*Старцев И. И.* Мои встречи с Есениным // С. А. Есенин в

воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. М.: Художественная литература, 1986. Т. I.

«...Так интересно жить!»: Блокадный дневник И. Ф. Кратта (Публикация А. В. Сысоевой) // [http://lib2.pushkinskiydom.ru/Media/Default/PDF/ROPD/EROPD\\_2014/06\\_Сысоева\\_372-396.pdf](http://lib2.pushkinskiydom.ru/Media/Default/PDF/ROPD/EROPD_2014/06_Сысоева_372-396.pdf).

*Тан-Богораз В. Г.* Восемь племен. Воскресшее племя: Романы, Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1987 (Библиотека «Под полярными созвездиями»).

*Терц А. (Синявский А. Д.).* Собрание сочинений: В 2 т. М.: СП «Старт», 1992. Т. 1.

*Толстой А. Н.* Гадюка: Сборник. М.: Вече, 2015.

*Трифонов Ю. В.* Дом на набережной // Дружба народов. 1976. № 1.

*Трубецкая Е. В.* Палаты на Пречистенке // Наше наследие. 1995. № 35—36.

*Федосюк Ю. А.* Утро красит нежным светом... Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов. М.: Флинта, 2011.

*Фориш О. Д.* Сумасшедший корабль. М.: АСТ; Астрель, 2012.

*Хелльвиг Т.* Как я случайно очутилась в божественной компании // <https://www.proza.ru/2014/06/23/142>.

Художник К. Коровин о революции 1917 года: Обещали одно, получили другое // Наше наследие. 1990. № 2.

*Чуковский К. И.* Дневник: В 2 т. М.: Советский писатель, 1991. Т. 1. 1901—1929.

*Шефнер В. С.* Бархатный путь: Летопись впечатлений // <http://litresp.ru/chitat/ru/Ш/shefner-vadim-sergeevich/barhatnij-putj/24>.

*Шиф М. Ю.* Коммунальные квартиры // [http://world.lib.ru/s/shif\\_m\\_j/mary11.shtml](http://world.lib.ru/s/shif_m_j/mary11.shtml).

*Шкловский В.* История женщины, вернувшейся на родину // <http://www.porji.ru/bajki/yumor-sssr/159-viktor-shklovskij-istoriya-zhenshchiny-vernuvshejsya-na-rodinu>.

*Штерн Л.* Из воспоминаний об Одессе // [http://world.lib.ru/s/shtern\\_l\\_i/odessa.shtml](http://world.lib.ru/s/shtern_l_i/odessa.shtml).

*Щеглов М. А.* Любите людей: Статьи. Дневники. Письма / Сост. В. Я. Лакшин. М.: Советский писатель, 1987.

*Энжин Н.* Одесская коммуналка // <http://www.proza.ru/2011/08/18/1267>.

*Эренбург И.* Рвач. М.: Эксмо, 2008.

*Юнгер Е.* Друзей прекрасные черты. Л.: Советский писатель, 1985.

*Яскевич Н. А.* Долгопрудный — город детства // [http://samlib.ru/j/jaskewich\\_n\\_a/moedetstwoproshlo.shtml](http://samlib.ru/j/jaskewich_n_a/moedetstwoproshlo.shtml).

## СОДЕРЖАНИЕ

Что откуда взялось? Возникновение коммуналок .....	6
Что к чему? Организация пространства .....	35
Что и как? Мебель и интерьер .....	52
Кто и где? Кто проживал в коммуналках .....	78
Кто у аппарата? Общий телефон .....	136
Что в кастрюльках? Кухня .....	139
Кто на чем? Санузел .....	198
Кто об кого? Дети в коммуналке .....	212
Кто про что? Общий досуг .....	221
Кто кого? Конфликты и криминал .....	254
Кто на кого? Доносы .....	264
Кто к кому? Прием гостей .....	280
Кто куда? Подъезд и двор — продолжение коммуналки ..	287
Кто куда? Расселение коммуналок .....	392
Литература .....	422

**Митрофанов А. Г.**

**М 67** Повседневная жизнь советской коммуналки / Алексей Митрофанов. — М.: Молодая гвардия, 2019. — 427[5] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

**ISBN 978-5-235-04233-9**

Эта книга посвящена целой эпохе в жизни нашей страны — эпохе коммуналок. Противостественной, некомфортной — и в то же время по-своему душевной и уютной. Кухня, санузел, патефон, дворовые игры, общий телефонный аппарат... Автор, писатель и телеведущий Алексей Геннадиевич Митрофанов, рассматривает, перебирая один за другим, отдельные фрагменты коммунальной жизни. И в результате складывается объемная картина.

**УДК 94(47+57):394**

**ББК 63.3(2)63-75**

знак информационной  
продукции

**16+**

**Митрофанов Алексей Геннадиевич**

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ КОММУНАЛКИ**

Редактор **Е. С. Писарева**

Художественный редактор **К. В. Забусик**

Технический редактор **М. П. Качурина**

Корректоры **Л. С. Барышникова, Т. И. Маляренко**

Сдано в набор 31.10.2018. Подписано в печать 05.12.2018. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Garamond». Усл. печ. л. 22,68+0,84 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1820120.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: [dset@gvardiya.ru](mailto:dset@gvardiya.ru)

**arvato**

**BERTELSMANN**

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

**ISBN 978-5-235-04233-9**

# АКТУАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

---

## Владимир ШироGORов УКРАИНСКАЯ ВОЙНА

В XVI—XVII вв. Западная Русь предстала зоной соперничества Литвы и Польши, Швеции и Орды, Турции, Крымского ханства и Московского княжества. Кто мог предположить тогда, что речь шла о чем-то несравненно большем, нежели об очередном разделе пространств Восточной Европы? Многовековая Украинская война явилась одной из самых плотных в истории концентрацией боевых действий, затронув абсолютно все сферы: идеологию, экономику, общественные процессы, качества лидеров и стремления народов.

### Книга I Схватка за Русь До середины XVI века

### Книга II Турецкий прорыв Балканы — Причерноморье — Кавказ До конца XVI века

### Книга III Встречное наступление Балтика — Литва — Поле Вторая половина XVI века

Отзывы, творческие и коммерческие предложения  
ждем по адресу:

127055, Москва, Сушевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 787-62-92

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://gvardiya.ru> E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)



СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Васькин  
«ШУХОВ»

Ш. Казиев  
«РАСУЛ ГАМЗАТОВ»

В. Балашова  
«ВАНГА»

С. Дашков  
«ЮСТИНИАН»

Л. Кириллина  
«ГЛЮК»

В. Бондаренко  
«ОТЕЦ ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН)»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 787-62-92; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://gvardiya.ru>. E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Горбунов  
«ВИКТОР МАСЛОВ»

В. Антонов  
«КЕМБРИДЖСКАЯ ПЯТЕРКА»

Н. Михайлова  
«БАРКОВ»

А. Бондаренко  
«ГЕРОИ “СМЕРШ”»

Н. Бодрихин  
«АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ»

С. Михеенков  
«БЕРЛИН-45»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 787-62-92; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://gvardiya.ru>. E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

---

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

---

*Склад  
издательства «Молодая гвардия»  
находится в центре Москвы  
по адресу:  
Сущевская ул., д. 21  
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»*



**В отделе реализации действует  
гибкая система скидок**



**Доставка книг по территории  
Москвы и Московской области  
БЕСПЛАТНО**

**ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ**

8(495) 787-64-20

8(495) 787-62-92

**ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА**

8(495) 787-65-39    8(495) 787-63-64







ВЫШЛИ В СВЕТ:

М. Гуреев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
СОЛОВКОВ:  
ОТ ОБИТЕЛИ ДО СЛОНА

А. Сергеева-Клятис

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ПУШКИНОГОРЬЯ.  
СЕЛЬЦО МИХАЙЛОВСКОЕ  
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

О. Елисеева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ПУШКИНСКОЙ  
ОДЕССЫ

С. Аристов

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
НАЦИСТСКИХ  
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ  
ЛАГЕРЕЙ

А. Васькин

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
СОВЕТСКОЙ  
СТОЛИЦЫ ПРИ ХРУЩЕВЕ  
И БРЕЖНЕВЕ

ISBN 978-5-235-04233-9



9 785235 042339 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ